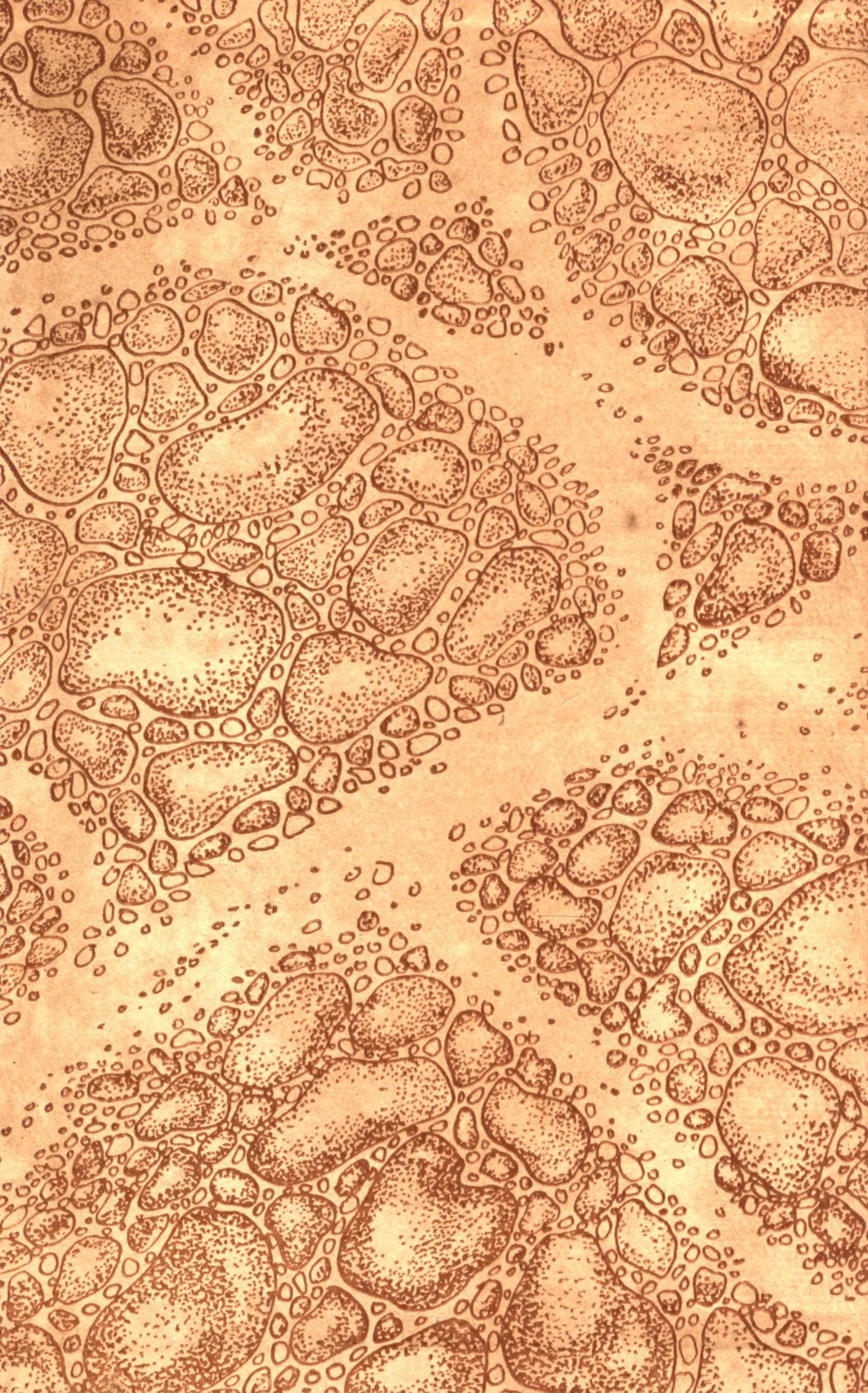
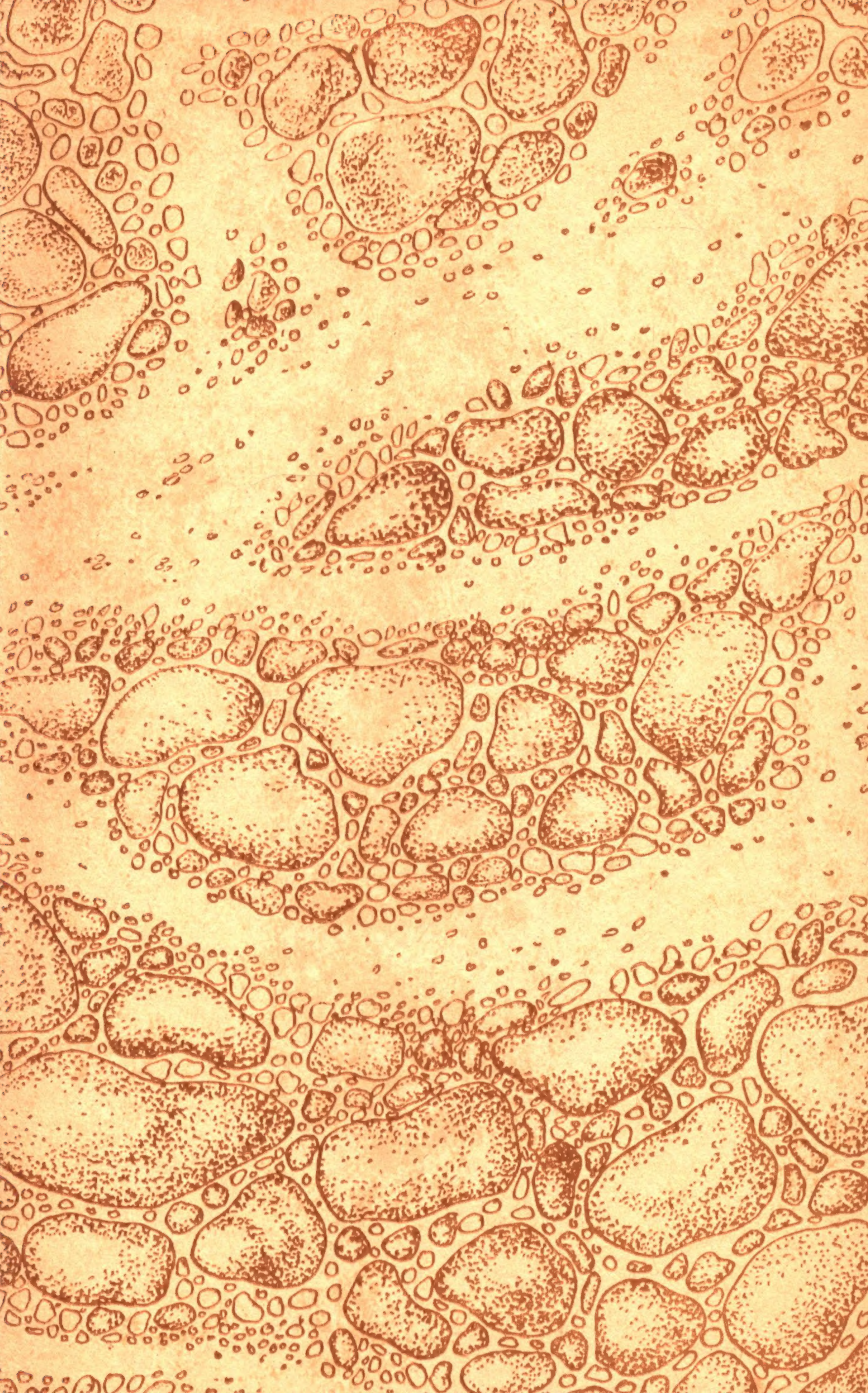
Б. БАРВИШ
В. КУДРЯВЦЕВА
В. ПОНОМАРЕВ
ДОРОГИ





Б. БАРВИШ, В. КУДРЯВЦЕВА,
В. ПОНОМАРЕВ

ДОРОГИ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство
1975

Р2
Б24

В эту книгу вошли произведения трех молодых авторов, чьи дороги в литературе еще только начинаются.

На трудном участке жизни оказывается сразу после окончания института героиня первой повести свердловчанки Беллы Барвиш «Найти колокольчик», — она становится учительницей вечерней школы в исправительно-трудовой колонии. Нелегко девушке установить контакт с учениками, многие из которых чуть не вдвое ее старше, — но тем радостней победа молодой учительницы, помогающей оступившимся людям по-новому взглянуть на мир.

Свердловчанка Вера Кудрявцева дебютировала в нашем издательстве в 1974 году книжкой для детей «Сколько весит слоненок?». В «Дорогах» она выступает с двумя «взрослыми» повестями — «После тревог...» и «В том краю, где твоя береза». Это повести о любви и верности своему призванию, о женщинах сегодняшней уральской деревни.

Люди сильных, самобытных характеров, неутомимые труженики, прочно стоящие на земле, населяют повесть «Нежданно-негаданно» и рассказы тюменца Валерия Пономарева. Первый рассказ В. Пономарева был опубликован в сборнике «В пору жаворонков», выпущенном нашим издательством в 1972 году.

Б $\frac{0732—049}{М158(03)—75}$

© Средне-Уральское книжное издательство, 1975

БЕЛЛА БАРВИШ

Белла Барвиш родилась в 1943 году в поселке Суксун Пермской области. Детство ее прошло в Свердловске. После девятого класса пошла работать на завод, перейдя в вечернюю школу. Окончив в 1962 году Свердловское педучилище, три года преподавала русский язык и литературу в школе одной из исправительно-трудовых колоний. Потом работала на радио, была методистом отдела культуры, директором вечерней школы в таежном поселке. В эти годы были напечатаны первый рассказ Б. Барвиш «В пути» и несколько очерков.

Повесть Беллы Барвиш «Найти колокольчик» была впервые опубликована в 1973 году в журнале «Север». Затем повесть перепечатал журнал «Советская литература», выходящий на нескольких иностранных языках для читателей за рубежом.

Сейчас Б. Барвиш живет в Свердловске.

НАЙТИ КОЛОКОЛЬЧИК

Повесть

ПОЕДИНОК

— Здравствуйте, садитесь. Я буду вести у вас русский язык и литературу. Я...

— Не волнуйтесь, гражданка учительница, возьмите себя в руки. Возьмите руки в руки — они у вас дрожат. Ха-ха-ха! А сколько вам лет?

— Пожалуйста, тише. Прежде чем заговорить на уроке, нужно попросить разрешения учителя. Зовут меня Галина Глебовна. Я буду вашим классным руководителем, и...

— Прошу разрешения! Вы наш ру-ко-во-ди-тель, а как вы будете нами руководить? Вы же боитесь нас? Честно?

— Пожалуйста, не кричите. Все, что нужно, я скажу сама, а прерывать говорящего просто неприлично.

— Я прошу разрешения! А приличиям вы тоже будете нас учить?

— Да, вести себя прилично — тоже. Пожалуйста, помолчите: вы мешаете. Теперь я хотела бы с вами познакомиться. Я...

— Мы тоже! Так сколько же вам лет? Откуда вас к нам прислали? Вы не замужем? Да не краснейте вы, а то мы влюбимся! Хо-ха-ха!

— Если вы не перестанете кричать, я вынуждена буду...

— Что, гражданка учительница, что, моя хорошая? Написать ксиву режиму на хама? Вложить хозяину? Или что? Вы нас не бойтесь: волки в клетке! А я тоже пуганый, режима с хозяином не боюсь и дрессировке не поддаюсь! Хо-хо-ха-ха...

— Я вынуждена буду попросить вас с урока, потому что вы мешаете.

— Вы-нуж-де-ны попросить? Это как? Я хозяина который год вынуждаю, а он никак меня не попросит из этого заведения в клеточку... Воспитывать, говорит, буду, может, человеком станешь, рецидивист прокля-

тый. А вы сразу — попросить. Нельзя так, гражданка учительница, без терпения. Где же свобода слова?

— Свобода слова основана на уважении к людям, а спекуляция этой свободой называется демагогией.

— Ну и слова вы знаете, гражданка учительница! Нас вы им тоже научите? Да? Ладно, молчу, молчу. Не люблю, когда хорошенькие девочки сердятся. Хо-ха-ха!

— Да перестаньте паясничать.

— Опять не в масть?! Ладно, молчу.

— Тех, кого я сейчас буду называть, прошу вставать и говорить «здесь». Аверин Семен Николаевич!

— Тута я!

— Я прошу говорить «здесь», и, пожалуйста, вставайте, чтобы я быстрее вас запомнила.

— А ну, встань, зэка, когда тебя называют! Да уголовщина, что с нее спросишь? Хо-хо! Ха-ха! Хе-хе!..

— Боровиков Владимир Константинович! Кстати, в заявлении вы написали свое имя с ошибкой. Владимир — древнее русское имя, владыка мира.

— Ха-ха-ха! Имячко отхватил! Владыка мира! Не владеет даже парой сапог. Всю жизнь только им владеют... А вы, гражданка учительница, про все имена знаете? Владислав, к примеру?

— Владислав — владей славой... Барбаков Владислав Сергеевич.

— Это я и есть. Молодец, мамуля: имячко закатила... Хоть за это спасибо. Как родился, все славой владею. Потому и держат здесь, чтобы слишком далеко не пошла. Зовите меня просто Славик, за Сергеича не ручаюсь, кто его знает. Ха-ха-ха!

— Перестаньте, вы... вы даже себя не уважаете...

— А вот это, гражданка учительница, по-нашему дешевка называется, а по-вашему, как это, де-ма-гогия? Над собой посмеяться можно, другому не давай. Понятно? Ничего, поймете, у вас еще все впереди.

— Вы весь урок будете кричать, Барбаков?

— А что, хлопнете дверью? Не надо, не уходите. «Только б нежной касаться руки, видеть глаз златокарий омут, и чтоб, прошлое не любя, ты уйти не могла к другому». Не краснейте, это я не вам. Сережка Есенин — отрада души. Он не про вас... Продолжайте перекличку. Нас каждый день кличут. Привыкли. А мы

посмотрим на вас, такую молодую. Хе-хе-ха! Только не кусайте губы, вам это не идет. И не смотрите на меня так, все равно я в вас не влюблюсь.

— Вы же обещали молчать, Барбаков...

— А вы и поверили? Да ну! Я прокурору говорил: скинь червонец, не буду я больше честных людей грабить, поверь слову. Не поверил. Старый знакомый, а не поверил. А вы так сразу и поверили? Смотрите, не доверяйтесь первому встречному... Ха-ха-ха! Ну, вот уже и звонок! А что вы обрадовались, гражданка учительница? Неужели мы вам так опротивели? Уже невмоготу? «Если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным». Приходите еще... учить нас приличиям. Хо-ха-ха! Рупь за сто, усвистит эта девочка от нас с попутным ветром, да и черт с ней. Любуйтесь, парни, пока не поздно. Ха-ха-ха! Ох-ха-ха-ха-ха...

Вот уже час я неотрывно смотрю в окно. Чуть покачивают черными парусами сосны: тайга — словно корабль в бесконечном плавании. Неяркая звезда, одинокий маяк, висит над тайгой. Она нужна этой темной таежной ночи.

А я не нужна здесь. Сегодня мне очень ясно показали это на первом же уроке. Я не успела сказать ни слова толком, не успела даже сделать перекличку.

Собственно, не было урока, был поединок, и победа — не за мной.

Барбаков хохотал зло, раскатисто и — искусственно. Он наклонял бритую голову, словно собирался бодаться, нелепо размахивал руками и выкрикивал всякую чушь. Голова у него большая, пересеченная белыми шрамами.

Но страшнее кривлянья и хохота были его глаза. Они не смеялись. Они словно умнее и сильнее его самого. Они выражали одну только мысль: уйди, я не хочу тебя видеть, не хочу, чтоб ты стояла передо мной, не хочу, чтоб ты говорила. Уйди!

А остальные — молчали. Ничего нельзя было прочесть в этих лицах. Словно сорок слепоглухонемых собрались на мой первый урок. Они не улыбались шуткам Барбакова, не поддерживали, не отвергали.

Слушали и не слышали, смотрели и не видели. Мне начинало казаться, что передо мной не сорок, а один безразличный ко всему человек, в темной робе, с землистым лицом и бритой головой.

И я действительно обрадовалась звонку.

В учительской весело щебетала молоденькая Инна Николаевна. Меня спрашивали о чем-то, я отвечала невпопад и некстати улыбалась, хотя мне хотелось расплакаться и уйти. На то, чтобы продержаться в учительской, потратила я, кажется, последние силы. Потом у меня был еще урок в девятом классе. Я уже знала, что это лучший класс в школе, но мне было все равно. Тускло бубнила я о значении литературы. Не задала ни одного из намеченных вопросов, не делала пауз, чтобы не услыхать вопросов,— вообще не видела тех, кому говорила.

Директору я ничего не сказала. Не смогла.

Все началось с того, что камеры хранения на вокзале не оказалось. На вопрос о ней пожилая железнодорожница презрительно расхохоталась:

— Много чести для такого... города!

Последнее слово она произнесла с таким выражением, что приподнятое, легкое настроение, не покидавшее меня всю длинную дорогу, мгновенно улетучилось. Стало тревожно и смутно. Яростно выхлестывал ледяной дождь. Продрогшие пассажиры бросались наперерез редким автобусам и набивались в них до отказа. Отчаянно ругались шоферы, требуя закрыть двери.

Пробивной силы у меня не хватило, и я не смогла сесть ни в первый, ни во второй, ни в третий автобус. Больше часа простояла, не зная, что предпринять.

Вдруг подошла ко мне высокая седая женщина в плаще, подняла один из моих чемоданов и сказала:

— Ого! С таким грузом можно до ночи простоять и в сосульку превратиться. Попробуем вместе?

Не дожидаясь ответа, она легко вскинула на плечо мой рюкзак и потянула меня к очередному автобусу.

— Ну теперь уедем,— засмеялась седая женщина, когда мы кое-как влезли в автобус и оказались притиснутыми к шоферской кабине — ни рукой шевельнуть, ни ногой.

Тут только я по-настоящему разглядела свою попутчицу, увидела, что она моложе, чем показалась мне с первого взгляда. Старила ее только ранняя седина.

— Мне у гостиницы,— робко предупредила я.

— Дальше автобус и не идет. Кстати, мне тоже в гостиницу,— ответила женщина.

Через полчаса автобус остановился. Я ступила на землю, размытую дождем, и, ойкнув, присела. Ноги не слушались — одеревенели. Спутница поддержала меня за локоть.

На окошке регистратуры в гостинице висела табличка: «Свободных мест нет». Я растерянно посмотрела на седую женщину. Она улыбнулась:

— На одну ночь найдут, куда нас поместить, а там видно будет.

В гостинице попутчицу мою встретили как давнюю хорошую знакомую. Она показала на меня:

— Нас сегодня двое.

— Только на одни сутки, Таисья Александровна. Уж простите, но все места забронированы,— извинялась регистраторша, принимая наши паспорта.

— Нам больше и не нужно...— ответила седая женщина и вопросительно посмотрела на меня. Я молча кивнула. Если завтра получу направление в школу, гостиница мне, надо думать, больше не понадобится.

Нас поселили в номере на двоих. Уютно потрескивали дрова в железной печи. Клонило ко сну. Мы принялись снимать с себя мокрую одежду. Молчание становилось неловким.

— Вы не знаете, районо далеко отсюда? — спросила я, чтобы хоть что-нибудь сказать.

Она изумленно посмотрела на меня.

— Да мы с вами настоящие попутчики! Пойдем в районо вместе. Вы по направлению после института? Впрочем, кто в такое время и едет...— Она протянула мне руку.— Давайте познакомимся. Таисья Александровна Берсенева, директор школы, приехала в районо просить учителей.

Я назвала себя. Сразу же расхотелось спать.

— Таисья Александровна, а литератор вам не нужен? — чуть поколебавшись, спросила я.

Она посмотрела на меня как-то неопределенно и кратко ответила:

— Нужен.

Равнодушный ответ насторожил и даже обидел меня, я отступила к печи.

— Очень нам нужен литератор,— уже более мягко сказала Таисья Александровна, видимо, поняв мое состояние.— Вот приехала просить. Только для нас в районо подыщут кого-нибудь, кто с детьми работать не может или не хочет. А вас не дадут.

Я молчала.

Таисья Александровна прошлась по комнате.

— Не дадут потому, что школа у нас не совсем обычная. Ученики наши не ангелы, а взрослые преступники-рецидивисты...

Она остановилась и внимательно посмотрела, как я прореагирую на эти слова. Потом задумалась. Неожиданно в глазах у нее появились озорные искорки:

— А вы бы поехали к нам? Конечно, у нас не город, а, как в песне поется, «кругом тайга, одна тайга, и мы посередине». Пять часов лежневой дорогой, и дорога эта выходит из строя каждую неделю,— но некоторым, знаете ли, нравится и у нас. А хорошие учителя нам нужны не меньше, чем в детские школы. Словом, подумайте, если — да, то я вас забираю. Квартиру дадим и всем необходимым обеспечим, у нас это даже проще.

— Согласна,— твердо ответила я.

Наверное, моя готовность следовать за ней куда угодно показалась тогда Таисье Александровне легкомысленной. А может, она решила, что я просто трушу: не хочу остаться одна в городе, где и в автобус без помощи не влезешь?

Я не стала ничего объяснять. Не могла же я сказать Таисье Александровне, что у нее такие добрые, материнские— да, именно материнские — глаза, посмотрит и тепло становится, и вот поэтому я потянулась к ней с первых же минут и хочу с ней работать.

— Не хочу вас обманывать,— вздохнув, проговорила Таисья Александровна,— у нас работать нелегко. Сначала, возможно, будет очень трудно.

Я промолчала.

— Хорошо,— объявила она, так и не дождавшись от меня ни слова,— сейчас я пойду в политотдел, а то без его разрешения в районо и разговаривать не станут. Давайте ваши документы. А утром вместе в районо.

В девять утра мы зашли в кабинет заведующей районо. Выслушав Таисью Александровну, высокая грузная женщина тяжело поднялась. Шагнула ко мне. На Таисью Александровну она старалась не смотреть.

— Зачем вам колония? Хотите испортить себе жизнь? Давайте я направлю вас в хорошую школу. Хотите: в лучшую школу города, им как раз нужен литератор.

— В образцово-показательную?

Я совсем не хотела съязвить, просто спросила. Но, видимо, в голосе моем прозвучало что-то обидное.

Завроно выхватила из пачки папиросу, нервно запихнула ее в рот. На лице ее выступили коричневые пятна.

— Наталья Васильевна, вы же обещали нам учителей на этот год, а не дали ни одного,— мягко начала Таисья Александровна.

Завроно сердито оборвала ее:

— Обещала не обещала! Где я возьму?! Так и скажите, что в политотделе все согласовали. И не морочьте мне голову.— Короткий взгляд на меня.— Идите к секретарю и оформляйтесь. Я подпишу — куда денешься... Только попомните мое слово, не раз еще пожалеете!

Мы вышли. Я растерянно смотрела на Таисью Александровну и удивлялась, что она, кажется, ничуть не обижена. Неужели привыкла к такому обращению?

Таисья Александровна поняла меня, вздохнула:

— Трудно у нас с учителями. В детских школах не хватает, вот и нервничает Наталья Васильевна. Только ведь и нам работать надо. Математику вот заключенный ведет, уж и не прошу, знаю, что негде взять.

Через три часа мы уже тряслись в тяжелом бензовозе по таежной дороге, которой, казалось, не будет конца.

Спокойно взирали на нас с высоты осанистые сосны, а среди них, как женихи на девичнике, красовались кедры. Белели одетые в осеннее золото одинокие березы. Пока машина шла, деревья казались безмолвными, но стоило на секунду умолкнуть мотору, как слышалась тягучая песня, такая заунывная, словно выводила ее тайга не по своей воле, а потому что некуда ей деться от бессонного дирижера-ветра.

От тряски, запаха бензина и табачного дыма, извергаемого шофером, в голове у меня стучали мелкие молоточки. Наконец я увидела поселок. Издалека он показался мне маленьким чудом: горсть крошечных домиков, окуженных со всех сторон водой, горами и лесом.

Выйдя из машины, я отпросилась у Таисьи Александровны побродить, осмотреться.

Напротив дома директора начинался высокий забор. Я пошла вдоль него. Сделала несколько шагов и услышала громкий окрик: «Куда идешь? Нельзя!» Огляделась. Не видно ни того, кто кричит, ни того, к кому обращен этот голос с южным акцентом. Пошла дальше, решив, что это не мне.

— Стой! Стрелять буду!

Я вздрогнула, снова остановилась и снова никого не увидела. Наконец догадалась взглянуть наверх: из вышки над забором грозил мне солдат.

Я стояла не в силах двинуться ни назад, ни вперед, когда позади вдруг раздался добродушный смешок и голос:

— Уж сразу и стрелять. Не видишь — заблудилась девушка.

Медленно, непослушными ногами отступила я назад и оглянулась: полный военный добродушно смеется. Подошел, объяснил:

— Видите надпись: «Стой! Запретная зона!» Вам куда?

Запинаясь, я промямлила:

— Да... я не знала. Мне к Таисье Александровне — директору. Сейчас я... подождите... сориентируюсь...

— А зачем вам ориентироваться? Давайте лучше познакомимся. Я муж Таисьи Александровны — Андрей Иванович Берсенев. А вы, конечно, новая учительница? Вместе, значит, будем работать. Нет, я не учитель, но дело у нас одно, общее.

Через три дня благодаря хлопотам Таисьи Александровны квартира моя была отремонтирована, завезены и сложены в сарай наколотые дрова. И хотя в доме моем можно дотянуться до потолка рукой, хотя оконца величиной с форточку и сама комнатка всего ничего — это была моя квартира! Можно включить свет посреди ночи, и не услышишь недовольное бурча-

ние спросонья, можно работать за столом сколько хочешь, и никто не будет надоедать рассказами о любовных перипетиях или ни с того ни с сего выкладывать свое жизненное кредо. Хорошая штука — общежитие, но после пяти лет общежития очень хочется пожить отдельно.

А Таисья Александровна, оказывается, как раз больше всего боялась, что я не захочу жить в такой квартире.

— Не страшно вам будет? — показывая на тайгу за окном, спросила она и поспешила добавить: — Не бойтесь, волков у нас нет, медведи тоже ушли дальше в тайгу, им тракторы на нервы действовали.

Таисья Александровна ушла, а я приступила к осмотру своего жилья. Большой холодный чулан был забит пустыми бутылками из-под водки. Интересно, кто здесь жил до меня?

Я вышла во двор, прошла к воротцам, огляделась и обрадовалась — домик мой стоял на взгорке, и отсюда хорошо был виден весь поселок: дома, большие огороды, сараи, конурки для собак, а за всем этим — извилистое серебро реки и над ней строгие скалы и тайга. Виден был еще пирс с лодками.

Потом я взглянула прямо перед собой и в испуге шагнула назад: на меня смотрела знакомая табличка «Стой! Запретная зона!», а за столбом с табличкой оказалась громадная, точно карьер, выемка с приземистыми строениями без окон.

На душе моей стало смутно. Быстро вернулась я в дом, оглянулась еще раз на злополучную табличку, поспешно закрыла дверь на два больших крюка, прошла к постели, разделась и легла.

Спала тяжело. С глухой тоскливой песней ровным строем спускались на меня со скал сосны. Я просыпалась в холодном поту, а когда снова забывалась, из-за столба с надписью «Стой! Запретная зона!» выглядывала завроно и, выпустив в меня клуб папиросного дыма, цедила сквозь зубы: «Хотите испортить себе жизнь? Попомните мое слово: пожалеете!»

Проснулась я от стука в дверь. Накинула халат и пошла открывать. На пороге стояла Таисья Александровна.

— Ну, как спалось на новом месте? Доброе утро.

Между прочим, на всякий случай, спрашивайте, кто за дверью.

Я одевалась, а Таисья Александровна стояла и смотрела в оконце.

— Табличка эта старая, не бойтесь ее. Зоны здесь нет уже лет десять. Если хотите, столб спилят, я скажу мужу. А внизу, в выемке,— гараж, там работают вольные и расконвоированные.

Помолчала с минуту.

— Конечно, Галина Глебовна, в жизни — а особенно в этой жизни, здесь,— много отталкивающих мелочей. Но за ними надо суметь увидеть главное. Постепенно вы разберетесь. Не торопитесь только с выводами и не падайте духом.

Мы вышли из дому. Осторожно ступая, чтобы не увязнуть туфлями в размытой земле, я думала над словами директора.

Подошли к большим воротам. На них выцветал огромный вопрос: «Что ты сделал сегодня, чтобы не было стыдно завтра?» Сегодня за мной никакого доброго дела не числилось. А завтра? Что будет завтра? Таисья Александровна нажала кнопку звонка, дверь тотчас же отворилась и, едва мы переступили порог, со страшным лязгом захлопнулась. Я невольно вздрогнула и сразу же рассердилась на себя за этот испуг. Таисья Александровна взяла меня за руку, тихо сказала:

— Это ничего, поначалу все вздрагивают.

Отворилась еще одна дверь, мы прошли, и снова лязгнул железный засов за спиной. Директор подала в окошечко наши пропуска, и наконец открылась и сразу же захлопнулась последняя дверь. Мы ступили на деревянный настил, невероятно чистый. По обеим сторонам дорожки переливались нежным сиянием цветы. Потом густо пошли стенды. Их было много: «Осужденный! Помни! Тунеядцы — твои злейшие враги!», «Осужденный! Помни! Хорошо работать, отлично учиться — досрочно освободиться!», «Осужденный! Помни! В обществе, строящем коммунизм, нет места правонарушителям и преступности!»

Школа оказалась просторным деревянным зданием. Крыльцо высокое, под окнами тоже клумбы с цветами.

В учительской навстречу нам поднялась очень блед-

ная и очень строгая молодая женщина. Тряхнув коротко стриженными белесыми волосами, она протянула мне узкую, будто негнущуюся ладонь.

— Я о вас уже слышала. Литератор нам очень нужен, с высшим образованием — тем более. Завуч школы Августа Георгиевна Квитко.

При этом она выжала из себя вялую улыбку и, посчитав, видно, что с нее более чем достаточно, прошла к месту, с которого поднялась. Через минуту в учительскую влетела высокая яркая красавица, метнулась к зеркалу, на ходу приговаривая:

— Уф, кажется, не опоздала. Вечно часы что-нибудь выкидывают.

Приводя в порядок пышную каштановую гриву, она заметила в зеркале меня. В огромных зеленых глазах вспыхнуло веселое любопытство.

— Новая учительница, да? Отлично! Нашего полку прибыло. Будем сеять вместе разумное, доброе, вечное. Ну, теперь вы всех наших учеников покорите! Будете получать послания в три тетради, предложения руки и сердца. Не торопитесь соглашаться, выбор большой.

Она задавала вопросы, сама на них отвечала и смеялась.

Директор слушала ее со снисходительной улыбкой, завуч, поджав тонкие губы, несколько минут терпела, затем резко оборвала:

— Оставьте, Инна Николаевна, всегда у вас глупости на языке.

— Спасибо еще, что не в голове,— весело отпарировала учительница, ничуть не обидевшись.

В учительскую вошли маленькая быстроглазая женщина и совсем юная девушка с нежным румянцем на щеках. Инна Николаевна бросилась к ним:

— Соскучилась я по вас, честное слово. Дома не с кем словом переброситься. Целый день как заводная: кастрюли, горшки, скорей бы в школу.

— Уж у вас-то горшков не перечесть,— засмеялась маленькая женщина.

— Если б у меня, сколько у вас, я бы уже в сумасшедшем доме была. С одним вожусь до потери сознания. Да! Вот Галина Глебовна, новая литераторша, а это Анна Михайловна, кумир наших ученичков, за ней они в огонь, в воду и в трубы любого диаметра. Кстати,

почти мать-героиня. Пятеро по лавкам, с ума сойти, правда? А она — смотрите — цветет! Откройте свой секрет, Анна Михайловна. На будущее пригодится.

— Ладно, Инна Николаевна, открою. Дома я отдыхаю от работы, на работе от дома, так что не жизнь у меня, а сплошной отдых.

— Пора начинать,— сказала Таисья Александровна, и все сразу затихли. Она улыбнулась и сказала: — Вы, Инна Николаевна, взялись, а до конца, как всегда, не довели, не познакомили Галину Глебовну со всеми учителями. Вот ваш непосредственный коллега, литератор Татьяна Николаевна.

Девушка, вошедшая с Анной Михайловной, еле заметно кивнула.

— А вот,— продолжала Таисья Александровна,— наш математик Пермяков Сергей Геннадьевич.

Молодой, наголо обритый мужчина в темной робе привстал и поклонился мне. Я не заметила, когда он вошел, когда устроился на кончике стула у двери. Он сидел, словно готовый вскочить и побежать сию секунду.

Педсовет длился недолго, распределили часы и классное руководство, выслушали складную, но сухую речь завуча о задачах в новом учебном году.

И разошлись.

Дома я несколько раз прорепетировала свой первый урок и решила, что все как надо.

Могла ли я думать, что урока не получится? Совсем не получится, никакого...

«СКОЛЬКО ВЫ ОТМЫВАЛИ РУКИ?»

— Продолжим работу над ошибками. В словах с корнями **кос-кас** пишется **а**, если за корнем стоит буква **а**: касаться, но коснуться, прикоснуться. Пишем.

— Ах, гражданка учительница, хорошая моя, я тебя вижу, ты меня нет (не пугайтесь, это так, приговорочка). Что же это вы говорите: касаться, коснуться, прикоснуться. А может, не надо? А? Ни нам вас касаться, ни вам нас, а то как бы чего не вышло. Хо-ха-ха!

— Ладно, землячок, завязывай.

— И ты, Леха? Не! Пусть гражданка учительница

скажет, сколько она руки отмывала после наших тетрадей, чтобы зэковская грязь к ней не при-кос-нулась. Что покраснели, гражданка учительница? В масть попал? Ха-ха-ха!

— Брось, Барбаков!

— Хо-хо! Учиться фраерок хочет. Не, гражданка учительница, он не учиться хочет, он хочет, чтобы вы его на заметочку взяли. Он не такой, как я, он лучше, он даже лучше самого себя. Фамилию-то не забыл подсказать? Соколов его фамилия, гражданочка учительница, а то звонок, уйдете и забудете. Он хороший... сволочь. Так сколько же вы отмывали руки, гражданка Галина Глебовна? Что-то я не слышу ответа на заданный вопрос...

На перемене.

— Можно вас на минутку, Галина Глебовна?

— Слушаю вас.

— Я насчет этого Барбакова. Зря вы тратите на него нервы. На таких ничего не действует, не поймет он. Вы бы пошли с директором школы к замполиту или заместителю и сказали бы, что он не дает вам вести уроки. Выпишут ему суток пять-десять — шелковым станет. У вас право есть. А не поможет изолятор, могут и построже. Такого иначе не проймешь. Обидно за вас, терпите от него, слушаете всякую чепуху. Разве вы за этим сюда ехали?

— Простите, забыла вашу фамилию. Соколов? Так вот, я еще не знаю, почему Барбаков так ведет себя, но я точно знаю: одного моего желания, чтобы он замолчал, мало. Я не вижу, чтобы остальные в классе хотели порядка.

— А кто тут захочет порядка? Они же уголовники... Я-то здесь случайно, никакого отношения к ним не имел и не буду. Вы сами слышали, что этому Барбакову ничего не стоит оскорбить порядочного человека. Вы же понимаете, что он может пойти дальше, оскорбить не только словом. Я вот хочу быть выше всего этого. Я ощущаю в себе способности литературные, но мне знаний не хватает. Учиться хочу. Уровень свой повышать общеобразовательный. Вот... помогли бы вы мне... Знаете... трудно здесь человеку... среди этих...

вроде Барбакова. Не жалейте его, напишите, как он ведет себя, заставят его.

— О Барбакове я еще подумаю. А помочь вам — пожалуйста, с удовольствием. У вас есть уже что-нибудь написанное?

— Пока еще не совсем готовое... Я уже третий год пишу, в виде лирического романа... Я вам дам почитать. Вы не представляете, как мне приятно... говорить с вами. За столько лет... первая встреча с воспитанным человеком.

— Простите, мне нужно на урок.

— О, да! Конечно, конечно, мы еще поговорим.

Две недели я засыпала с мыслью, что завтра все расскажу директору, попрошу прощения и подам заявление об уходе. А назавтра снова шла в школу, сдерживала дрожь в руках и входила в класс. Барбаков неизменно встречал меня хриплым хохотом:

— Тихо, уголовщина, гражданка учительница пришла учить вас буквам. Ха-ха-ха! Оххо-хо-хо-хо-хо!..

Все эти дни я думала об одном: Барбаков отлично понимает, что хозяин в классе он, а я вроде куклы-матрешки, но почему это не радует его? Почему, отпустив очередную шуточку и выдавив «ха-ха-ха», он злобно щурится, а не наслаждается моим смущением? Вместо него радуются другие.

Открыто радуется вертлявый маленький Шпак. У него странная беспозвоночная походка и голос такой, будто его все время обижают. Недавно он положил передо мной свою тетрадь с диктантом и потребовал ответа: за что двойка, ведь нет ни одной ошибки. Тетрадь была та самая, которую я проверяла — это я помнила хорошо,— отметка поставлена моей рукой, исчезли только с десяток исправлений, исчезли так, что найти места, где они были, невозможно.

Я удивилась:

— Здорово вы потрудились. Но зачем?

Впрочем, «зачем» — было ясно. Он тоже решил «пошутить». Только ничего у него не получилось. Шпака не поддержали. Все время, пока он доказывал, что я поступила несправедливо, класс сохранял суровое и как будто даже осуждающее молчание. Это придало мне силы.

— Вы хотите видеть вместо этой двойки пятерку? Пожалуйста. Только таким же способом, как исчезли все мои исправления. Тогда будет полная справедливость. Раз уж она вам так нужна.

Кто-то одобрительно хихикнул.

Шпак понял, что «шутка» не удалась, и отправился своей беспозвоночной походкой на место. Больше шутить он не пытался, зато теперь вовсю веселится шуткам Барбакова, даже подпрыгивает от удовольствия на скамейке. Сосед Шпака по столу Шушарин лениво улыбается и щурит сонные глазки. Ему все равно, о чем речь, лишь бы учительница краснела.

С первой парты постоянно оглядывается на Барбакова Владимир Никоненко. Если в классе целых десять минут слышен только мой голос, он заискивающим взглядом просит Барбакова: начинай, что же ты, уже скучно, невмоготу.

А когда Барбаков разражается хохотом, на квадратном лице Никоненко появляется радостное ожидание спектакля. Все остальное время он не сводит с меня нагловатого многозначительного взгляда, вытягивает губы трубочкой, всем видом показывая влюбленное страдание. Он пишет мне страстные заверения в любви и в начале каждого урока требует: «Когда вы проверите мою тетрадь?» Требует таким тоном, будто я обещала ему и бессовестно обманываю.

Класс, конечно, догадывается, о чем идет речь, и сохраняет молчание; в молчании этом и настороженность, и недоверчивая подозрительность.

Только один раз Никоненко был повержен. Он незаметно утащил со стола мою тетрадь с планами. Прозвенел звонок с урока — тетради нет. Я посмотрела на Никоненко — он улыбался игриво и победоносно. Явно наслаждаясь моей растерянностью, проговорил:

— Вот когда получу от вас свою тетрадь с ответом, тогда и вы получите свою. Идет?

А сам оглядывался на Барбакова, ожидая поддержки. Барбаков молчал и смотрел исподлобья, сжав губы. Леонид Голованов, Леха, как называет его Барбаков, бросил со спокойным презрением:

— Дешевка. Работа на публику.

И вдруг Перепевин, спокойный мужчина с землистым лицом, слушавший все мои объяснения с добро-

желательной снисходительностью (мне всегда казалось, он вот-вот скажет: «Ах, учитель, мне бы ваши заботы»), с тихой угрозой сказал:

— Эй, отдай что взял.

Никоненко еще продолжал улыбаться, но улыбка его стала жалкой. Не глядя на меня, выложил тетрадь на стол. Тогда я с благодарностью посмотрела на Перепевина, но на следующем уроке, когда Барбаков начал потешаться надо мной, напрасно я ждала защиты. На лице у Перепевина, так же как и у Голованова, застыло выжидательное безразличие. С молчаливым выжиданием смотрели на меня и остальные. Только Аверин с последней парты раздул ноздри огромного носа, замотал большой головой и произнес осуждающе: «Глухо!» — слово, которое выражает у него любое состояние души. Худой темнолицый Боровиков покусывает, посасывает свои впалые щеки, и в его взгляде исподлобья — солидарное презрение, и каждый выпад Барбакова он воспринимает с такой страстностью, словно это он сам бросает мне злые слова. Его сосед, прыщеватый грустный Неизвестный, только растерянно оглядывается по сторонам, недоумевая, что происходит и зачем. То ли впрямь недоумевает, то ли — для публики — копирует меня. Вероятно, и у меня довольно часто такое же выражение лица. Я не понимаю, чего ждут от меня мои ученики.

Ученики... Я еще не знакомилась с их делами, но уже знаю: вон тот попал сюда за грабеж, его сосед — за изнасилование, а хмурый усач сзади — за убийство в пьяной драке. Бывают минуты, когда мне становится страшно за моим учительским столом. Если бы можно было собрать всех, кто стал жертвой сидящих передо мной людей, наверно, не хватило бы места не только в нашем, но и соседнем классе... Но я запрещаю себе об этом думать. Эти люди уже понесли наказание, и я должна помочь им навсегда зачеркнуть в себе прошлое, подготовить себя к новой, честной жизни. Но как добиться, чтобы мне хотя бы дали говорить на уроках? Как достучаться до этих наглухо захлопнутых душ?

Мне не у кого спросить об этом, некому рассказать о своей беде. Так получилось, что я сейчас отдалена от всех учителей, между мной и ими стена, воздвигнутая стараниями нашего завуча. Августа Георгиевна по-

сетила несколько моих уроков, и они ей очень понравились и тут же были произведены в эталоны. Теперь разборы уроков она делает по следующей схеме:

У меня:	**У учителя, урок которого разбирается:**
Активизация.	Полное отсутствие таковой.
Наглядность.	Никакой наглядности.
Четкость.	Разбросанность.
Умение владеть классом.	Учитель идет на поводу учеников.
Творчество.	Схематизм, никакого творчества.
Великолепная дисциплина.	Нет дисциплины даже у самого учителя.

После такого разбора учителям не хочется смотреть на меня, а мне просто стыдно. И некому рассказать, что, пока сидит на уроке Августа Георгиевна и без устали строчит в своей тетради, изредка вскидывая близорукие глаза на доску, ученики мои занимаются, словно учеба для них самое важное, самое нужное дело, словно ради этого они живут. Но только закрывается за завучем дверь, как Барбаков разражается:

— Ну и как, хорошие мы мальчики? Видите, у нас свои правила: из-за угла не бьем, не то что некоторые образованные. Ха-ха-ха!

...Но сегодня я впервые увидела в глазах Барбакова боль.

Все началось с обычного:

— Зря стараетесь, гражданочка учительница, преступный мир сам уничтожит себя. Что вы смотрите, слов таких не слышали? И чему вас только в институтах учили...

Я увидела на лицах своих учеников напряженное ожидание. От меня ждали ответа, и я отступила от начатого объяснения материала. Вздохнув, тихо заговорила:

— Да, я раньше никогда не слышала этих слов. Скажу даже, что я очень мало знала о так называемом преступном мире. Возможно, вы правы и в том, что мне не место здесь. Но это — сейчас неважно. Для чего

вас учат, я все-таки знаю. Да, знаю. Для того, чтобы легче было осмыслить свою жизнь, найти верный путь, чтобы легче было потом на этом верном пути. Если вы найдете верный путь, по нему вы сами уйдете из этого мира, который уничтожит себя сам. Он перестанет существовать, подорвет себя изнутри. Разве не ясно? Да он и сейчас, кажется, почти подорвал себя. Преступного мира, как такового, нет. Так ведь?

Я закончила и посмотрела на Барбакова. Впервые я взглянула на него без мысли: помолчи ты, пожалуйста, хоть пять минут. Я хотела услышать его ответ, потому что надо же мне понять наконец, что это за человек, чего он хочет от меня, за что ненавидит. А он, как нарочно, долго молчал. Лицо его исказила странная, болезненная гримаса. Наконец он выдохнул надтреснутым голосом:

— Вы умная девушка, гражданка учительница. Все-то вы верно поняли! Нет преступного мира. Его подорвали, как вы сказали, изнутри. Осталась шерсть, уголовщина. Воспитывайте ее, учите ее буквам, приличиям, у вас это не так плохо получается. Так держать, гражданка учительница! Ха-ха-ха!

Он хрипло захохотал, но в его глазах было такое выражение, что казалось, он не смеется, а рыдает.

Я молчала, потому что не в силах была что-нибудь сказать. Что творится в этой странной душе? Откуда эта неподдельная боль, прозвучавшая в его словах о конце никому не нужного мира?

— Продолжаем урок,— успокоившись, сказала я.

— Правильно, гражданка учительница, учите лучше буквам. Пишите, мальчики, **А**, а не пишите **О**. Вам это пригодится. Ха-ха-ха. Когда встанете на верный путь...— Это Барбаков, уже придя в себя, прокричал обычным насмешливым голосом.

— Ладно, браток, поговорили, и хватит. Пусть теперь учительница говорит,— прервал его Голованов.

— Ты, Леха? Пусть говорит, я что? Видите, гражданка учительница, один из бывших хочет учиться. Ему пригодится. У него впереди сроку, что у ворона. Зима, лето — год долой, десять пасох — и домой.

— Хватит, браток, учительница тут ни при чем. Барбаков сник, набычил голову.

Прозвенел звонок.

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

Еще вчера с утра лил затяжной дождь. Вечером тайга казалась черной, древней старухой, тянувшей горькую песню о прожитой жизни. А сегодня я проснулась от ослепительного света. Вскочила, бросилась к окну: крупный снег падал мягко и ровно. Все вокруг было чисто и светло: и небо, и белая земля, а тайга в пушистой фате походила на невесту. И до того все было необычно, что казалось ненастоящим, словно кто-то просто решил порадовать уставших от осенней слякоти людей и устроил прекрасный маскарад, но вот-вот снова взмахнет волшебной палочкой — и все исчезнет. Я поспешно накинула пальто и вышла на улицу, к воротцам, посмотреть на реку. Снежинки медленно опускались на воду и гасли, словно крошечные звездочки. Я вернулась домой и села к столу. Мысли снова вернулись к школе, к моему классу.

Даже в это снежное утро я не могу думать ни о чем другом. Вчера в моем классе выбирали старосту. Стоило мне заговорить о выборах, как «весельчаки» расплылись в довольных ухмылках: спектакль предстоит на славу! Шпак повертелся на месте и, чтобы скрыть свою радость, полез зачем-то под стол, оттуда поглядывая на Барбакова. Никоненко забыл о том, что лицо его последнее время выражает оскорбленное достоинство и полыхающую страсть, довольно потянулся, хрустя костяшками пальцев, и скосил глаза на Барбакова.

Барбаков не заставил себя долго ждать. Сопровождая каждую фразу клокочущим хохотом, прокричал:

— И тут без начальства нельзя? Скажите, гражданка учительница, а повязочку красную новому начальству дадут? Без нее невыгодно, может не согласиться. Да и мы, стадо баранов, привыкли подчиняться повязкам. Нет ее — слушаться не будем. Да... так и знайте. А с начальством в погонах вы посоветовались? Без него нельзя. А то еще не того выберем. Ха-ха... Нагоняй дадут. Только повязку ему не забудьте, он ее страсть как любит. На хлеб, на воду и на мать родную променяет. Не бойтесь, гражданка учительница, называйте его. Мы руки поднимем, не привыкать нам. Ха-ха-ха...

Я, тщетно пытаясь скрыть волнение, оглядела класс и увидела на лицах лишь хорошо знакомое выражение выжидания. Только несколько человек во время речи Барбакова насмешливо поглядывали на Соколова. А у того даже лицо вытянулось в подобострастной готовности. Он словно и не слышал обидных слов, направленных явно в его адрес. Если бы староста избирался для того, чтобы, кланяясь и льстиво улыбаясь, распахивать перед классным руководителем двери, то равного Соколову в этом классе найти было бы невозможно. Я тоскливо подумала: если выберут Соколова, мне здесь делать больше нечего.

Я начала говорить, сама удивляясь, как ровно и спокойно звучит мой голос. Кажется, за это время благодаря Барбакову я научилась владеть собой. Я говорила скучные вещи — что староста избирается не мной, а большинством голосов учащихся, поэтому не я должна была советоваться с кем-то, а они пусть посоветуются между собой и выберут человека, которого уважают и которому доверяют. Забот у старосты немало: он отвечает за дисциплину в классе и посещаемость, организует помощь отстающим; и если выбран будет человек, не пользующийся настоящим уважением, ничего у нас с ним не получится.

Я закончила, не решаясь поднять глаза. Все молчали, и это молчание давило меня, мешало дышать ровно. Мне казалось, что я жду приговора себе. Фамилия Соколова должна была стать этим приговором. Не знаю, сколько времени длилось молчание, мне оно показалось бесконечным. Наконец глухой бас Аверина прервал напряженную тишину:

— Чего советоваться? Перепевина все уважают. Глухо!

Радостной барабанной дробью отозвалось в моей душе это не терпящее возражений «глухо!». Я вскинулась.

— Других предложений нет? Тогда голосуем!

С надеждой, почти умоляюще посмотрела я на Перепевина. Лицо его показалось мне незнакомым: не было на нем снисходительной улыбки «мне бы ваши заботы», неизменно сопровождавшей все мои объяснения, исчезло и выражение спокойного выжидания, с которым принимались бесконечные поединки мои с

Барбаковым. Он растерянно моргал глазами и, казалось, никак не мог понять: почему назвали его и отчего я так рада этому?

Барбаков первый опомнился от удивления, закричал, паясничая:

— Зря радуетесь, гражданка учительница. Бросьте, дядя пошутил, мал-мал ошибку дал — не того, кого надо, назвал. Не подойдет этот человек вам в помощники. И не пойдет! Ему эти должности кость в горле, нож в сердце! Выберите-ка себе подходящего. Не смешите нас.

Чтобы показать, что ему действительно смешно, Барбаков выдавил из себя трехкратное «ха», но получилось оно у него на этот раз надтреснутым и почти жалким. Он еще продолжал кричать что-то о том, что все равно начальство заставит переизбрать, а Перепевин уже поднялся, опираясь ладонями о край стола, проговорил тихо:

— Согласен я. Раз хотят парни, согласен. В чем надо, помогу... Скажут переизбрать — меня это не касается. А пока, что надо, делать буду.

Барбаков молчал, капельки пота выступили у него на лбу, закушенная губа побелела. И чего так переживает? На мой взгляд ответил надменным прищуром, в значении которого можно было не сомневаться: хоть один останусь, но не сдамся.

Что будет дальше и чем это все кончится?

На двенадцать было назначено объединенное совещание учителей и администрации колонии. На совещании распределяли взаимное шефство: начальников отрядов над классами, учителей — над отрядами. Соседкой моей по столу оказалась Инна Николаевна. Она единственная из учителей, кого хвалебные гимны завуча в мой адрес не оттолкнули от меня. Инна просто не принимает всерьез «златокудрую», как она называет Августу Георгиевну. Августа Георгиевна ненавидит Инну, и между ними довольно часты словесные перепалки, в которых физик Инна намного превосходит нашего завуча-историка в остроумии и умении владеть словом. Августу эти перепалки надолго выводят из равновесия, а Инна лишь черпает в них запас бодрости, но все-таки начинает всегда завуч. Вот и перед совещанием Августа едва сдерживала себя, чтобы не сде-

лать замечания Инне, отчаянно кокетничавшей с немолодым военным. Инна чувствовала на себе взгляд завуча и веселилась вовсю, а военный тяжело отдувался, крутил головой, словно ему тесен воротник, и краснел. Я не смогла сдержать улыбку, и Инна, которая, кажется, совсем не смотрела в мою сторону, сразу же заметила ее. Лукаво блестя глазами, подошла ко мне, взяла за руку и подвела к военному. Он растерянно почесывал нос.

— Знакомьтесь, это заместитель начальника колонии, Семен Петрович Шелехов, а это Галина Глебовна.

Военный наклонил голову, протянул мне руку. Инна не дала ему слова сказать, нетерпеливо потянула меня в сторону и громким шепотом рассказала анекдот. Я сразу почувствовала, что у этого анекдота длинная борода, но Инну это обстоятельство мало трогало, она «привязала» анекдот к Шелехову, ему он, по ее мнению, «шел». Якобы выстроил он заключенных для отправки, прочел первое, с чего начинался длинный список, и стал требовать выявления злополучного ФИО. Рассказывала Инна со вкусом, взахлеб. «Ты меня знаешь, ФИО. Не выйдешь — пятнадцать суток схватишь!..»

Таисья Александровна объявила о начале совещания. Инна села рядом со мной. Она то и дело встряхивала каштановой гривой и кокетливо поглядывала на сидящих неподалеку начальников отрядов. А затем склонялась к моему уху и смешно «информировала» о каждом, кого только что одарила улыбкой. Мне было неловко. Как будто я сама только что улыбалась людям, которых теперь так зло высмеиваю.

От учительского стола (мы сидели в классе) доносился рокочущий бас начальника колонии Федора Александровича Манковского. Он говорил, что сейчас главное — объединить работу администрации и учителей.

Инна мешала мне слушать. Она и о Манковском знала историю. Будто бы много лет назад в колонии началась драка. Тогда Манковский, в то время еще молодой начальник отряда, влетел в зону на белом коне, размахивая наганом, закричал: «Разойтись!» И порядок был восстановлен. С тех пор якобы заключенные называют его за глаза Чапаем.

Рассказала Инна это, разумеется, «в красках».

Я тоскливо подумала, что она, кажется, способна сделать анекдот из чего угодно.

Почти взмолилась:

— Помолчите. Давайте послушаем.

Она ответила насмешливой улыбкой, с деланным вниманием уставилась на Манковского.

Кольнула мысль: а какой анекдот сочинит или «привяжет» она ко мне? Анекдот, конечно, последует, в этом можно не сомневаться...

Чтобы не думать об этом, я начала рассматривать сидящих рядом. Лицо Августы было строго и бледно, а глаза устремлены в одну точку перед собой. Она взвалила на свои прямые плечи нелегкую ношу: быть судьей всех и всего, а так как весь мир у нее делится на черное и белое, без оттенков, то всему, что не сверкает, по ее мнению, белизной, выносит она строгий, бескомпромиссный приговор. Раньше я считала, что такие люди обедняют свою жизнь и потому достойны лишь жалости. Я ошиблась: жалеть нужно тех, кто работает рядом вот с таким судьей, особенно если «судья» занимает руководящий пост. Пусть даже пост завуча.

Но чем лучше Инна? Для нее жизнь — сборник анекдотов, а учителя, ученики, вообще все окружающие — в ее глазах что-то вроде зеркала на стене в учительской, от которого она почти не отходит на переменах. Ей кажется, что во всех нас, как в этом зеркале, отражаются ее красота, остроумие, умение одеться.

Я посмотрела туда, где сидели остальные учителя. Мягко очерченные губы Татьяны Николаевны были чуть приоткрыты, светлые с поволокой глаза смотрели устало и печально. Умные, почти всегда затуманенные какой-то напряженной думой, они казались чужими на юном лице. Если бы не глаза, Татьяне Николаевне не дать больше двадцати. Но я уже знала, что она старше меня, у нее есть сынишка.

Рядом с ней, весело блестя живыми, лукавыми глазами, нетерпеливо покачивала головой Анна Михайловна. Она словно поддерживала выступающего и торопила его одновременно. Глядя на нее, я почувствовала, что мне стало легче. Недаром, подумала я, так любят ее ученики. Наверное, когда она входит в класс, такая быстрая, похожая в своей юбочке на девочку-

школьницу, им тоже становится хорошо на душе, легче дышится.

Анна Михайловна почувствовала на себе мой взгляд и нахмурилась, непримиримо сжала губы. От этого лицо ее стало жестким и некрасивым. Я невольно, будто ища поддержки, посмотрела на Таисью Александровну. Она сидела, впитывая в себя каждое слово выступающего. Седые волосы, собранные в простенькую аккуратную прическу, придавали ее открытому еще моложавому лицу неожиданную суровость.

Пока я оглядывалась по сторонам, выступления закончились. Началось распределение шефства. Много времени оно не заняло: начальники отрядов уже знали, в каких классах учатся их подопечные. Большинство моих учеников оказалось в отряде невысокого грустного мужчины. После совещания он подошел ко мне, не глядя в глаза, протянул руку, представился: Андрей Иванович Степанов. Затем заговорил о моих учениках, а я слушала и пыталась понять: жалуется он или выражает мне сочувствие? Уж очень странно звучал его суховатый басок:

— Ну, нам с вами повезло. Состав у меня такой, кого из других колоний давно уже в крытые тюрьмы отправили, как не поддающихся перевоспитанию. Ваши ученики еще ничего, есть и почище их. Но эти тоже... Барбаков, Аверин, Голованов, Перепевин. Работают отлично, а в быту сладу нет. Срока большие, надежды на досрочное освобождение почти нет, вот ничего и не боятся.

Степанов помолчал немного, глядя в сторону, тихо добавил:

— Любит наш начальник возиться с такими.

И опять я не поняла, осуждает он Манковского или хвалит.

На душе моей стало отчего-то смутно. Когда начальник отряда спросил, есть ли в моем классе актив, я, так же как и он, отвернувшись в сторону, ответила:

— Староста Перепевин.

Степанов долго молчал, и я за это время успела оглядеться вокруг. Инна снова отчаянно кокетничала со своим шефом, молодым красавцем-южанином с лермонтовскими глазами. Татьяна Николаевна, весело улыбаясь, беседовала с мужем Таисьи Александровны.

Анна Михайловна что-то быстро писала, а сидящий рядом начальник отряда кивал головой, заглядывая то в ее, то в свою тетрадь.

Первое, что я ощутила,— это зависть. Почему я чужая им, отчего со мной Августа да Инна, а не они, к которым меня так тянет?

Наконец Степанов как будто набрался духу и сказал:

— Перепевин? Согласился старостой? Значит, твердо стал на путь исправления. У него последний срок как раз за преследование активистов. Главарь уголовной банды.

И снова я не поняла, говорит он эти слова просто так или действительно поверил в исправление Перепевина.

Разговаривать больше не хотелось. Может быть, Степанов почувствовал это — не знаю. Он вдруг густо покраснел и впервые за долгую беседу посмотрел мне в лицо. Я увидела маленькие, глубоко запавшие глаза, они смотрели растерянно и будто просили о чем-то. Через полминуты Степанов снова отвернулся и скучным голосом сказал, что нам необходимо разработать план обоюдного шефства, а пока я должна подготовить и провести в отряде какую-нибудь беседу. На этом мы распрощались.

Я вдруг поняла, что на совещании вобрала в себя много ненужных, мешающих мелочей. Не надо было слушать Инну с ее анекдотами. Впредь буду умнее.

Ночь уже давно завладела поселком, рассыпала по темному небу огоньки звезд, усыпила усталых людей. Только тайга, как всегда, не спит: тянет свою бесконечную заунывную песню.

А я мысленно уже готовлюсь к своей первой беседе в отряде. Хочу рассказать о том, что не смогла высказать ученикам на первом уроке: о силе художественного слова, о хороших, умных книгах. Только захотят ли меня слушать?

И вот день первой беседы. Степанов зашел за мной в школу, и мы с ним отправились в отряд. По дороге начальник отряда не смотрел на меня и длинно извинялся за то, что несколько бригад заняты на работе и

присутствовать не будут. На пороге барака нас встретил высокий и худой завхоз отряда, окинул меня цепким изучающим взглядом, криво усмехнулся и, нелепо жестикулируя, доложил, что все в сборе, можно начинать.

Степанов посмотрел на меня тревожно и просяще, но ничего не сказал. Я почувствовала, что волнуюсь больше, чем перед первым уроком. Мы зашли в секцию. Ощущая на себе изучающие взгляды, не поднимая глаз, я прошла за Степановым к столу.

В первом ряду я увидела Аверина, Голованова, Перепевина. Сразу стало легче. Меня слушали молча, лица серьезные, сосредоточенные. И все-таки было непонятно: меня ли слушают или думают о чем-то своем. Попробовала шутить: они сдержанно улыбались, а Степанов тяжело отрывался от стула и, с трудом вытягивая шею, зорко вглядывался в ряды сидящих. Мне очень хотелось еще тронуть улыбками эти непроницаемые лица, и я старалась, как могла, но стоило раздаться смешку, как Степанов предостерегающе поднимал руку и строго прикрикивал: «Но! Но! Потише!» Он был так поглощен наблюдением за порядком, что, по-моему, вовсе не слушал меня.

Я закончила и предложила задавать вопросы. Все молчали. Наконец чей-то извиняющийся голос сказал:

— Мы уж к следующему разу придумаем. Вы только приходите.

Я улыбнулась и спросила, о чем бы они хотели услышать в следующий раз. Слушатели мои оживились, несколько голосов одновременно выкрикнуло: «О Есенине!»

Начальник отряда вытер платком вспотевшее лицо и шею и проговорил, словно закончив тяжелую работу:

— Поблагодарите учительницу и — до свидания.

Нас проводили бухающие аплодисменты. Уже выходя, я увидела в последнем ряду лицо Барбакова. Он смотрел на меня удивленно и непонимающе. Чего он ждал и в чем я не оправдала ожидания — не пойму. На уроках он по-прежнему сопровождает чуть не каждое мое слово хриплым хохотом, и нет, кажется, такой силы, которая заставила бы его замолчать.

Устала я от него.

Бывают такие минуты, когда кажется, будто ничего

в моей жизни прежде не было. Ни шумного института, ни подруг, ни города, только сейчас по-настоящему любимого. Города, где каждая, даже самая знакомая улица вечером, расцветившись огнями реклам, становилась такой загадочной и манящей. Будто никогда не слепил мне глаза тополиный пух, не звенели торопливые трамваи — а так всегда и было: тайга со своей горькой бесконечной песней и все вечера подряд оглушительный нарочитый хохот...

Если я даже брошу все и уеду, мне уже не избавиться от этого хохота, он будет преследовать меня. Одна надежда: может, надоест все-таки Барбакову. Надежда на чудо.

«Галина Глебовна! Извините, что беспокою вас. Не думайте только, что сейчас будет очередное объяснение в любви. Я знаю, что вы их получаете очень много, и если не выбрасываете, то у вас уже накопились целые тома. Знаю также, что и тем, кто не пишет и никогда не решится написать, вы нравитесь не меньше, а, может, даже больше. Просто не у каждого хватит смелости или глупости, уж как хотите, так и понимайте, навязывать себя человеку при теперешнем своем положении. Но не судите их строго. Представьте, вы долго шли по лесу, видели только корявые, изуродованные деревья, и вдруг на вашем пути оказалась молоденькая зеленая елочка. Разве вы не остановились бы, не залюбовались ею? Поймите же и нас, мы ведь тоже люди. Вы вошли в нашу жизнь, и, поверьте, стало как-то лучше жить. Я не умею говорить об этом, да и не для того сел писать. Просто мы стали ждать вас. А когда ждешь, время идет быстрее. Я знаю, о чем вы думаете, читая эти слова: о том, какую мы вам устроили встречу и как молчали, когда вы готовы были бросить на пол журнал и тетради и убежать. На все есть свои причины. Попробую объяснить, как сумею.

Я расскажу вам об одном человеке, а вы попробуйте понять его. Говорят, когда поймешь, легче простить. Не знаю. Ему-то совсем не нужно ваше прощение, это я хочу, чтобы вы поняли его и нас. Я расскажу, как было.

Он родился случайно. Есть еще такие матери, у которых дети рождаются против их желания и совсем

им не нужны. Убить такого ребенка им не хватает смелости, отдать в приют вроде стыдно, а растить нет охоты. Я сам вырос в такой семье и знаю, как холодно на улице в одной рубашке, босиком, когда тебе всего семь лет и ты никак не поймешь, за что же тебя выгнали из дому на снег. Но я взялся рассказывать не о себе. Тот мальчишка ненавидел всегда пьяную мать, ее гостей, ненавидел ребятишек из класса за то, что они всегда чистые и сытые. И в десять лет убежал из дому. О нем никто не запрашивал, его не искали. На вокзале он спал под лавкой, выглядывая оттуда лишь тогда, когда чистые, ухоженные люди усаживались перекусить. Но никто ни разу не предложил ему хлеба. Остатки выбрасывались в урну, а он из гордости и страха перед милиционером не мог лезть в нее. На третий день он не выдержал и утащил с газеты на лавке кусок хлеба. Хозяин хлеба вытащил мальчишку из-под лавки, усадил рядом с собой и дал кусок колбасы. Человек этот был одет почти как все, даже лучше, только вот шея у него была давно не мытая. Так этот парень рассказывал мне потом об этой встрече.

В общем, человек тот оказался «вором в законе». Наверное, как и всякому «специалисту», ему нужен был достойный ученик. А может, ему просто в тот день было одиноко, тошно стало жить,— короче, он взял мальчишку к себе. Потом кормил его, одевал и воспитывал. Конечно, воспитывал не так, как вы понимаете это слово. Он учил его жизни и искусству воровства. Учитель хорошо знал, что не минует его ученика тюрьма, а в тюрьме жизнь сложная, и он учил мальчишку никого не бояться, а жить так, чтобы его самого боялись.

Потом они расстались: учитель попал в тюрьму, ученик — в детскую колонию. И с тех пор он все равнял на учителя. В изолятор шел с поднятой головой, думал: видел бы учитель! А «чистеньких» он так и не перестал ненавидеть.

Однажды он сказал мне: «Вот ты говоришь, что есть среди них хорошие люди. Так где же они были, эти хорошие, когда мать, озверев с перепою, била меня шлангом, когда я на вокзале готов был лизать у них ноги за горбушку хлеба? Брось, они умеют говорить разные слова — их этому научили,— но не шевельнут

пальцем, чтобы помочь. Потому что мы для них — грязь и отбросы, а они чистые. Да черт с ними, пусть только не лезут ко мне в душу. И если я ору, то потому, что мне противно смотреть на дураков, которые, разинув рты, слушают чистенькую девчонку и верят ей. Я ору, чтобы показать ей, что все это просто комедия, а жизни нашей ей не понять никогда. Мне самому это порядком надоело, особенно видеть идиотов, которые смотрят на меня, как на бесплатного шута, и ждут, когда начну их веселить. Но скоро все это кончится: меня отправят в изолятор за срывы уроков, и вы увидите, чего стоит эта учителка со всеми своими красивыми словами».

Сейчас, вы, наверное, поняли, о ком я пишу. Конечно, о Славке Барбакове. Только, честное слово, я не хочу его оправдать перед вами или вызвать жалость к нему. Он такой, какой есть. Я знаю, что в книгах, которые вы читали, преступники к месту и не к месту распевают блатные песенки и, конечно, называют нож «пером», хлеб «мандрой», костюм «лепехой», а солнце «балдохой». Все это действительно жаргонные слова уголовного мира, но только за ними совсем разные люди, а не одни лишь разудалые молодцы, которым всадить нож в спину — что раз плюнуть. Сейчас, говорят, на свободе наши песенки и слова очень уж полюбились иным безусым юнцам, даже на магнитофон записывают. Может, они думают, что это романтика? Ничего, пускай тешатся, только спаси их бог от этой романтики. Взвоют и день своего рождения проклянут.

Но меня опять уже занесло не в ту сторону, не об этом же хотел рассказать вам. После вашего первого урока — вы его хорошо помните — у нас в секции всю ночь спорили. Чуть не до драки дошло. Большинство твердили: убежит, не останется и на неделю. Но, как всегда, нашлись такие, что пошли против всех: останется! У них, конечно, не было никаких доказательств, просто им так хотелось. Спорили на «Беломор». Не сомневайтесь, здесь с куревом очень плохо, и если они шли на этот спор, значит, очень хотели, чтобы вы не исчезли навсегда. Вот тогда-то мы и договорились: не мешать Барбакову, пусть будет так, как должно быть.

Откровенно, я первый чуть было не нарушил слово. Я написал вам письмо и объяснил все, как есть. Но, ви-

дать, слишком долго я писал его. Тоже поймите: нелегкое это дело — шестикласснику писать учительнице. А хотелось еще так написать, чтобы не от преступника было письмо, а как от самого обыкновенного человека. Ну, человеческим языком... Только вы его не получили, потому что, когда я собирался отдать вам его, у вас был разговор с Соколовым. Я не подслушивал, просто как раз в этот момент хотел отдать письмо — и все услышал. Письмо я сразу же порвал. Где слушают советы Соколова, там таким, как я, лучше молчать. Я точно знаю, что такие, как он, на войне становились предателями. А здесь о таких говорят: мать родную три раза заложит и ни разу не выкупит. Теперь вы поняли, почему я порвал свое письмо.

Соколов, конечно, ваш разговор не скрыл, только передал его ребятам так, будто вы спрашивали его совета и сами решили обратиться к администрации, а он вам предлагал немного подождать. В общем, застраховался со всех сторон. Я его разоблачил, только этого можно было не делать: его знают и мало кто ему верит. Но с того дня мы стали ждать, когда же придут за Барбаковым.

Время шло, мы все больше привыкали к вам. Я видел, как парни, весело насвистывая, собираются в школу. Нам не хотелось расставаться с вами, но еще больше не хотели мы, чтобы вы продали Славку. (Извините за такое слово, зачеркивать не стану.) А потом мы увидели, как обрадовались вы, когда старостой предложили Перепевина. Значит, решили не отступать. После Перепевин говорил мне, что только ваша такая радость удержала его, а то бы отказался. А Славка рассудил по-своему, обиделся на нас и сказал тогда: «Эта девчонка далеко пойдет. Усвоила, как подрывать изнутри. Только я, парни, и против вас пойти могу». Нам было жаль Славку, хотя мы уже видели, что у него ничего не вышло, что вы оказались совсем не такой, как он доказывал. Но Славка всегда был свой, настоящий парень, который шел за друзей на все. И Перепевин сказал: «Ладно, Слав, пока я тебе мешать не буду. Пока. Но ведь когда-то все это должно кончиться». Славка засмеялся: «Не бойтесь, кончится».

И снова мы ждали. В тот день, когда у вас в школе было какое-то совещание вместе с администрацией, мы

уже решили: все, конец! Но вы ничего не сказали начальнику отряда, не узнал он ничего и тогда, когда вы приходили с ним в отряд проводить беседу. На этой беседе мы поняли: если бы не Славка, мы могли бы услышать все это и в своем классе. Мы не знали, что делать, и видели, что он и сам не знает, как быть дальше. Сдаться, признать, что «чистенькая» победила,— значит, пойти против себя...

Для чего я это вам написал? Мне кажется, вы могли бы помочь ему, потому что я вижу: вы умнее нас, хоть и меньше жили. Поверьте, я смог бы заставить Барбакова замолчать. Уроки пошли бы как надо, и мы бы услышали от вас много интересного. Только Славке от этого стало бы еще тяжелей. Уж я-то знаю, каково ему сейчас.

Так получилось, что Барбаков как раз в эти дни узнал: воспитавший его вор сидел, оказывается, в той же колонии, что и мы сейчас, и вышел отсюда на поселение. Для вас эти слова ничего не значат, но мы-то знаем, что такое поселение. Туда выходят лучшие активисты колонии, люди без нарушений. Значит, Славкин учитель надел красную повязку. Предал воровской «закон», которому сам учил мальчишку. А ведь для Барбакова тот человек всегда был высшим авторитетом... Я слышал позавчера ночью, как Славка бормотал, уткнувшись в подушку: «Как жить?...» — и сдавленно матерился.

Вот так это все совпало. Вы читаете и думаете: вот психи беспутные. Но я знаю Славку не первый год. Еще недавно он мог спокойно храпеть на бетонном полу изолятора и смеялся в лицо тем, кто пытался его переубедить. Перед ним всегда был пример его «учителя». А теперь все разом зашаталось. Это страшно, когда ломаются такие парни, а главное, не знаешь, чем ему помочь.

Вот, кажется, и все, что я хотел вам рассказать. Теперь вы знаете, почему Барбаков так ведет себя на уроках и почему все молчат. Как быть дальше — дело ваше. Если вы скажете нам: заставьте его молчать,— мы это сделаем. Только очень прошу, подумайте, прежде чем решить что-нибудь. С уважением к вам

Леонид Голованов».

КОНЕЦ ПОЕДИНКА

Я вхожу в класс и не слышу оглушительного, так надоевшего хохота. Я начинаю урок и знаю, что меня никто не прервет. Поединок закончен.

Несколько дней назад я пришла в учительскую на полчаса раньше: нужно было заполнить журнал. Пустая учительская, всегда такая шумная и тесная, казалась огромной и чужой. Едва я начала работать, в коридоре послышались тяжелые шаги. Дверь широко распахнулась, и в учительскую вошел заместитель начальника колонии Шелехов. Он был очень озабочен и, видно, спешил. Протянув мне бумагу с длинным списком фамилий, объяснил: здесь записаны люди, которых завтра должны отправить дальше в тайгу. Нужно вычеркнуть учеников.

Пока я просматривала список и сверяла его с журналами, Шелехов нетерпеливо пощелкивал пальцами, говорил:

— Девушка, миленькая, пожалуйста, побыстрее. Учеников мы оставляем, но уж тех, кто действительно хочет учиться. Если «шаляй-валяй», то нечего школой прикрываться. Причины у каждого найдутся... А я не солнышко, всех не обогрею. Сказано: отправить сорок человек, столько и отправляем. Раньше надо было думать, когда нарушали...

— А чем там хуже? — робко спросила я.

— А всем! — рубанув рукой воздух, ответил Шелехов.— Добираться хуже. Значит — на свиданье реже приедут. Работать тяжелей, да и вообще...

Он с тревогой следил за моей рукой. Заметив, что я зачеркнула фамилию Барбакова, не удержался, спросил:

— Что же вы этого вычеркиваете? Я слышал, он грубит вам, с коллективом не в ладах.

Я опустила голову, чтобы Шелехов не заметил, как краска залила лицо, и тихо ответила, что как классный руководитель ни от кого из учителей жалоб на Барбакова не слышала. К тому же, он не пропустил ни одного дня занятий и оценки у него совсем не плохие. Последнее было правдой: ведь Барбаков отвечал на моих уроках только в присутствии завуча, и ответы хорошие: против его фамилии стояли четверки.

— Значит, обманули подлецы,— поколебавшись проговорил Шелехов.— Кому-то насолил. Ну, вычеркнули, и ладно. Давайте дальше.

Трижды просмотрев список, я вернула его Шелехову. Он остался доволен, учеников в списке оказалось всего трое.

— Ну, спасибо вам. Учатся, значит? Молодцы! Твердо стали на путь исправления. А этих, которые голову морочить приходят, вы, значит, нам сообщайте. Не хотят учиться — быстро образумим.

Он вышел, браво выстукивая сапогами, а я сжала ладонями виски и закусила губу. Если бы не письмо Голованова, найденное мной в его тетради неделю назад, я, может быть, и восприняла бы этот список как спасение. Но после письма я обязана была вычеркнуть Барбакова. Не потому, что поверила Голованову, будто смогу чем-то помочь этому человеку; вряд ли я сумею что-то для него сделать. Но там, куда его хотели отправить, он остался бы совсем один, а здесь у него друзья, которые его понимают и хотят помочь. Если есть у него надежда на другую жизнь — то здесь, только здесь. Смешно это, но я верю в Голованова, а он надеется на меня. Кто же из нас окажется прав и кто сумеет помочь Барбакову?

Раздумывая, я не сразу поняла, что Шелехов из школы не ушел, а с кем-то разговаривает на крыльце. До меня донеслись лишь последние его слова:

— Учительницу благодарите, она вычеркнула. Но знайте: начнутся какие-нибудь фокусы, я живо отправлю. Как в песне поется: «Были сборы недолги...» Вот так.

Через несколько минут зашла директор, за ней учителя, и началась обычная сумятица. К началу урока я уже забыла и о списке, и о тех, кого вычеркнула из него. Непривычное молчание, не нарушаемое выкриками и хохотом, озадачило меня. Невольно я несколько раз посмотрела на Барбакова, но он не поднимал лица, и мне видны были лишь два больших шрама на виске и на темени. Молчал он и на следующем уроке. На него оглядывались, пожимали плечами, кряхтели, и Шушарин весь урок так и просидел вполоборота, не сводя глаз с Барбакова.

Странно, вместо того чтобы радоваться, я начала

даже беспокоиться. Была какая-то затравленность в его взгляде, когда он изредка отрывал глаза от своего стола и смотрел на меня. Я смотрела на Голованова, Перепевина, но они лишь одобряюще улыбались мне. Неужели, думала я, это они заставили его замолчать? Но ведь я не просила об этом, а без моей просьбы они не собирались ничего предпринимать.

Как-то через пару дней на уроке, проверяя задание, я прошла к столу Барбакова и взяла его тетрадь. Раньше я никогда этого не делала, боясь услышать оглушающий хохот и очередную шутку в упор, но на этом уроке я уже ничего не боялась, мне хотелось увидеть его лицо вблизи. Он понял, что меня интересует не то, что написано в тетради, и едва слышно спросил:

— Я вам чем-то обязан?

И эти слова сразу объяснили мне все. Только теперь я связала тишину в классе и список, из которого вычеркнула Барбакова. Значит, не кто-то, а я сама заставила его замолчать! Я тихо ответила:

— Вы мне ничем не обязаны, Барбаков. Честное слово.

Он, казалось, не сразу понял меня. Лоб его перерезала глубокая складка, он опустил голову, затем снова поднял и тихо произнес какое-то слово. Мне показалось, он проговорил: «кончено», но, может быть, он сказал: «конечно»,— я не расслышала.

Не хочу обманывать себя: то, что произошло, далеко не победа и даже не перемирие. Он просто поступил согласно своим понятиям о чести. Но как легко мне сейчас в моем классе! Я читаю, рассказываю о книгах, во мне словно что-то прорвалось, долго сдерживаемое, закованное страхом быть высмеянной. Удивительно, как мало надо для счастья! Я счастлива, когда Аверин, втянув огромными ноздрями воздух, выносит прочтенному мной стихотворению удовлетворенное, одобрительное «глухо!».

Внешне не так много изменилось. По-прежнему обольщает меня взглядом Никоненко, сопровождает каждое мое движение ревнивыми гримасами. Все так же лениво равнодушен ко всему Шушарин и с настороженной подозрительностью, испытующе смотрит на меня Боровиков.

Но главный мой поединок — кончен.

КАК ТАМ, НА ВОЛЕ?

Сочинение на тему: «Кто мне больше всего понравился в повести «Тарас Бульба» и почему?»

«Мне в повести больше всех понравился Андрий. Он отвечает моим мыслям, и я считаю, что Тарас просто старый дурак, который никогда не испытывал настоящего чувства к женщине и потому не понял сына. За что он убил сына? За то, что тот не захотел повторить его глупую жизнь и быть таким же, как Остап. Ради чего они терпели муки? Можете мне ставить двойку, но я считаю Остапа и Тараса одинаковыми дураками. Что родина? Клочок земли, из-за которого поколения дикарей убивали и будут убивать друг друга. Разве сравнится с этой родиной женщина, которую любишь? Тот, кто хоть раз испытал прелесть женских ласк, поймет и никогда не осудит Андрия. Во всем, даже по отношению к матери,— он выше отца и старшего брата. Их сердца жестоки, а его сердце открыто любви. Он не виноват, что полюбил женщину, которая не пошла за ним. Я сам люблю и поэтому понимаю его. Мне ничего не надо, кроме ответной любви, но я не могу добиться даже письма, в котором будет высказана хоть какая-то надежда. Видно, всем женщинам нравятся только жестокие мужчины, которые стоят над ними с кнутом. Вот и вы глаз не сводите с Барбакова, хотя он позволял себе измываться над вами как хотел. Он-то как раз из тех идиотов, которые ради своих принципов готовы принять казнь Остапа и смерть Тараса Бульбы. Женщина ему не нужна, если она будет у него, он превратит ее в собаку. Такие, как он, не умеют любить, но их-то как раз, видно, и любят. Я тоже могу быть жестоким, но не хочу. Я люблю вас, и хочу только одного: добиться ответной любви. Или вы боитесь запачкаться о зэка? Так знайте, что в чувстве своем я намного сильнее тех, кто мнет траву на свободе. Да и немного осталось мне за этим забором. Я согласен ради вас на все, только ради вас, для вас и больше ни для кого на свете. Неужели вас и это не трогает? Неужели вы такая бесчувственная, и вашу мраморную холодность ничем не расшевелить? Или вам нужны от меня красивые слова о любви к родине? Пожалуйста, считайте то, что написано здесь, просто письмом, а со-

чинение я потом напишу о Тарасе Бульбе: какой он хороший, и вообще. Видите, ради вас я согласен и на это. Неужели вы так и не ответите мне? Я буду ждать. Знайте, что я люблю вас, как никто и никогда любить вас не будет.

В. Никоненко».

«В повести «Тарас Бульба» мне больше всего понравилась мать. Нет, понравилась — это не то, неправильно: и Остап и Тарас тоже нравятся мне. Они настоящие люди, и если бы все были такими, наверное, очень хорошо жилось бы на земле. Но когда читали вы нам отрывки, меня больше всего задело то место, где мать прощалась с сыновьями. Как она гладила их волосы, как ласкала спящих и как тяжело было на ее душе. Надо же так сильно написать! Я чуть не заплакал, да и, наверное, заплакал бы, если бы был один. Я не могу рассказать, что чувствовал, когда читали вы это место, нужные слова вертятся на языке, а когда начнешь писать — пропадают. Простите, что сочинение такое маленькое. Я еще не умею писать о своих чувствах, но мать мне очень жаль.

В. Неизвестный».

Ровно в семь утра я срываю с себя одеяло, вскакиваю и даже делаю зарядку. А потом надеваю ватник, который подарила мне директор школы, и бегу за дровами. Все это продиктовано, увы, необходимостью. К семи утра моя квартира превращается в самый настоящий холодильник.

Зима напала на наш поселок, как вероломный враг, без предупреждения. Все вокруг отчаянно сопротивляется ей. Река взметает вверх осколки льдин, разбивает их друг о друга, выкидывает на берег. Ей, видно, совсем не хочется сдаваться в ледяной плен. Громадное красное солнце, раскаленное от тщетных усилий победить холод, висит над поселком, но тепло его не доходит до земли.

С трудом приходит тепло и в мою квартиру. Сначала вся она заполняется удушливым дымом, и мне приходится раскрывать настежь двери. Но это с некоторых пор лишь веселит меня. Я насмешливо поглядываю на

странное изогнутое сооружение, именуемое трубой,— оно как раз и дымит,— и продолжаю подкидывать дрова. Я знаю, что победа будет за мной, надымит, но потеплеет.

Зима свирепствует, а жизнь идет своим чередом. Ученики мои заходят в класс раскрасневшиеся от мороза, потирают озябшие руки и весело улыбаются. Я отвечаю им улыбкой, и в классе становится тепло не столько от натопленной печи, сколько оттого, что нам легко и хорошо. Недавно мы ввели такой порядок: пятнадцать минут от уроков литературы тратить на беседы, которые мои ученики называют «Как там на воле?». Споры возникают у нас каждую минуту, и вопросы сыплются один за другим. Я люблю эти минуты раскованности и откровенности, потому что в них, как мне кажется, раскрываются люди, которые сидят передо мной. Даже спящий на ходу Шушарин и то как-то раз разгорячился:

— И что за люди нынче пошли, не понимаю? Вчера одному ногу баланом отдавило, так он, вместо того чтобы в санчасть бежать, портянкой ее перемотал и снова за балан. Псих ненормальный! Зачем это ему надо?

Аверин, не поднимая головы, снисходительно бросил в ответ:

— А тебе не понять. Глухо!

И столько в этом «глухо!» прозвучало презрения, что я так и застыла с мелом в руках, забыла, о чем мне надо говорить.

Споры и вопросы возникают из-за любого продиктованного предложения, если в нем заложен смысл, который чем-то задевает моих учеников. Я не сержусь, что меня отвлекают от намеченного по плану, ведь я сама часами перерывала книги и память, чтобы найти эти предложения, способные их задеть. Признаюсь, мне становится даже обидно, если предложение, на которое возлагались какие-то надежды, не встречает никакого отклика.

«Какая у вас жизненная философия?» — диктую я. Добрая половина класса знакома со словом «философия» и может более или менее сносно объяснить его смысл. Сложности возникают, когда я прошу самим составить предложения с этим словом.

«Моя философия: мне до вас дела нет — и в мою жизнь не лезьте»,— пишет в своей тетради хмурый Боровиков.

Прочитав, я еле сдерживаюсь, чтобы не закричать: ну что ты за человек, где ты вырос?!

Но что изменишь криком? Начинаю «рисовать» картину общества, где никому ни до кого нет дела. Улыбаются, согласно кивают. А в душе согласны ли со мной?..

На уроках языка я все-таки постоянно сдерживаю себя и учеников, зато литература для нас — раздолье мыслям и спорам. Обсуждали мы сочинение по «Тарасу Бульбе». Я прочла вслух то, что написал Неизвестный, тихий, густо краснеющий паренек. Сразу же разгорелся спор: простила бы мать Андрия или оттолкнула бы? Большинство утверждали: мать слишком мягка, чтобы не простить, матери почти все такие. Тогда я начала пересказывать им содержание «Матери изменника» Горького. Когда произнесла слова матери: «...человек, я сделала для Родины все. Мать, я остаюсь со своим сыном»,— напряженную тишину нарушил короткий смешок. Я прервала чтение, посмотрела на учеников, но лица были внимательно-спокойны, у некоторых глаза выдавали сдерживаемое волнение. Только Никоненко презрительно усмехался. Заметив, что я смотрю на него, он поспешил надеть на лицо обычную свою мину отвергаемого, но пылающего надеждой влюбленного. Но я не сомневалась, что слова матери вызвали смешок именно у него.

Когда я кончила читать, снова заспорили. Кто-то вспомнил жен декабристов, о которых я недавно им говорила. Соколов, приторно и вместе с тем ядовито улыбаясь, спросил:

— Скажите, Галина Глебовна, где же они теперь, такие женщины великой и прекрасной души? Такие преданные и верные? Почему нет их в наш цивилизованный век?

Я не успела ответить. Неизвестный, подпрыгнув на месте, сердито напустился на Соколова:

— Нету, говоришь, таких? А если она на последние копейки покупает тебе мяса, конфет, хлеба и разной ерунды, тащится со всем этим за тысячи километров, а сама в дороге не ест? Обратно едет голодная и о де-

тях думает, за которыми бабка чужая неизвестно как присматривает? Так это что? О ней стихи не напишут, она не к революционеру, к преступнику едет. А ей все равно. Вернется домой и снова копейки откладывает до следующей свиданки. Что бы ты понимал в женской душе, пи-са-тель?!

Меня очень тронули эти слова, выпаленные на одном дыхании.

— Это очень хорошо, что вы понимаете... цените...

Неизвестный сразу сник, потускнел лицом:

— Да я не о себе. Жизнь это... А ко мне кто приедет? Детдомовский я. В детдоме и фамилию такую получил, имя — тоже. Сам малыш еще был, не помнил ничего. Война, что с нее спросишь?

И снова в классе наступила тяжелая тишина. Маликов, большой сильный парень, кривя в насмешливой улыбке губы, проговорил:

— Не переживайте, Галина Глебовна. Все это ништяк. У всех у нас жизнь поломатая. Лучше почитайте что-нибудь, как в тот раз.

Сразу все оживились, запросили почитать стихи, но раздался звонок, и я взяла в руки журнал.

Кто-то обиженно проворчал:

— Вот так всегда. Ждешь, ждешь — и звонок. Хоть бы свет почаще гас.

Дружный хохот встретил эти слова. Недавно в начале урока во всей зоне погас свет, продолжать объяснение было уже нельзя, и я начала читать стихи. Когда пришел дневальный с лампой, его просто прогнали: «Мы сами проводим свою учительницу». Ушла я только тогда, когда сообщили с вахты, что света не будет. До двери учительской меня провожало факельное шествие спичечных огней.

И сейчас я невольно улыбалась. Ответила, словно оправдываясь, что есть учебная программа, которой мы должны следовать, а стихи и книги можно обсуждать в свободное от занятий время. Последовал конкретный вопрос: «Когда?» Решили собираться по средам. Кто-то вспомнил, что ребятам из отряда понравилась беседа о литературе, они хотели бы послушать еще, но в школу записаться не могут, есть образование.

— Что же, — ответила я, — пусть приходят и из отряда, и из других классов кто хочет.

Но все оказалось не так просто, как мне думалось. Чтобы собираться в неучебные дни, понадобилось разрешение администрации колонии. Завуч встретила мое предложение с восторгом, правда, тут же потребовала, чтобы я письменно отчитывалась о работе «кружка любителей литературы» — она и название мгновенно придумала,— так как это «повысит престиж школы в районо и политотделе». Добиться разрешения она взяла на себя. Я немало поволновалась эти дни, но все обошлось. Разрешение получено, и вчера состоялось первое наше занятие. Были почти все мои ученики и человека три-четыре, которых я не знаю.

КТО ЕСТЬ КТО?

Я пришла из школы, затопила печь, отогрела у огня озябшие руки и ноги, но тепло, разливаясь по телу, не в силах растопить тоскливый холодок в душе.

Все началось с той минуты, когда я зашла в учительскую. За столом, склонив голову над тетрадями, сидела Татьяна Николаевна. Мне давно уже хотелось разговорить эту удивительную, непонятную мне девочку-женщину, и вот впервые мы оказались с ней наедине. Она холодно кивнула на мое приветствие, и я поняла, что у нее нет никакого желания разговаривать со мной. Я отлично знала это и раньше, но все-таки села рядом с ней и как-то лихорадочно заговорила. Я сказала ей, что почти во всех книгах, которые я читала раньше, преступники-рецидивисты обладали одинаковой внешностью: низкий лоб, тяжелый подбородок, взгляд исподлобья, полный затаенной жестокости и злобы. Классический тип. Так почему же здесь я не встретила человека с такой внешностью до сих пор? Вернее, встретила только вчера на занятии кружка, и взгляд исподлобья, только во взгляде никакой злобы, но ее-то можно и скрыть. Оказывается, этот человек учится в классе Татьяны Николаевны, его фамилия Утехин. Что она знает о нем? Он, наверное, настоящий рецидивист, на совести которого немало крови и слез?

Татьяна Николаевна выслушала меня, не поднимая головы. Я впервые почувствовала, как неприятно говорить, когда тебя вот так слушают, глядя в стол, но

остановиться не могла. Когда я закончила, она подняла на меня свои усталые глаза, и я увидела в них откровенное презрение. Отрывисто, словно бросая каждое слово мне в лицо, Татьяна Николаевна проговорила:

— Утехин — потомственный моряк. Сидит за драку в чужой стране с иностранцем. Кстати, оскорбили его корабль, а он не смог сдержаться, бросился в драку. Его приговорили к заключению на строгом режиме.

Татьяна замолчала, усмехнулась и смерила меня взглядом, значение которого можно было понимать только так: о чем берешься судить? Ты вообще ничего не поняла здесь и вряд ли поймешь! Пусть завуч восторгается тобой и указывает нам на тебя пальцем, я уже поняла истинную цену тебе. И, пожалуйста, не приставай ко мне со своими вопросами.

Она отвернулась, а я, не в силах подняться, осталась сидеть рядом, будто прибитая к стулу. Я чувствовала себя скверно, отлично понимая, что в ее глазах просто дура и карьеристка, выслуживающаяся перед завучем. Неужели я такой и останусь в представлении учителей? На душе стало пусто и холодно.

Но это оказалось еще только началом. Перед звонком в учительскую зашел Степанов и сказал, что сейчас в классе мы должны провести обсуждение поведения моего ученика Маликова. Он пойман за игрой в карты, и его посадили в изолятор, но ученики просили, чтобы его отпускали из изолятора на занятия в школу.

— Так вот,— заключил Степанов,— я подумал и решил провести такое мероприятие: пусть они обсудят и возьмут его на поруки. А я представлю администрации ходатайство учеников, и от изолятора мы его на первый раз освободим.

Раздался звонок, и мы со Степановым пошли в класс. Маликов сидел на своем месте и, как мне показалось, ничуть не волновался.

— Расскажи, Маликов, своим товарищам, в чем ты провинился? — начал начальник отряда.

Маликов нехотя поднялся и сердито пробурчал в ответ:

— А что рассказывать? Ничего я не сделал. Не играл я.

— Ты просто спрятал карты, а одну не успел. Карты у тебя нашли. Расскажи товарищам, как все было,—

внушал ему Степанов, глядя, как обычно, куда-то в сторону.

— Не играл я. Карты нашли — и сразу в изолятор. А может, они у меня просто так? Не играл я, говорю.

Степанов, словно не слыша его слов, проговорил:

— Скажи товарищам, что больше не будешь играть в карты. Дай слово.

— Ну, не буду больше.

— Верите ему? — спросил Степанов.

— Верим! Не будет он больше,— охотно откликнулись сразу несколько голосов.

Я медленно опустилась на стул, прижав ладони к пылающим щекам. Мне было стыдно за Степанова, затеявшего эту пустую проформу, за себя, потому что я не могу и не знаю, как остановить все это, за учеников, которым, видно, комедия эта пришлась по душе.

Степанов заметил мое смятение и сказал:

— Видишь, Маликов, учительнице за тебя стыдно, а тебе нет. Ну, ладно, раз товарищи за тебя ручаются, в изолятор не пойдешь. Но чтоб в последний раз. Понял?

Попрощавшись, Степанов вышел, а я осталась сидеть, не зная, что же мне теперь сказать им. Молчали и ученики. Сколько длилось это молчание, я не знаю, только вдруг тишину нарушил негромкий смех. Это рассмеялся Барбаков, не захохотал, а просто рассмеялся невесело. И так же тихо и невесело проговорил:

— Да вы-то что так расстраиваетесь? Ну и отсидел бы в изоляторе суток пять, сейчас там ничего, топят.

Я поднялась и заговорила быстро, будто боясь, что меня не дослушают:

— Дело совсем не в том, поймите же! Как можно давать слово больше не делать того, чего не делал? Ведь так у вас, Маликов, получилось. Вы не играли, но вы больше не будете играть. А если играли — зачем врать?

Маликов уставился на меня удивленно и непонимающе, нехотя ответил:

— Так ведь он, начальник-то, знает, что играл. Чего еще-то?

— А вы? — сердито продолжала я, обращаясь ко всем.— Как вы быстро подхватили: «Не будет, не будет». А уверены, что не будет, если он даже не захо-

тел признаться? Вы хоть понимаете, что вы сейчас сделали?

Ученики мои пожимали плечами, переглядывались, и мне становилось ясно, что они просто не могут понять, чего же я хочу от них.

— Да поймите же вы, наконец,— вновь горячо заговорила я,— что вы дали за Маликова слово, взяли на себя ответственность и даже не спросили его по-настоящему, собирается ли он бросить игру? Разве можно так?

Кто-то удивленно присвистнул, кто-то протянул раздумчивое «да...».

— Что же вы молчите? — сердито спросила я.

— Так что говорить-то?! — воскликнул Неизвестный.— Может, завтра меня за то же разбирать будут! Пытку, что ли, тут устраивать?

И по выражению лиц моих учеников я почувствовала, что Неизвестный выразил общее мнение.

— Чистых тут нету. Глухо! — подвел итог Аверин.

Запинаясь и путаясь от волнения, я стала говорить о том, что игра эта, жестокая сама по себе, в этих условиях бесчеловечна, потому что здесь, как нигде, дорог каждый кусок хлеба.

Разве можно отбирать его у товарища?

И снова меня не поняли. Заговорил Боровиков, который никогда раньше не принимал участия в спорах, лишь наблюдал за мной отчужденно и настороженно. Он сказал:

— Почему я обкрадываю? Игра честная. Кому повезет. Не на что играть, не садись. Не умеешь — тебя никто не заставляет. А будешь жульничать — получишь такой выигрыш, что с постели не встанешь. Вот так. А проиграл — плати.

Последние его слова утонули в одобрительном гуле.

Я тяжело вздохнула и сказала: «Начнем урок. Запишите тему...» Объясняя, все думала о том, что Татьяна права, я действительно ничего не знаю об этой жизни, ничего не понимаю в ней и вряд ли пойму. Мне показалось, что Перепевин снова, как прежде, снисходительно улыбается: мне бы ваши заботы, учитель! — но только улыбка эта относится не столько к объяснению урока, сколько к тому, что я так горячо доказывала им. И все-таки, уже выходя из класса, я сказала:

«А к этому разговору мы еще вернемся». Они весело и охотно согласились. Но сейчас, оставшись одна, я не очень-то верю, что смогу в чем-то убедить их.

Вспоминаю слова Инны Николаевны: «Мое дело дать хороший урок, все остальное меня не касается». Но зачем он нужен, хороший урок? Чтобы научить их считать выигранные деньги, если придется играть на них? Развивать память, чтобы лучше запоминать карты? Так они это умеют и без нас. Недавно привели в учительскую одного немолодого усатого дядю. Он утверждал, что не умеет ни писать, ни считать, а поэтому в школу не пойдет: поздно. Математик наш, весело подмигнув учителям, спросил его:

— А как же ты «дело» свое делал, если деньги считать не умеешь?

Усач бросил на математика быстрый ядовитый взгляд, спокойно ответил:

— А я не считал. Все брал. Так что мне школа ваша ни к чему.

Еще несколько часов назад мне казалось, что я неплохо знаю своих учеников, что мне ясно, кто есть кто. А сейчас я уже снова ничего не понимаю, на душе опять смутно. Как быть?

СЧАСТЬЕ — ЭТО СВОБОДА

> Я предлагаю так: раз договорились, то писать сюда «правду, одну только правду, ничего, кроме правды». А не хочешь — не пиши совсем.
>
> В. Неизвестный
>
> (Заглавная страница журнала любителей литературы)

Значит, мне писать первому. Коротко о себе. Если коротко, тогда так: родился примерно в 1940 г., точно не знаю. Родителей не помню. Может, погибли, а может, я сам потерялся, когда эвакуировались. Рос в детдоме, воспитывался в детской исправительно-трудовой колонии. Имею три судимости за грабеж. Первые два срока отбывал в детской колонии, третий — в колонии строгого режима.

Какое значение в моей жизни имеет литература? Никакого, хотя книг прочел много, особенно когда сидел в крытой тюрьме. С ними, конечно, легче забыть свою жизнь, но зато хуже возвращаться к ней. Стихов никогда не читал, кроме переписанных в тетрадях лагерных поэтов и Есенина.

В кружок хожу потому, что мне нравится слушать, как рассказывает и читает стихи учительница.

Мой любимый писатель. Шолохов.

Книга, которая больше всего понравилась мне,— рассказ «Судьба человека». Читал и плакал. Все думаю: если Шолохов сам не испытал такого, то как же он смог так написать? Или это и есть настоящий талант писать? Когда прочел этот рассказ, ходил как пришибленный и все повторял: «За что ты меня так, жизнь?..» Здорово сказано! А сколько людей было бы счастливо, если бы не война!

Мой любимый поэт. Раньше знал одного Есенина, он и был моим любимым поэтом. А сейчас очень задели стихи поэта, которого учительница читала нам как-то. Он сам погиб на войне еще совсем молодым, а какие успел написать стихи! Особенно запало в душу одно стихотворение, где он пишет о своем поколении. Хотелось бы послушать или прочитать его еще раз, а вот фамилию не помню. Кажется, Коган. А еще он написал хорошую песню, которую часто передают по радио, «Пьем за яростных, за непохожих, за презревших грошевой уют». Сам-то я мечтаю об этом грошевом уюте, как о счастье, но все-таки отличный, наверное, был парень, этот поэт. Я не совру, если скажу, что запросто отдал бы ему свои двадцать шесть лет и сколько там мне еще причитается, чтобы он жил и писал хорошие стихи. Не посчитайте это за дешевку, мне-то ведь особенно нечем дорожить в жизни, хотя, по правде, и умирать ничуть не хочется, но за такого парня не жалко.

Кажется, я слишком уж расписался тут: еще другим места не хватит...

Мой девиз? Чего не знаю, того не знаю. Живу так, без девиза.

Мое представление о счастье. Быть нужным кому-то, иметь родителей, братьев, сестер. А еще счастье — это свобода. Будь я свободен и чист, я бы тоже взялся

искать своих родных, находят же некоторые. Но такой, какой я есть, уж никому навязываться не стану.

Несчастье всего этого не иметь. А самое большое несчастье — война. Если бы у меня была возможность, я бы перестрелял всех, кто затевает эти войны. А еще лучше: заставил бы их пережить то, что пережил сам.

Недостаток, который вызывает у меня отвращение,— подхалимство. Ух, как я ненавижу этих лизунов!

Недостаток, который я склонен простить. Хвастовство. Жалко, что ли, если человек выдумывает себе жизнь, раз у него в настоящей ничего хорошего не было.

Уф! Ну, с меня, кажется, все. Помните, парни,— писать только правду или не писать совсем.

В. Неизвестный.

Коротко о себе. Как это коротко? Родился, бродяжничал, судился. Вот и все. В канцелярии есть толстая папка, в ней вся моя жизнь. Там все: когда, где, за что?

Какое значение в моей жизни имеет литература? Книги я люблю. Не все, конечно, а такие, что за душу берут. Читаешь и думаешь: не у одного у тебя так дрянно сложилась жизнь. Не люблю книги о преступниках. Прокатятся по колониям, наслушаются чепухи, а потом пишут все это, а больше сами выдумывают, чего никогда не бывает, правду-то им все равно никто не сказал. Вот Достоевский уж сам испытал, так и написал по-человечески. Сильная книга «Записки из мертвого дома».

Мой любимый писатель. Горький. Люблю все его рассказы: «Челкаш», «Мальва», об Италии, «На дне» мне нравится. Особенно Сатин. Тоже отброс общества, а душу имеет, и слова у него, дай бог каждому чистому так сказать. Любимый поэт — Есенин.

Мой девиз: «Не сдаваться. Пока веришь — борись!» (Расшифровывать не стану, это мой девиз, и каждый пусть понимает как хочет.)

Мое представление о счастье. Прочитал написанное до меня «иметь родных». Это уж смотря каких. Бывает, что лучше их совсем не иметь. Видно, действительно, счастье — это то, чего у тебя нет. Свобода — счастье. А если вообще — это иметь верного друга, для которого тебе ничего не жаль и ему тоже. Несчастье —

потерять такого друга. А самое большое несчастье — узнать, что друг тебя предал.

Недостаток, который внушает мне отвращение: лицемерие — раз, предательство — два. Остальное все могу простить.

С. Барбаков.

Коротко о себе. Скажу так же, как сказали до меня. Родился, учился, бродяжничал, а в основном судился. А писать по-настоящему тетради не хватит. Жил не так, как надо бы, но винить никого не виню, кроме себя. Начать бы все сначала, да ведь жизнь не диктант — учительница сказала: много ошибок, перепишите заново,— уже не перепишешь.

Почему записался в литературный кружок? Интересно. Читать я всегда любил, а вот над книгами как-то не думал. Для того и читал, чтобы ни о чем не думать. Моя любимая книга? Кажется, неувязка тут выходит. Нет у меня любимой книги. Раньше «Бориса Годунова» очень любил, даже наизусть выучил. Гришка мне нравился: мало пожил, сколько звону наделал. А сейчас уже не то все.

Мой любимый поэт. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не грусти...» Я его и раньше много читал, а этого стихотворения как-то не встречал. Услышал первый раз недавно на уроке, разыскал в библиотеке и сам несколько раз прочел: «Все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило». Хоть неправда, а — хорошо!

Мой девиз. Не знаю. Раньше у меня их много было, все на себе выкалывал. Разденусь — не человек, а ходячий плакат. И «Смерть легавым, жизнь блатным!», и все девизы воровские на мне есть. А теперь и позагорать не придется, толпу соберу.

Тут до меня написали: «Пока веришь — борись!» Тоже верно. А если не веришь? Если всю жизнь верил не в то, что надо? Тут уж не до девиза.

Мое представление о счастье. Опять мне ничего не ответить. Я не знаю, что такое счастье. Когда голоден, поесть хорошенько — счастье. А когда сыт? В пятнадцать лет я думал: быть вольной птицей— счастье. Жить опасностью, искать ее, заставить уважать себя, преклоняться перед собой! Все это было, вот не было

только счастья. А когда встал вопрос: жить или нет,— оказалось, что умирать не за что. По утерянному не плачут. Стал жить. И вот только сейчас понял, что та скучная жизнь, от которой отказывался с презрением, и есть, наверное, счастье. Но утверждать это не могу, потому что такой жизни не знал. Не могу я сказать и о том, что счастье — свобода, я жду дня освобождения, а чем ближе он, тем больше страха. Я столько сижу, что знаю только эту жизнь, а там придется начинать новую. Как это у меня получится — не знаю. Для меня воля — чужая страна, и я понимаю, что нелегко мне придется. Вот освобожусь, поживу, тогда смогу сказать, что такое счастье. Ну а несчастье — это на тридцать седьмом году жизни понять, что выбросил лучшие годы коту под хвост.

Недостаток, который вызывает у меня отвращение,— подхалимство.

Прощаю глупость. Не виноват же человек.

М. Перепевин.

«Правду, только правду». Не верю я этому. Никто не станет перед другими раскрывать свою душу, а то увидят, какая она грязная. Так что все, что пишут здесь,— чистейшее фуфло, я и читать не стану — не стоит. Все приходят сюда, чтобы посмотреть на учительницу. И я за этим же. А что делать? Хоть посмотреть разрешают. Хе-хе! Любимых книг и писателей у меня нет, они мне и не нужны. «Хочешь жить — умей вертеться» — чем плохой девиз? Здесь все так живут. Сам я сволочь, но таких сволочей, каких сюда столкали всех вместе, в мире не отыщешь. А о счастье я даже могу песенку спеть: «Счастье в жизни — глупый попугай, я пойду оплаканный по свету...» Сказал бы я, что для меня счастье, да не стоит, лист вырвут, хорошую тетрадь испортят. Вот и я написал «правду, только правду». Только подписываться уж не буду: хочу еще походить сюда, посмотреть на учительницу.

Несчастливый.

Коротко о себе. Да уж так же, как остальные. Родился, недолго бродяжничал, долго сижу. Можно бы и больше, да хочется не о себе сказать. Прочел то, что

тут намарал кто-то до меня, и зло взяло. Что же ты, фраер дешевый, других-то с грязью смешиваешь? Что ты сволочь — это ясно, а почему все-то ими стали? Или тебе так легче: думать, что и ты не один, значит, все можно. Есть среди нашего брата такие, делают подлости и орут: «Что, я один такой? Все мы из одного теста!» Нет, парень, не все. Что написал ты правду, с этим я согласен. Просто она у тебя такая, твоя правда. Был у меня когда-то друг, умный человек, все говорил мне: «Что ты, Леха, правды доискиваешься? У нас с тобой одна, а у ментов другая. И никогда наши правды не сойдутся». Недавно я от одного паренька то же слышал, похоже получалось вроде так: у нас одна правда, у администрации другая, а у учительницы третья. Я долго думал и вот решил: правда, если она настоящая,— одна. И неправда — тоже. Все остальное вранье.

Для чего я записался в литературный кружок? Интереснее жить стало с этими спорами. Слышишь ты, Несчастливый, только поэтому я сюда хожу. Мысли новые появились, не только о себе, а и о других стал думать. А на учительницу я могу и в классе на уроках насмотреться вдоволь.

Мой любимый писатель. Вот ведь беда, фамилия длинная, не наша, не смогу написать. Его книга как раз и любимая — «Спартак», много раз перечитывал. «Овод» тоже книга что надо. Вообще я люблю такие, где о сильных, настоящих людях говорится. Они имели в моей жизни то значение, что я гордился героями, переживал за них.

Мой любимый поэт. Любимого нет, такого, к которому бы возвращался много раз, думал о нем. А нравится Лермонтов: «Белеет парус одинокий», «Утес». Еще очень понравились строчки, которые недавно записывали в тетради. Сразу запомнились и в душу врезались.

«Нет, лучше с бурей силы мерять, последний миг борьбе отдать, чем выброшенным быть на берег и раны горестно считать».

Написал их польский поэт, а фамилию учительница не сказала, или я забыл.

Мой девиз. Я от него не отступал и не отступлю: «Погибай, но товарищей выручай». Хоть и обидно бывает. Товарищи-то давно и думать обо мне забыли, гу-

ляют на свободе, а я за них да за то, что не назвал никого из них, сижу вот здесь. Но все равно в дружбу настоящую верю. Другое дело, что не те, видать, товарищи попались.

Мое представление о счастье. Счастье — это сначала свобода. А потом встретить женщину, которая поймет и простит прошлое. Жить с ней, иметь детей, воспитывать их хорошими людьми — вот счастье. Мало? Только мне больше и не надо. Знаю, что большинство из нас думает о счастье так же. Я, конечно, не имею в виду таких дешевых фраеров, вроде того, что писал до меня. Такие, освобождаясь, кричат: «Все! За рубль больше не попадусь, сидеть — так за миллион». А что ему от этого миллиона баланда гуще покажется, что ли? Недавно один такой уходил, пришли за ним, а он куражится: «Не пойду,— орет,— отсюда, пока мне ворота настежь не откроют как в колонию, так и из колонии». Я ему говорю: «Пусть тебе сейчас хоть все заборы выломают или самолет подадут, вернешься ты сюда, потому что ничего ты еще не понял». Он мне ответил: «Ну и что, хоть поживу, погуляю по-настоящему. Счастье узнаю». А счастье для таких, как он,— это побольше водки да женщин. Видно, еще не понял, что женщины, которые с тобой за деньги, тебя и не вспомнят. Да и самому через год некого будет вспоминать: все на одно лицо покажутся. Только ведь вот еще что. Встречал я совсем неплохих парней, которым надо было такого же счастья, что и мне. Уходили — прощались навсегда, а через год возвращались. Значит, и за такое маленькое счастье надо еще бороться. Убить в себе все, что потом помешать сможет. А может, главное — подготовить себя к самому тяжелому, ко всему, что может произойти.

Представление о несчастье. Одиночество в неволе. Недостаток, вызывающий у меня отвращение? Я уже написал. Не терплю болтливых дураков, которые ничего не понимают в жизни, а орут так, что только их слышно. По ним и обо всех нас судят.

Недостаток, который я склонен простить,— упорство в своих ошибках. Надо объяснить человеку, что он неправ, терпение тут надо.

Л. Голованов.

Коротко о себе. Родился в 1939 году, ходил в детский сад, потом в школу, потом пошел в колонию. Вот и все. А вообще, странно: родители честно трудились, а я вор. Жили хорошо, а начну вспоминать — ничего не помню. В садик вроде в коротеньких штанишках ходил, в школу пошел — костюм справили, а сейчас робу эту надел. Вот и вся жизнь. А воровать начал так, от скуки и спьяну еще.

Зачем записался в литературный кружок? Время быстрее проходит.

Ни книг, ни любимых писателей у меня нет. Толстые книги вообще читать не могу, терпения не хватает, уж лучше сразу конец посмотреть. Стихи не люблю и не понимаю. У нас в бараке тоже один такой живет, что все сочиняет. Жаль глядеть, и чего человек мучается? Сказал бы так — нет, ему обязательно рифму какую-то надо.

Мой девиз: «Быстрей бы срок прошел».

Представление о счастье, Свобода, наверно. А какое здесь еще может быть счастье? Ну, а несчастье — тюрьма, особенно если одиночка. Сидишь один, как сыч, и хоть вой.

Недостаток, который внушает мне отвращение. Черт его знает, вообще, крикунов не люблю. Зачем навязывать свои мысли кому-то. Каждый пусть живет как хочет. Недостаток, который я склонен простить,— а я все прощаю. Нет охоты связываться да ругаться.

Ну, вот и все. А то все пишут, значит, и мне надо. Написал правду.

А. Шушарин.

Коротко о себе. Вырос у моря. Дед и отец почти всю жизнь проплавали, потому что, если живешь у моря, другого дела для мужчины быть не может. Я тоже начал, как они, но одно происшествие все изменило. Но я ни о чем не жалею. Так и на суде сказал: «Знал бы, что судить будут, еще не так бы отдубасил». Родные меня не осуждают, они поняли. Обидно только, если в море больше не пустят.

Почему записался в литературный кружок? Надоело слушать в бараке дурацкие анекдоты и дикие выдумки разные о женщинах. А сосед мой на это боль-

шой мастер. Пока в школу не ходил, еще мог терпеть, слушать. Думал, пусть себе сочиняет, это он от злости, что сам-то ничего хорошего не испытывал. А сейчас не могу, тошнит меня от этих разговоров. В школе все чистое, человеческое, а как нет занятий, придешь с работы и сиди, как болван, слушай эту чепуху. Поэтому и ухожу из барака в кружок.

Какое значение имеет в моей жизни литература? С детства любил читать о море. Мечтал путешествовать, увидеть дальние страны. Уроки литературы я люблю. В нашем классе учительница Татьяна Николаевна, она хорошая, знает свой предмет. Для нее, видно, литература большое значение имеет в жизни, а для меня только в детстве была настоящим увлечением. И писатели любимые были, и книги, которые по десять раз перечитывал. А сейчас уже не то все. Своя жизнь так сложилась, что и не до книг вовсе.

Стихи я люблю слушать. Татьяна Николаевна очень хорошо читает. Глаза даже у нее при этом светятся как-то, а закончит — грустная такая становится, будто с родным человеком рассталась. Только вот этих стихов о буре, что записал до меня человек, я от нее не слышал. Хорошие слова, верные. Интересно, он не моряк был, этот польский поэт?

Мой девиз: «Крепись, как бы ни было тебе тяжело. Свяжи свою боль в морской узел, чтобы она задохнулась в тебе, а то она сама задушит тебя, превратит в половую тряпку».

Мое представление о счастье. Я, конечно, перечитал все, что тут до меня написали. Очень правильно один решил: и за маленькое счастье надо бороться, убивать в себе, что может потом помешать. Это верно. А то будешь и сам несчастливым и другого еще сделаешь горемыкой. Я почему об этом пишу? Очень мне обидно смотреть на нашу Татьяну Николаевну. И красивая она, и умная, и смелая. Не побоялась выйти замуж за парня, который всю жизнь по колониям. Только, видно, что несчастливая она. Как подумаешь: такую бы только на руках носить, а он, подлец, что делает? Но вот ребята рассказывали, что совсем он неплохой парень и любит ее очень. Может, как раз это у него и получилось: не подготовил себя к свободе.

Написал это не затем, чтобы посплетничать, а по-

тому, что мне действительно очень жаль учительницу.

Ну а для меня самого счастье — это свобода и море. А пока жду маленького счастья: скоро приедут на свидание жена и сыновья.

Недостаток, который внушает мне отвращение,— трусость. Все остальное могу простить.

Ученик 10 класса С. Утехин.

Коротко о себе. Когда я родился, мои мама и папа были очень счастливы. Они долго ждали ребенка, уже не верили, что судьба их помилует. Учился я хорошо и приносил родителям только радость и удовлетворение жизнью. Но время было такое, что мне пришлось бросить учебу, погубить прекрасный талант, в который родители верили и надеялись, и пойти работать. Но так как я был неглупый и послушный, то и на работе стал добиваться успехов. Я не догадывался, что несчастье поджидает меня за углом моей честной жизни. Оно набросилось на меня, как вулкан, изничтожило все, чего я добился, в слезы и горе повергло моих родителей. Я встретил подлую, глупую, грязную и мерзкую женщину. В моей неприкосновенной душе пышным букетом расцвела любовь к ней. Эта подлая тварь вышла за меня замуж, но не моя всепоглощающая великая любовь нужна была ей, а дорогие тряпки, золотые вещи. Ради нее я переступил порог своей незапятнанной совести, презрел бушующий страх и преступил закон. Она, как заслуженная артистка, притворялась, что любит, а я наивный, чистый, как буйно играющий ручеек, верил, глупый, ей. А сейчас, пустив молодую цветущую жизнь под колеса, в каменный обрыв, она отказалась от меня. В моей душе не осталось любви к ней, пышный букет роз любви завял, не дозрев, она не нужна мне больше, эта грубая женщина. Я хочу только отомстить, увидеть лживые слезы, лицо, изуродованное поздним раскаянием. Но моя месть будет не похожа на рукоприкладную месть мужика, я отомщу ей своим величием. Вот что я смог рассказать о себе. О своей нечеловеческой, рычащей, как дикий зверь в клетке, обиде.

Почему я записался в литературный кружок. Чтобы быть выше этой нелепой, униженной жизни.

Литература в моей жизни имеет большое значение.

Ею я хочу добиться того, что упустил в лучшие, брызжущие алым соком годы жизни. Я хочу творить произведения искусства.

Любимых писателей и книг у меня нет. Когда занимаешься самовыражением своих мыслей, то книги только мешают. Я вижу жизнь не хуже тех, чьи книги печатаются только потому, что они имели возможность учиться и сумели пробить себе просторную, усыпанную удовольствиями дорогу.

Стихи писать не пробовал, считаю это пустым занятием. А читать их — тем более занятие глупое. Мне кажется, люди просто одеваются в красивые одежды для своей души, когда говорят, что любят стихи. Наша учительница — исключение из этого всеобщего и всемогущего правила.

Мой девиз: «Иди к своей цели любыми путями. Пусть тебе плюют вслед не умеющие красиво мыслить бараны, пусть они плюют даже тебе в лицо. Что тебе до них, твоя цель окупит их неуемное презрение».

Мое представление о счастье. Счастье — это что-то великое, огромное, полное большого смысла. Подняться на вершину и увидеть, как те, кто раньше презирал тебя, кусают злобно губы от зависти, а женщина, которая по глупости своей и нищете душевной отвергла тебя, теперь ползет к твоей вершине, обдирая руки в кровь о горячие камни. Это счастье. Стоять, высоко подняв гордую, независимую голову, и смеяться над тем, кто ползет и копошится внизу.

А здесь, где забор закрывает все радости молодой творческой жизни, здесь для меня счастье — досрочно освободиться.

Несчастье — это быть за этим забором среди грубых людей, быть лишенным всех удовольствий прекрасной, манящей звонкими и неясными голосами свободы.

Недостаток, который вызывает у меня отвращение,— рукоприкладная грубость.

Недостаток, который я склонен простить,— доверие к людям, не достойным доверия, унизительное поведение перед недостойными людьми из-за стремления сохранить свое внутреннее «я».

В. Соколов.

Тут на первой странице написали, что сюда только правду писать, вроде бы как на суде. А что толку-то. Кто правде поверит? Я и на суде правду сказал, так они сами потом мне упрек сделали: молчал бы, признал свою вину или сказал бы, что тот на тебя первый напал, а ты спьяну и размахнулся. Срок бы, значит, меньше получил. Умные, ученые вон как рассудили, а я-то, дурак, правду захотел. Сказал им: вы за то меня судите, что судим был, а остальные не были. Так поймите же, не мог я его убить, не мог, и все. Мы с ним вместе спали, хлеб делили, за что же я его убью? Нет, говорят, слышали люди, как он тебя каторжником обозвал, а ты поленом его по спине — это, мол, тоже видели. Пусть, говорю, так, я пьяный был и не помню, так неужто такой мужик от этого полена по спине сразу и загнется? Нет, говорю, вам виноватого искать неохота, а за меня, судимого, какой спрос. Неправду, что ли, сказал? А вышла эта неправда пятью годами в довесок к десяти. Вот она какая правда.

На остальные вопросы мне отвечать нечего. Книги все врут: в них все правильно и справедливо, а в жизни наоборот.

Девиза у меня никакого нет, да и прослушал я, что это такое, когда учительница объясняла. А счастья нет, так же как и правды, потому что если раз сидел, то теперь свободы не видать как своих ушей. Так что несчастье — это один раз дать кому-нибудь по уху, а потом уж, где кого ни били, ни побили,— все будешь виноват. Вот так.

Записался я сюда потому, что здесь и на уроках отдыхаю. Все.

С. Гулько.

КТО ВИНОВАТ?

Рано утром, когда я только успела встать с постели и затопить, постучала почтальонка, большая и крикливая женщина. Едва переступив порог, она начала громко возмущаться:

— Ну и хатенка! Собачья конура, не могли для учительницы лучше найти. Порядочки!

Я настороженно молчала. Прежде ее возмущение

не шло дальше моей одежды и соседей. Почему ей вздумалось вдруг пожалеть меня?

Она огляделась и сердито продолжала:

— Опять будешь улицу топить? Ну и ну! Требовать надо, требовать! Чтобы прислали печника трубу переложить. Учительнице они обязаны. Замерзнешь тут, и никто не узнает. Грамотная, образованная, а за себя постоять не можешь. Да я бы им душу вон выпустила.

Она громко вздохнула и достала из сумки конверт:

— Вот весточка тебе. Небось, заждалась?

Обычно почтальонша швыряла на стол конверты с таким видом, будто я виновата, что мне пишут, а ей из-за этого приходится тащиться с письмами на край поселка.

Я протянула руку за письмом, уже не сомневаясь, что сегодня ей что-то от меня нужно. Она не заставила себя долго ждать. Взяла табурет, подсела к столу и начала крикливое и длинное объяснение. Оказалось, ей потребовалось написать жалобу на тех, кто неправильно осудил ее мужа. «Грамотные грамотную лучше поймут» — поэтому она решила рассказать свои обиды мне, чтобы я за нее написала. Тем более я учительница, а Вова ее ученик нашей школы, значит, обязана я ему помочь, ему и ей.

Сначала мне было жалко ее: пятый год она за мужем по таежным дорогам ездит, куда отправят его — туда и она, сколько лишений ей пришлось перенести. Но чем дальше я слушала, тем сильнее запутывалась в ее рассказе.

Когда почтальонка закончила, я пообещала подумать, а потом уже дать ответ, буду ли писать жалобу. Она закусила губу, но показывать недовольство раньше времени не решилась. Попрощалась и ушла, сердито топая валенками.

А мне нужно было кое-что обсудить с собой наедине, понять.

Странно, но у ее «Вовочки» и одного из моих учеников хмурого усача Гулько причины судимости оказались схожими. И я почувствовала, что должна, обязана разобраться, что же случилось с Гулько.

После очередной беседы в отряде, когда мы со Степановым остались в его кабинете составлять план на второе полугодие, я робко спросила начальника отряда.

могу ли ознакомиться с делами своих учеников. Степанов обычным своим тусклым голосом ответил:

— Вы должны знать дела своих учеников. Я как раз взял десятка два папок получше ознакомиться: характеристики надо писать, год кончается. Кого хотите посмотреть?

— Гулько,— не задумываясь, ответила я.

Степанов пожал плечами.

— А что у него интересного? Убийство в пьяной драке. Он и первый срок имел за драку. Может, кого другого посмотрите? Голованов, например, вагоны с пушниной отцепил, очистил и божится на суде, что все один. Вот, почитайте.

— Сначала Гулько,— ответила я.

Степанов выложил на стол дело Гулько, и я стала читать.

В далекий таежный леспромхоз Гулько приехал после освобождения, видимо, в надежде на спокойную жизнь. А жизнь там была, увы, не очень-то спокойная. Водку в леспромхоз привозили редко, зато уж сразу по вагону. Ее раскупали в день привоза всю и начиналось дикое пьяное веселье. Заканчивалось оно всегда дракой, после которой лесорубы с трудом поднимались по утрам.

К этому привыкли: никто ни на кого не жаловался, не подавал в суд. И вдруг в одно похмельное утро один из лесорубов не смог подняться с постели совсем — оказался мертвым. Началось следствие. Нужно было найти виноватого, и его нашли. Кто-то вспомнил, что именно Гулько больше всех пострадал в предыдущей драке и, кажется, от убитого, другому припомнились слова, которыми когда-то убитый оскорбил Гулько. Сам Гулько откровенно признался: был настолько пьян, что ничего не помнит.

Следователь не сумел найти ни одной неопровержимой улики. Зато подробно перечислялись всякого рода «косвенные» доказательства и внушающие подозрение черты характера обвиняемого: и нелюдимый-то он, и мстительный, и товарищей у него не было. А главная причина, почему подозрение пало именно на Гулько,— читалась между строк: в леспромхозе чужой, проработал всего четыре месяца и сидел прежде за драку...

Виновен ли Гулько на самом деле? Не знаю. Во вся-

ком случае, вина его не доказана, и я не верю, что он — убийца. Может, надо было судить все двадцать человек, затеявших эту страшную драку, где швырялись поленьями? Может, настоящий убийца и до сих пор не подозревает, что именно его удар оказался смертельным? Конечно, точно взвесить вину каждого из двадцати гораздо сложнее, чем посадить на скамью подсудимых одного, уже судимого прежде...

Но неужели достаточно убедительным показались суду слова директора леспромхоза, что и до появления Гулько, «крикуна, которого в лагере, видать, только правам обучали», были в поселке драки, но все «кончалось хорошо», а появился «этот, которому слово не так скажешь — зверем смотрит и все требует: то радио ему подай, то простыни чистые, так сразу же и человек погиб». Неужели такое может подкрепить обвинения? Ведь если Гулько требовал нормальных условий, значит, он хотел здесь жить, осесть попрочнее — не разумней ли сделать такой вывод?

Директор закончил свои показания мрачными словами о том, что «горбатого могила исправит». А я читала и не могла отделаться от мысли: черня Гулько, директор фактически обелял себя, защищался. Так и чуялась мне в его словах тайная мыслишка: как бы не привлекли к ответственности его, директора, не сделавшего ничего, чтобы пресечь пьяные драки...

В рассказе почтальонши о своем «Вовочке», в общем-то, было мало общего с историей Гулько. Вовочка тоже работал в леспромхозе, но он не был раньше судим, на него никто не обижался. Наоборот, им гордились, его превозносили. Бригадир передовой бригады, он обеспечивал каждый месяц двести процентов плана. За это ему выделяли лучшую технику, премировали, а «незначительные недостатки» характера просто не замечали или не хотели замечать. Жена его была очень довольна им. Моложе ее на пять лет, красивый и сильный, он не засматривался на хорошеньких девушек, помогал ей по дому и всю зарплату приносил домой. «Другие вон какие, домой ни копейки не приносят,— говорила она мне,— разве Вовку с ними сравнишь!»

Вовочка не терпел обидных слов ни в свой адрес, ни в адрес любого из членов бригады. Поэтому, отметив с товарищами очередную зарплату, он вел свою

бригаду на поиски обидчика. Если такового не было, то находили замену по принципу: «Ты виноват уж тем, что хочется мне драться». Вовочке было скучно, бурлила разгоряченная водкой кровь, и ему необходимо было хотя бы раз в две недели кого-нибудь отменно поколотить. Жена, правда, изредка проявляла беспокойство: а вдруг «обидчики» соберутся и отомстят ему. Но он только смеялся в ответ: мстить ему, за которого начальство и бригада встанут стеной? Даже смешно! И она успокаивалась: повзрослеет — сам остепенится. А пока еще не пришло время повзрослеть, Вовочка во главе бригады тешился тем, что на несколько дней пригвождал людей к постели.

Однажды они избили одного шофера за то, что тот вовремя не приехал за бригадой после конца смены. Шофер пытался объяснить разбушевавшейся бригаде, что его послали за другими лесорубами, что он всего лишь шофер и выполняет распоряжения начальства. Но бригада была непреклонна. Однако избитый не остался лежать и стонать, как его предшественники, а дополз до санчасти и попросил «снять» побои и дать ему справку. Наутро он пришел с этой справкой к руководителям леспромхоза. Вызвали Вовочку, уговорили произнести публичное извинение и все замяли. Сделали это так поспешно, что ни сам Вовочка, ни бригада ничего не осознали. Не осознала и жена.

«Подлец какой! — говорила она мне об избитом шофере.— Ну, пусть неправильно его побили, так мог же поговорить с Вовулей, когда он протрезвел. Дал бы в морду ему, что ли, один на один. А то ведь додумался побои снимать. А кто нынче не дерется? Только одни жену втихомолку дубасят, а Вова, он открытый, любит, чтоб со звоном было».

«Открытый Вова» извинился, но затаил обиду. И уж после следующей зарплаты и попойки несчастный шофер был избит так, что бригада разошлась по домам успокоенная: теперь не доползет и до санчасти. А утро встретило передовую бригаду ошеломляющей новостью: сразу после избиения товарищ шофера посадил его в машину и повез в город. Предпринимать что-то оказалось поздно, дело было передано в суд.

Напрасно руководители леспромхоза пытались «выручить» лучшего бригадира; были и поручительства,

и характеристики, в которых Вова выглядел чуть ли не героем. Приехал следователь прокуратуры, опросил всех избитых раньше, все записал и ознакомил руководителей с выводами. Выводы эти, видимо, испугали начальство, и оно, несмотря на слезы и просьбы жены, не стало больше ходатайствовать о Вовочке. На суде прокурор заявил: «Перед вами, товарищи, главарь уголовной банды. Только так можно рассматривать совершенные этим человеком преступления». Слова эти заставили Вовочку побелеть, как мел, и озадачили настолько, что он перестал повторять: «Поверьте! Я больше не буду»,— и только сдавленно всхлипывал.

«Какой же он главарь банды? — спрашивала меня его жена.— Они что, сумасшедшие там, в суде? Ну, подрался, так с кем же не бывает. Разве можно за такое сразу десять лет давать да еще строгого режима?»

Что ей ответить? С одной стороны, бригада ее «Вовочки», напившись, действительно превращалась в шайку, а с другой — это были его товарищи по работе, одного из которых он нес на себе пятнадцать километров, когда тому упало на ногу дерево. Так кто же он все-таки, ее Вовочка? Мне думается, он один из тех парней, которые есть в каждой школе и почти в каждом классе. У нас, когда я училась, тоже был один такой. Ему ничего не стоило просто так, походя ударить когонибудь по голове, пнуть, подкараулить после школы, искупать в грязной луже. Его все боялись, и никто не решался жаловаться на него. Как и каждого «князька», его окружала подобострастно-преданная дружина, готовая идти за ним в огонь и воду. Будущее этого парня мне неизвестно, но Вовочка, по-моему, как раз из таких же. Ему нравилось, что за ним идут — неважно куда и зачем. Нравилось ощущать свою власть и силу, а чем все это может кончиться — мыслями об этом он себя не утруждал.

Нет, жалобу на тех, кто осудил «Вовочку», я писать не стану. Правильно его осудили, зря только не судили вместе с ним и фактических его соучастников — руководителей замалчивавших избиения. Но не писать же об этом жалобу?

Учится Вовочка в седьмом классе у Татьяны Николаевны. Не на пять, а на все десять лет выглядит он моложе своей жены — сытый и, кажется, вполне до-

вольный собой. Понял он хоть что-нибудь или, как и жена, убежден, что с ним поступили несправедливо?

Гулько — другое дело. Я должна попытаться ему помочь.

Я рассказала все Степанову, спросила, как, с какого конца лучше взяться за это дело.

Он ответил не сразу, как всегда глядя куда-то в сторону.

— Напишите в Верховный суд. Только надо приложить копию приговора. У Гулько она, конечно, есть, попросите у него.

Легко сказать — попросите. Придется все объяснять Гулько. А вдруг ничего из этого не получится, не смогу я ему помочь и зря только вселю надежду? Страшно...

«КАКОЙ ХАМ!»

Три дня Барбаков не появлялся в школе. Я спросила у Голованова, в чем дело. Он в ответ пожал плечами:

— Сам не знаю, что с ним. Лежит, говорит, болеет. А спросишь, что болит, смотрит, как с неба свалился, вроде и не видит тебя. Худо ему, видать, совсем.

Назавтра Барбаков сидел в классе на своем месте. Лицо у него было какое-то беспокойное, глаза ввалившиеся. Потом у меня был урок в восьмом классе. А на перемене, подойдя к учительской, я услыхала возбужденный голос завуча:

— Я заявляю: пока он в классе, мне там делать нечего. Все!

Когда я вошла, Августа Георгиевна шагнула ко мне, меловое лицо ее было расцвечено алыми пятнами.

— Барбаков?! — выдохнула я. Внутри у меня будто что-то оборвалось.

— Откуда вы знаете? — не удивляясь, спросила она и заговорила быстро: — Какой хам! Я спросила, почему он не слушает объяснения, а он мне: «Отвяжитесь от меня. Надоела!» Я четыре года работаю в этой школе, но никогда меня еще так не оскорбляли!

— И вы сказали, чтобы он больше не являлся?!

— Да, сказала! Я не собираюсь терпеть в школе подобное хамство. Сейчас же напишу докладную на-

чальнику колонии, вот только руки успокоятся. А Таисья Александровна издаст приказ об исключении Барбакова из школы.

Тут завуч заметила наконец мой растерянный взгляд.

— Вы что, чем-то недовольны?

— Недовольна — не то слово...— заторопилась я, зная, что если не выскажу всего сейчас, потом будет поздно. На одном дыхании я выпалила все. Я говорила о своем первом уроке, о Барбакове, о его судьбе, о том, что нельзя его исключать. Меня слушали молча. Инна даже отошла от зеркала. Таисья Александровна придвигалась все ближе ко мне. Когда я закончила, она стояла рядом, участливо заглядывая мне в глаза. О звонке забыли. Умоляюще я повторила:

— Нельзя Барбакова исключать. Нельзя...

Таисья Александровна тихо ответила:

— Теперь уж, конечно, не исключим. Но почему же вы столько молчали?

Завуч вспыхнула:

— Конечно, Таисья Александровна, как всегда, поступит по пословице: «И волки сыты, и овцы целы». Исключить Барбакова надо было в первый же день. Из-за него оказались лишенными знаний остальные ученики. А я ставила уроки Галины Глебовны в пример. Я прошу за это у учителей прощения. Но как вы, Галина Глебовна, будете смотреть в глаза товарищам по работе? Вы молчали, когда я вас хвалила! Это же лицемерие! Я не понимаю, не по-ни-маю!

Анна Михайловна вдруг усмехнулась:

— Не волнуйтесь, Августа Георгиевна. Я, кажется, только сейчас и поняла Галину Глебовну. Было у меня такое же лет десять назад. В первый мой год. Не уроки, а слезы...

— Значит, вы полагаете, что Галина Глебовна права в своем поведении? Я правильно вас поняла? — сухо и напористо спросила завуч.

— Какая же вы все-таки, Августа Георгиевна...— начала Татьяна Николаевна и, не досказав, махнула рукой.

Завуч не ответила. Взяла журнал, строго сказала:

— Звонок был пять минут назад. Прошу на уроки.— И вышла.

— «Какой хам!» — пародийно округлив глаза, пропела Инна голосом Августы Георгиевны и весело посмотрела на меня.

— Еще один анекдот? — спросила я. Инна поежилась, но промолчала.

Разошлись по классам. Я думала об одном: как вернуть в класс Барбакова? Не знаю, удалось ли бы мне это, но на помощь пришел муж Таисьи Александровны. По ее просьбе он пошел в отряд говорить с Барбаковым. А я оставила после уроков Перепевина и Голованова, и мы вместе долго обсуждали, что можно еще сделать.

— Помочь парню надо,— сказал Перепевин.— Обязательно. Но вот узнать бы, что с ним...

На следующий день Барбаков был в классе. Сидел, опустив плечи и голову, лишь изредка поднимал глаза. Когда я подошла к нему, он еле слышно проговорил:

— Зря все... Пришел, раз вы просили. А дальше?

На перемене меня вызвал из учительской Голованов, протянул конверт:

— Барбаков просил передать. Это письмо с поселения, от «учителя» его. Я вам писал о нем, помните?

Пятого урока у меня не было, и я читала это письмо в учительской.

«Здравствуй, Славик. Узнал от людей, где ты, да услышал от них твои «приветы» мне. Не думай, что я в обиде, это тебе надо бы обижаться на меня, только не за то, что ты думаешь. Вот беда, Слав, писать я не мастак, поговорить бы нам с тобой по-человечески. На всякий случай, чтоб не думал, что я тебе здесь фуфло с понтом гоню для начальства,— посылаю письмо через верного человека. Чтоб ты знал — пишу, что во мне болит и спать спокойно не дает.

Ты, значит, думаешь, что я теперь ссучился, повязку надел, тебя предал? Хочешь верь, хочешь нет, только на всем свете нет для меня дороже тебя никого. Ты мне, как сын. Тогда, на вокзале, когда подобрал тебя, об этом, конечно, не думал. Просто: вот, думаю, еще один заморыш пропадает ни за что, возьму, человеком сделаю. А стали вместе — полюбил я тебя очень. Не упрекнуть хочу: вот, мол, подобрал, кормил, поил, а ты мне мат в «приветах» шлешь. Я что думал: приготовлю его для нашей трудной жизни, другого-то пути

все равно у него нет, раз со мной. Этим и успокаивал себя: не учи я, он бы на моем примере сам научился. Я сразу понял, что ты парень сильный, по любому пути бы пошел — своего добился бы в жизни. А я тебя, значит, на свой путь пустил.

Верить-то всегда не очень верил, что верно живу, вот в чем штука... У других жизнь, как жизнь, может, и скучная со стороны, а ты только и жди стука в дверь: пройдемте, гражданин. Но я не очень на жизнь обижался. На свободу выходил — старался побольше ухватить. Судили — думал: ну что ж, покуролесил, поделом получаю, хоть не за так сажусь. К вышке приговорили — дело ваше. Отменили — спасибо, опять же — ваше дело. А жизни-то своей, выходит, был не хозяин...

И ведь часто думал: может, завязать со всем этим, пожить, как люди? А как начать? Куда кинуться? Обозлюсь на себя: слабак несчастный,— и давай тебе втолковывать, чтобы хоть ты верил, что нет для нас другого пути. Может, не тебя убеждал, себя хотел убедить, что другого пути нет. А ты верил.

Устал я от всего, Слав, так что сил больше не было. Отбывал я, где ты сейчас. А потом так уж получилось: меня на поселение, а тебя сюда... Так вот, хочу тебе сказать: Манковский — мужик что надо, а уж нашего брата со взгляда понимает. Охмурил он меня ловко, но я, сколько жить буду,— спасибо ему буду говорить. Тут, видишь, доказать надо нашему брату, что не обидно это — жить по-людски.

Ты понимаешь, время сейчас такое, что не работать в колонии нельзя. А у меня, Слав, кашель от этого изолятора такой, что и сейчас парни в общежитии обижаются: спать не даю. В общем, работал я. А работать, чтобы только время шло,— это я не умею. Любое дело надо делать, чтоб потом на тебя никто не обижался. Пилил я лес, полторы нормы давал. А тут вдруг бугра помиловали. Парни говорят: возьмешься? Я отвечаю: хлопцы, мотористом я для вас был и буду, а командовать да с начальством якшаться — увольте. Начальник отряда вызвал, муж директора школы вашей, мужик тоже неплохой, да больно мягкий, а нашего брата только пожалей — на шею сядем. В общем, то же самое мне предложил, ну, я ему ответил, как и парням. Вызвал второй раз, смотрю: Манковский у него

в кабинете. Начали меня вдвоем обрабатывать. Бригада, мол, разношерстная, почувствуют слабинку, работать ни черта не будут. Развалится хорошая бригада. А ты, мол, человек сильный, тебя уважают, возьмись. Долго Манковский меня обрабатывал.

Ладно, говорю, возьмусь. Только не думайте, что за каждую пачку чая, у кого завелась, или десятку с воли, вам выкладывать буду. На это не рассчитывайте.

Манковский аж передернулся.

— Мы тебе о работе, а ты — про чай. Да сами уж в министерство писали, пусть разрешат в зоне продажу чая. А то до трех рублей дерут живоглоты в бараках за пачку, и все равно у них берут. Кто-то наживается, кто-то от голоду шатается. А будут в магазине продавать, не так уж и нужен будет вам этот чай.

И скажу тебе, Слав: прав он. Здесь, на поселении, чаю в магазине завались, берут, конечно, пьют, а чифиристов настоящих нет. Сам я тоже почти отвык. Видно, народ мы такой: надо нам, чего нет.

Ну, так вот, стал я бугром. А тут у нас пацаненок один завелся — сучкоруб, каждый день причина, чтоб на работу не выходить. Вызвали его на совет коллектива, и меня, значит, как бугра, позвали. На совете выступают, осторожненько так, с оговорочками: мол, работать надо, без работы нынче никуда, болен, так справку возьми, и все такое.

Поднялся я да как заору на них:

— Вы что здесь ясли развели? Он, сволочь, что делает? Люди за него работают, кубы дают, а он в постельке отлеживается! Мы чем его хуже? Сучки плохо обрублены — бригада шиш получит, а у людей семьи, которым деньги нужны. Я не за себя гребусь, мне-то они ни к чему, все равно я их не вижу, но подонка в своей бригаде не потерплю. Не хочет — пусть убирается в баньку спину тереть. Там тепло, и пыли меньше. Нельзя, говорите, здоровый? Тогда пусть работает, а то мы его по-своему заставим, и срока не досидит.

Манковский слушал, слушал да и говорит:

— Вот, совет коллектива, кого вам в председатели надо. А то вы тут, и вправду, в нянек превратились.

Для чего я тебе это все в подробностях расписываю? А потому, что сам не заметил, как красную повязку надел. Там тебе на меня «доложили» те, кому я хвоста

прижал, что, мол, ради выгоды я старался. А какая выгода? Об УДО я не мечтал, сам знаешь — не подлежу, а поселение тогда только открылось, да и думали мы, что только семейных будут туда отправлять.

Раньше мы на эти повязки смотрели: пусть, мол, сволочи их надевают, а мы выше, значит. И правда, один мне раз признался: я, говорит, хожу с начальством, деньги ищу, показываю, у кого есть, а свои поглубже прячу. А я взял да на совете и выступил. Или мы, говорю, сами будем справедливыми, или разогнать эту контору к чертовой матери! Все высказал.

Вот так, Слав. Это я не для оправдания написал, а чтоб ты понял.

Хочешь знать, отчего мне сейчас тошно на душе? Значит, вышел я на поселение. Говорят мне: сорока пяти лет нет — учись. Я им отвечаю: так мне уже под сорок, в колонии и то не трогали. Не слушают. В общем, хожу я в школу. Учителя здесь неплохие, объясняют понятно. Выходит, и день у меня занят, и вечером науку долблю. А ночью лежу и думаю: интересно ведь учиться, чего же я, дурак, не учился и тебе не дал? Обидно мне. За себя, за жизнь, которую не вернешь, а за тебя еще больше. Виноват я перед тобой.

Здесь ко многим парням жены с детьми поприезжали. Смотришь и думаешь: а у меня уже не будет такого никогда. Особенно пацаны мне нравятся, такой славный народ. И тоже думаю: а у меня уже не будет. Был один вроде сына, и тому жизнь испоганил.

Парни многие и моего возраста заочницам пишут, приезжают потом сюда некоторые, и вроде семьи ничего получаются. Иногда поразмыслю: а не найти ли и мне горемыку, такую же, как я, пусть у нее хоть десять детей — проживем. А потом думаю: что же я свою тоску хочу кому-то взвалить, да и кто я есть? Освобожусь — за сорок будет, а еще ни дня стажа трудового, ни книжки этой трудовой, или как она называется? Кто согласится жить со мной в этой тайге? А я уж выехать никуда не решусь. Так что, один как-нибудь доканаю жизнь по-честному, если, конечно, не встретится какая женщина по мне. Да уж вряд ли. Похож я стал на черта, только без рог, и здоровья не очень-то много. Может, и успею пожить на свободе годков пять, а может, и этого не получится.

Вот и все, Славик, писал бы больше, да и так четвертый день сочиняю. Пора бы и отправить, уезжает человек, который передаст тебе письмо.

Ну, что тебе еще написать? Знаю, упорный ты, упрямый, не захочешь сразу понять. Но все равно скажу. Я старше тебя на пятнадцать лет, у тебя меньше потеряно, забудь все, что я тебе втолковывал, начинай заново. А пока прощай, хотя, может, еще и свидимся, дай бог, не за проволокой.

Твой Александр»

Я закончила читать и вышла в коридор. Барбаков стоял лицом к стене и курил.

— Зайдите в учительскую,— попросила я.

Он вошел. Я протянула ему письмо и сказала:

— Возьмите. Только мне нечего вам сказать, здесь все написано. Что можно добавить к этим словам?

Верхняя губа его медленно криво поползла вверх, усмешка получилась неестественная и жалкая. Он молчал, видно, ждал, что я еще что-то скажу. Но молчала и я. Наконец Барбаков взял письмо, все еще усмехаясь, сказал:

— Зачем я это письмо принес — сам не пойму.

— А я знаю, зачем принесли,— неожиданно для себя выпалила я.

Он нахмурился, в глазах появилась недоверчивая настороженность.

— Вы хотите лишний раз услыхать, что ваш Александр во всем прав в своем письме. Хотите услыхать это от меня. Разве не так?

Он молчал.

— И еще хотите, чтобы я сказала вам: Барбаков, вам еще нет двадцати пяти — самое время сейчас принять настоящую правду. Не цепляться за прошлое, а переломить себя раз и навсегда... Ведь потому вы пришли сюда сегодня?

Он криво усмехнулся:

— Не совсем чтобы... но вообще-то знал я, что́ вы будете говорить.

— А я больше ничего не скажу. Вы сильный, это я повторяю за вашим Александром, и все сможете, если захотите. Больше ничего. До свидания.

«А СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК ВОЗМОЖНО...»

Барбаков — горе мое и радость. То, что я высказала завучу в учительской, сломало стену отчужденности между мной и учителями. Теперь Анна Михайловна дружески улыбается мне при встрече, приглашает в гости. А главное, нашелся общий язык с человеком, к которому меня так влекло все эти месяцы. Татьяна сама заговорила со мной, сначала осторожно, будто прощупывая, что я за человек, но как-то случайно коснулись поэзии — и теперь уже мы не можем жить друг без друга.

В студенчестве мы все любили читать стихи, но я еще не встречала никого, кто бы умел так слушать. Она вся будто озаряется стихотворением.

Учителя недоумевают, глядя на нас. Наверно, мы похожи на двух истосковавшихся по любимым женщин, которые встретились и не могут наговориться о своих ненаглядных. Но вот что странно: когда я начинаю рассказывать о прочитанных в последнее время книгах, выражение лица у Татьяны становится таким, словно она завидует мне и удивляется, что я не ценю своего счастья. А потом проводит ладонью по лбу и устало говорит: «А мне совсем некогда читать».

Татьяна давно приглашала меня к себе, и вчера я наконец решилась. Прошла по всему поселку к небольшому двухквартирному домику, постучалась. Дверь открыла Татьяна. В простеньком платьице, с руками в муке, смущенно и виновато улыбающаяся, она показалась мне совсем юной и еще милее, чем в школе.

Из-за ее ноги выглянула лукавая мальчишечья мордашка.

— Приглашай тетю, Витюша,— смеясь, сказала Татьяна.

Мальчик, громко топоча ножками, побежал в комнату. Оттуда донесся его звонкий голос.

— А мы стряпаем пирожки с картошкой. Вот!

— Какой же ты невоспитанный. Папа тебя как учил? Надо сказать: здравствуйте, проходите.

Мальчик вышел, исподлобья посмотрел на меня и пробурчал:

— Тетя сама не сказала: «Здравствуй, Витя»,— а я забыл.

Подойдя к Татьяне, он обнял руками ее ноги и, заглядывая в лицо, виновато, но с какой-то умоляющей надеждой спросил:

— Ты скажешь папе, да?

Татьяна густо покраснела, сердито проговорила:

— Какой ты все-таки, Витюшка. Ведь папа тебя не обижает, а ты будто уж так его боишься?

Малыш покачал головой, глаза его стали такими же тревожно-печальными, как у матери.

Он отпустил платье Татьяны, переступил с ноги на ногу, вздохнул тяжело и поплелся в комнату. Оттуда снова послышался горестный вздох.

— Папа не будет со мной разговаривать...

И опять вздох.

Татьяна смотрела на меня виновато и растерянно, будто просила за что-то прощения. Затем провела рукой по лбу и весело крикнула:

— Ну что ты развздыхался? Кто же будет мне помогать пирожки стряпать? Выходи — не скажу я папе.

Малыш вернулся и потянул Татьяну за подол на кухню. Она сказала мне:

— Ты уж извини, я закончу, а то Сережа с работы придет, а у меня стряпня.

Я прошла за ней в пышащую жаром кухню. Татьяна накладывала пирожки на противень, ставила его в духовку и принималась снова раскатывать тесто.

— Иди в комнату, а то закоптишься здесь,— сказала она.

В комнате стоял большой, во всю стену, старинный книжный шкаф. Полка со стихами была самой интересной и «представительной» — от Катулла и до Евтушенко. Еще полка — Бальзак, Мопассан, Гюго — и все на французском языке.

Я не выдержала — пошла на кухню, спросила Татьяну:

— Ты так знаешь французский, что можешь свободно читать?

Она гордо улыбнулась:

— И говорю свободно. Меня даже хотели послать на какую-то встречу, еще в школе в восьмом классе. Да не получилось ничего — заболела. Знаешь, все мечтала побывать в Париже. Наверное, он совсем не такой, каким мы его представляем. Мне один парижанин пи-

сал: я не смогу рассказать о своем городе, в языке нет таких слов. Приезжайте — посмотрите. Я с ним с класса шестого переписывалась, такой смешной, все в гости приглашал, как будто это сел в поезд и поехал.

— Вы и сейчас пишете друг другу? — спросила я.

— Нет, он с женой приезжал в Москву, дали телеграмму, а я не смогла выехать: Витюшка уже должен был родиться скоро. А теперь открытки по праздникам друг другу шлем, и все. Правда, фотографию он недавно прислал: сам, жена и двое сыновей. А к Восьмому марта — альбом с видами Парижа.

Витюшка, с большим вниманием прислушивавшийся к разговору, вдруг нахмурился. Сердито сопя, объявил:

— Он плохой, этот альбом.

Хотел еще что-то добавить, но Татьяна притянула его к себе, сжав ладонями головку, заглянула ему в глаза, словно умоляя замолчать. Он жалобно пропищал:

— Ты меня вымазала, мама. Смотри за пирожками, а то сгорят, и папа опять с тобой разговаривать не будет.

Татьяна невесело рассмеялась.

— Ну и сын у меня. Четырех лет еще нет, а настоящий надзиратель. Что с тебя дальше, Витюшка, будет?

Мальчик насупился, но долго хмуриться он не мог.

— Я буду тракторист, как дядя Андрей. Он возит на тракторе воду. Он веселый.

— Будешь, будешь,— засмеялась Татьяна.— Но вчера же ты хотел на бензовозе работать.

— А я немного поработаю на бензовозе, а потом пойду на трактор,— нашелся мальчик.

Наконец пирожки были готовы, и мы прошли в комнату.

— У тебя великолепная библиотека,— сказала я.— Неужели все это ты здесь доставала?

— Что ты! Половина книг еще дедушкиных, а я, только когда работать пошла, стала покупать. Последние годы уже почти ничего не покупаю, так, изредка.

— А французским ты еще занимаешься? — спросила я.

— Когда? — вздохнула Татьяна.— Без практики

быстро забывается. Хотя могу еще читать без словаря. Да ведь я по-французски свободно говорила, когда еще меньше Витюшки была. Дедушка у меня был переводчик. Он не только французский, но и английский, и немецкий знал великолепно. Это еще не все его книги — он только часть сюда взял.

— Как же он тут оказался?

— Не по своей воле. Нашлись мерзавцы — оклеветали... Потом-то его, конечно, реабилитировали, но он уже не захотел отсюда уезжать. Написал нам, что полюбил тайгу, что климат здесь здоровый и в город его совсем не тянет. Может, еще потому не захотел возвращаться, что как раз в это время умерла моя мать — единственная его дочка... Вскоре у меня появилась мачеха. Жилось мне с ней не очень-то сладко. И когда я окончила школу, приехала сюда, к дедушке.

И правда, климат здесь здоровый. Я в детстве без конца болела, хиленькая такая была, а в тайге сразу, как говорят, расцвела... А дедушке шел уже восьмой десяток, сердце стало барахлить. Год мы с ним прожили, уехала я на сессию в институт, а когда вернулась, его уже похоронили. Он сам попросил, чтобы не давали мне телеграмму, не отрывали от учебы.

Татьяна опустила голову, провела рукавом по лбу, разгоняя невеселые мысли.

Вскочил Витюшка, закричал звонко:

— Папа идет!

Вошел высокий мужчина с темным скуластым лицом, поздоровался вежливо. Я смотрела на него, стараясь понять, что это за человек, за что осуждают его бывшие товарищи, которым кажется, что с ним несчастлива умная, славная женщина.

Заметив мой взгляд, он усмехнулся снисходительно:

— Любопытно?

Я отлично поняла его, но сделала вид, что мне не ясен тайный смысл вопроса, ответила как можно веселее:

— Еще бы! Сын ваш чуть меня не выгнал,— папа придет, сейчас папа придет, а я мешаю пирожки стряпать. Такая нехорошая.

Он сразу же повеселел, лицо его только что недоверчивое и настороженное осветилось улыбкой. Подхватил сына на руки, подбросил.

— Значит, пирожки у нас сегодня? Отлично. Садитесь и вы с нами, пожалуйста.

— Давай, Галочка, к столу,— весело суетясь, подхватила Татьяна,— Сережа, познакомься, наш литератор.

За столом мы наперебой нахваливали хозяйку. Я, кажется, в этом так преуспела, что Витюша внес предложение:

— Мама, ты научи тетю Галю пирожки делать, ей тоже хочется.

Все заулыбались, а малыш захохотал заливисто, видно, от радости, что взрослым весело. Потянул отца за рукав.

— Папочка, я сказал, что хочу быть трактористом, а мама не верит. Я ведь смогу, вон у меня какие мускулы.

Родители рассмеялись, и мне уже совсем не захотелось уходить из этой теплой и уютной квартиры.

Муж ласкал взглядом жену и сына, а жена отвечала ему милой, открытой улыбкой, мордашка сынишки сияла, и очень хотелось думать, что здесь всегда вот так хорошо.

— Слышал я о вас,— произнес Сергей, обращаясь ко мне,— ребята говорили.

Помолчал, словно раздумывая, задать вопрос или нет, и спросил:

— А вы-то как к ним относитесь? К тому же Барбакову?

Я ответила не сразу.

— Мне жаль его. Он, кажется, человек большой воли и энергии. Да жизнь у него так сложилась.

Сергей не дал мне закончить, сердито перебил:

— Вот это уже чепуха. Человек сам делает себе жизнь. Один будет подыхать с голоду, но не украдет, а другой и сытый сворует. Нет никаких обстоятельств, а если есть, то до четырнадцати-пятнадцати лет, потом уже человек сам делает себя.

Было странно слышать столь безапелляционные суждения от человека, который сам отбывал, кажется, немалый срок. И я не могла не возразить.

— Не сворует, если понимает, что это мерзко, преступно. А если он воспитан так, что в этом для него ничего позорного нет? Если уверен, что те, у кого он

крадет, поступили и поступят с ним несправедливо и жестоко?

Сергей долго молчал, прежде чем ответить. Потом заговорил медленно, взвешивая каждое слово. Он согласился, что Барбаков как раз из таких. Но подобных людей мало и становится все меньше. Жизнь с каждым днем улучшается. Так почему же не очень-то уменьшается число преступлений? Почему их совершают люди, которым с раннего детства и дома, и в садике, и в школе внушают, что хорошо, а что плохо?

— Почему? Ответьте мне!

Он обращался ко мне и Татьяне, словно мы обязаны знать ответ и преподнести его ему.

Говорили долго. Сергей стал рассказывать об одном пареньке с общего режима, который работает на его участке, но ничего делать не хочет, разговаривает, сплевывая через плечо, всем своим видом показывая, что презирает всех и вся.

— А лет-то ему чуть больше, чем я в этих местах отбыл. Как же я, мастер, должен с ним говорить? Скажите мне.

— Сколько же вы отбыли? — не подумав, спросила я.

Он ответил совершенно спокойно:

— В общей сложности вместе с детской колонией шестнадцать лет.

Я заметила, как низко опустила голову Татьяна, и не стала больше ни о чем спрашивать.

Поговорили еще немного, и я попрощалась.

А в субботу они пришли ко мне в гости всей семьей. Витющка быстро все осмотрел, удивленно протянул:

— Ты одна тут живешь? Тебе очень скучно?

— Опять «ты»,— строго оборвал его отец,— взрослым надо говорить «вы», ты же знаешь.

— Но ты говорил, что своим можно «ты», а тетя Галя нам своя, раз мы пришли к ней,— быстро нашелся малыш.

Мы посмеялись и сели пить чай. Я была рада гостям, но еще больше доволен был Витюшка. Он терся около меня, заглядывал в лицо, а когда я наклонилась к нему, горячо зашептал в ухо:

— Мы будем к тебе приходить все время. Я совсем еще ни разу не бывал в гостях. Ни-ко-гда!

От этих слов мне сразу стало как-то тоскливо. Я сказала, что очень скучаю и рада видеть его хоть каждый день.

Они ушли, а я сидела и думала, что вот теперь у меня есть друзья, которых я уважаю, но не очень-то понимаю их жизнь. Одно я знаю: все трое очень любят друг друга,— но почему в школе на лице Татьяны так часто появляется выражение обреченности и усталости? И почему Инна сказала о Татьяне: «Суждены нам благие порывы, а свершить ничего не дано». Ясно было, что она говорила о замужестве Тани, но что имела в виду? Пойму ли я, в чем тут дело, или чужая жизнь действительно — потемки?

В следующую среду Татьяна была у меня на занятиях литературного кружка. Говорили мы в тот вечер о «Тихом Доне», о Григории Мелехове. И я поняла, чему мне надо поучиться у Татьяны. Я обычно говорю больше сама, а она лишь незаметно подкидывает одну-две фразы, как сухие сучья в костер, и, глядишь, спор уже разгорелся.

Так и должен, наверное, делать настоящий учитель.

А ночью Татьяна постучала ко мне. Она дрожала и не могла произнести ни слова. Наконец с трудом стянула варежки, поднесла иссиня-красные руки к печке и заплакала. Я не решалась ни о чем спрашивать. Помогла Татьяне раздеться, сняла с постели одеяло и накинула ей на плечи. Потом сварила кофе и налила ей стакан. Она поставила его на плиту, закрыла лицо руками и, всхлипывая, заговорила.

— Мне стыдно... очень... прости меня. Но я пришла... не могу я больше. Что мне делать, Галочка, скажи!

Помолчала, обычным своим жестом провела ладонью по лбу и опустилась на стул.

— Что же это я, как сумасшедшая?.. Ты ведь ни о чем не знаешь. Я никогда никому не рассказывала. Все казалось, если расскажу — предам свою семью. Но я больше не могу, потому что нет у меня никакой семьи. Есть склеп, одиночная камера! Я уговаривала себя, душила — но больше не могу!.. Ты слушаешь, наверное, и думаешь: эгоистка, хочет и семью иметь и ничего не отдавать ей. Думаешь так, да? Нет, Галя, совсем не так...

Сегодня я сказала Сергею, что пойду к тебе на занятие кружка. Он промолчал. Я знала, что означает его молчание. Еще бы! Это уже понимает даже Витюшка! Если кто-то через много лет спросит сына, какое самое страшное наказание в мире, он ответит, не думая ни секунды: молчание. Потому что отец наказывал его молчанием, не разговаривал по нескольку дней подряд, не замечая, глядя как на пустое место.

Сама не пойму, как же я все-таки решилась уйти сегодня. Нет, я не ушла сразу, я пыталась убедить его в том, что мне надо быть сегодня в школе, говорила, что мне надо поучиться у тебя, что я отстала от всего, не хожу в кино, бросила учебу в институте, что ничего не изменится от одного вечера. Сережа молчал, как будто не слышал, а я все-таки ушла. Мне вдруг показалось, что он поймет, как это важно для меня... Глупая, как будто я не знаю его.

Когда я подошла к дому, я уже знала, что двери будут заперты, и все-таки надеялась. Я постучала, но никто не ответил, а я боялась стучать громко, чтобы не разбудить и не испугать сына, чтобы не вышли соседи. Я знала, что Сергей не спит. Ведь не в первый раз он закрывал передо мной двери. Так было всегда: стоило мне задержаться из школы на десять минут, и двери оказывались закрытыми. Я сидела часами на крыльце, ждала, когда он откроет...

Ты скажешь, у меня нет гордости и самолюбия. Так считают все соседи, одни жалеют, другие презирают меня, и никто не понимает. Ведь я знаю, что Сергей мучается не меньше меня, но он не может себя переломить, заставить себя стать иным.

А сегодня я поняла, что не могу больше сидеть на крыльце, не могу больше так жить. Это страшно, ты бы знала, как мне страшно. И главное, никто ничего не понимает. Все думают, что я хотела кому-то что-то доказать и поэтому вышла замуж за Сергея. Неправда. Я любила его. Как я ни несчастлива сейчас, какая беда меня ни ждет, все равно: я любила и была счастлива.

Я полюбила Сергея не с первого взгляда. Странно, наверное, что я даже не замечала его, пока он был в зоне. Ну, заходит иногда в учительскую староста выпускного класса, заносит стенгазету или списки — какое мне до этого дело? Класс этот вела Анна Михай-

ловна, как-то она пошутила, что староста влюблен в меня, еще добавила, что он неплохой парень. Я удивилась: ведь заходя, он никогда даже не смотрел на меня. На выпускном вечере я поняла, что Анна Михайловна меня не обманула: с кем бы я ни говорила, что бы ни делала, он следил за мной взглядом. Что скрывать, мало женщин, которым неприятен такой взгляд, даже если женщина не любит того, кто на нее смотрит. По крайней мере, я не из таких, мне было приятно ощущать на себе этот взгляд, тем более в нем не было обычной назойливости, не было того, что могло бы смутить, заставить покраснеть. Я старалась не замечать его, боялась невольно улыбнуться, а вдруг он истолковал бы это по-своему и стал на что-то надеяться.

Он освободился, и я встретила его на улице. Поспешно прошла мимо, будто не заметила: боялась, что остановит и начнет «предлагать руку и сердце». Так уже бывало у меня не раз. Ты, Галочка, даже не представляешь себе, как мучительно трудно объяснять людям, что для семьи мало чувства с одной стороны, что не собираюсь замуж и прочее...

Он не остановился, это обрадовало меня, но и удивило. Я ушла уже довольно далеко от места, где мы повстречались, и вдруг словно кто-то толкнул меня в спину и приказал обернуться назад. Я оглянулась: он стоял все там же и смотрел мне вслед.

Два дня я не выходила из дому, давая ему время получить документы и уехать. Все думала: только бы не разыскал меня и не пришел. Ведь он придет и уйдет, а по поселку будут ходить нелепые сплетни, которые обычно распускают отвергнутые «влюбленные».

Сергей не пришел. Я уехала на сессию в институт и вернулась почти успокоенная, хотя было немного грустно. Анна Михайловна зазвала меня к себе в гости. Пили чай.

Вдруг Анна Михайловна сказала:

— Ну, Танюша, держись. Андросов-то остался здесь, мастером его поставили, в техникум поступил. Скоро начнет осаду. Чует мое сердце: выйти тебе в этом году замуж.

Муж Анны Михайловны очень рассердился, отставил стакан с чаем, вышел из-за стола и закричал:

— Ты что, Аннушка, с ума сошла? Что, Татьяна

лучше себе не найдет, чем этот Андросов? Он всю жизнь в колонии провел!

Анна Михайловна еле его успокоила, на шутку все перевела. Она ведь в своей семье виртуоз. Муж наконец успокоился и сказал мне:

— Ты, Татьяна, не бойся. Начнет приставать — мне скажешь. Я с ним по-свойски...

Анна Михайловна вышла меня проводить: глаза у нее были грустные, она положила мне руку на плечо и тихо сказала:

— Не обижайся на меня, Танюша. Только живешь ты, как в скорлупе своей, тяжело тебе поэтому. Не будь Андросов бывшим заключенным, сказала бы я тебе: выходи за него замуж, счастливой станешь, легче тебе будет жить. А так и не знаю, что сказать. За такого человека выходить — любить его надо, а ты, наверное, не сможешь. Только не бойся особенно. Он не дурак. Скажешь — поймет все. Помучается и уедет. Пока он, видно, еще мужества набирается подойти к тебе.

В тот вечер, возвращаясь домой, я заметила, что за мной кто-то идет. В темноте я не могла разглядеть, Сергей это или нет. Ко мне человек так и не подошел. Но когда это повторилось следующим вечером — я встревожилась. Он пришел через несколько дней после моего разговора с Анной Михайловной. Постучал, прошел в комнату и просто, как будто мы с ним давным-давно знакомы, сказал:

— Я люблю тебя, Таня, и хочу, чтобы ты стала моей женой.

Все, что угодно, я ожидала, только не этого. Я расхохоталась ему в лицо злым, обидным смехом. Он стоял и смотрел на меня с ласковым удивлением, затем потер рукой подбородок и спросил:

— Что с тобой? Я сказал смешное?

— Да! Очень смешное,— принялась я сердито отчитывать его.— Вы любите, и этого для вас вполне достаточно, а я вас не люблю и не собираюсь любить. Зачем вы остались здесь? Что для вас в Советском Союзе места больше не нашлось? Уж сказали бы сразу, на выпускном. Не пришлось бы зря здесь жить, время терять.

Он ответил, что не считал себя вправе ни о чем говорить, пока чего-то не достиг в жизни.

Я возмутилась еще больше:

— Вот как! Значит, теперь у вас есть работа, приличная зарплата, будет диплом — и это дает вам право предлагать себя в мужья. Да поймите же вы, ничто не дает на это право, кроме любви. А я вас не люблю.

Он смотрел на меня так, будто я говорила ему удивительно непонятные вещи.

«Какой болван!» — прошептала я.

Сергей тихо и виновато произнес:

— Я думал, ты никого не любишь.

— Ну и что? — прервала я его.— Никого не люблю и не хочу любить.

Позже он говорил мне, что у меня в это время было такое выражение лица, будто я вот-вот заплачу. Скажи я, что не пойду за него из-за того, что он бывший заключенный,— плюнул бы и ушел. Скажи, что люблю другого, наверное, извинился бы и тоже ушел. А после этих моих слов решил: не отступлю.

Он стал говорить мне, что целый год мечтал о нашей совместной жизни, что ему больше никого не надо, нужна только я. Я высмеивала его, язвила и дерзила. Он ушел, и вдруг я поняла, что хочу слышать ласковые слова, произносимые вот таким уверенным, твердым голосом. Как это у Евтушенко:

Он если не развяжет, то разрубит,
Где я не разрублю, не развяжу.

Я почувствовала себя одинокой и слабой, а в нем была сила, которая еще неосознанно влекла меня. Я стыдилась этого чувства. Мне казалось, что в нем есть что-то нехорошее. Кажется, даже плакала ночью и все повторяла: какая я скверная. Смешная я была. Когда он пришел в следующий раз, не стала с ним разговаривать вообще. Сергей прошел к книгам, стал их рассматривать. Не помню уж как, но все-таки вывел меня из молчания, стали говорить о книгах. Оказалось, он много прочел и очень хорошо запоминал содержание до мелких подробностей. Знаешь, он воспринимал героев как живых людей, и требовал от них, как от живых людей. Я спорила с ним, сердилась, прогоняла его, а когда он уходил, ждала, когда придет снова. Он стал нужен мне. Я злилась на себя и язвила ему. Както я сказала ему, что, если судить по его рассуждениям,

из него вышел бы отличный положительный герой, только они скучные, эти герои, и в литературе и в жизни. Я предпочитаю интересную книгу беседе со скучным человеком. Он не смутился и не обиделся:

— Скучные потому, что плохо знаешь их. Любой человек интереснее самой хорошей книги.

Я ответила презрительным взглядом.

А он сказал:

— Я большинство книг прочел в одиночной камере. А там любую самую интересную книгу отдал бы за то, чтобы хоть с полчаса поговорить с человеком.

Эти слова будто ударили меня. Сразу вспомнила дедушку. Он был большой книголюб, а когда я приехала к нему сюда, в поселок, то дедушка книг почти в руки не брал. Все работу себе какую-нибудь искал и мне говорил:

— Книги, Танечка, это очень хорошо. Только они должны помогать жить, а ты за ними прячешься от жизни. Матери твоей я никогда этих слов не говорил, потому что сам тогда одними книгами жил. И ее приучал к этому. Зря. Не повторяй нас, Танечка. С людьми живи, не с книгами...

Татьяна вздохнула и тихо продолжала:

— Через месяц поехали мы с Сергеем регистрироваться.

Регистрация у нас получилась нелепая, обидная. У входа в загс поймала меня заведующая районо, отвела за руку в сторону и стала уговаривать одуматься. Она громко шептала, что я совершаю глупость, из-за которой буду мучаться всю жизнь, что мне двадцать лет, а ей сорок, она знает людей, знает, что ни один преступник не стал в семье человеком. Кажется, она так и сказала: это правило, в котором не бывает исключений.

Я очень удивилась. Всего месяц назад завроно была в нашей школе с комиссией и говорила, что мы учим несчастных, сбившихся с дороги людей и наша задача — помочь им встать на правильный путь, чтобы с нашей помощью они стали достойными членами советского общества.

Я сжалась от страха: Сергей стоял в стороне и мог все слышать. Наконец вырвалась от нее, не оглядываясь, бросилась к Сергею. До сих пор не знаю, слышал он

что-нибудь или нет. В загсе старушонка, маленькая, сухонькая такая, посмотрела документы Сергея, перевела взгляд на меня и передернула худым плечом. Зарегистрировала нас, слова не сказав, и брачное свидетельство подала, будто горсть земли на гроб бросила.

Когда мы вышли, Сергей спросил:

— Ты понимаешь, на что ты пошла, Танюха?

Я, кажется, тогда вскинула голову и засмеялась. Чего мне бояться, если он рядом?

Родился Витюшка... Сергей сразу же полюбил сына, даже как-то болезненно страстно полюбил. Все вечера не спускал Витюшку с рук. Когда я говорила, что не надо приучать ребенка к рукам, он смотрел на меня каким-то чужим, непонятным взглядом. И ничего не отвечал. Однажды он вернулся с работы и увидел, что я читаю. Витюшка спал. Сергей подскочил ко мне, вырвал книгу, отшвырнул ее в угол и закричал:

— Неужели ты совсем не любишь его? Неужели не нашла чем заняться для ребенка?!

Три дня после этого он ходил молчаливый, побледневший и все что-то думал, думал...

А потом закончился мой академический отпуск в институте. Витюшке к этому времени исполнился год, и я собралась на сессию. Тогда я и увидела Сергея в настоящем гневе. Он кричал, что я не мать, что вообще все женщины хороши: каждая вторая готова подкинуть своих детей куда угодно — в ясли, садик, в детдом. Но он сам заменит ребенку мать.

Он кричал, а я видела, как дрожат у него губы, и мне было больно и стыдно за него: такой сильный, волевой, и вдруг истерика. Чтобы не видеть этого, я вышла.

На сессию, конечно, не поехала... Только хорошо нам уже больше не было. Я не успевала подготовиться к занятиям, нервничала. И уже не хотела, да и не могла, так же старательно, как прежде, готовить завтраки, обеды, ужины. Сергей ел нехотя и часто по нескольку дней не разговаривал со мной. Если я «опаздывала» из школы хотя бы на десять минут, он запирал дверь и не пускал меня домой. У него была своя логика: если не тороплюсь домой, значит, мне нет дела до семьи, «до нас», как он говорил. Надо мной смеялись соседи, сочувственно и полупрезрительно поглядывали учителя...

Татьяна замолчала. Она смотрела куда-то мимо меня, и ее глаза медленно наполнялись слезами.

— А потом? — спросила я.

— Потом... Ничего не было «потом». Так и жили. Я смирилась, сломила себя. Витюшка ухожен, на ужин — стряпня, в квартире чисто. Только радости нет. Самое страшное, что Сергей и сына ломает так же, как меня. То заставит прыгать через огромную яму — мальчик боится, он обзывает его трусом и уходит. То вдруг не разговаривает по нескольку дней из-за какой-нибудь маленькой провинности. Я пыталась спорить с ним, он ответил, что хочет вырастить настоящего мужчину и не позволит мне мешать ему в этом. Только боюсь, что от такого воспитания останется Витюшка без детства.

Татьяна горько усмехнулась.

— Видишь, какой парадокс получается... Его не тянет грабить и убивать, как пугали меня, и ему, а не мне «суждены благие порывы» сделать из меня образцовую жену и хозяйку.

Я подошла к ней, ласково сказала:

— Ложись спать, утром что-нибудь придумаем.

— Что? — вздохнула она.

Незаметно подступило утро. Медленно падал снег за окном. Татьяна неотступно и тревожно смотрела на часы. В половине восьмого она вскочила и, не слушая моих уговоров, стала быстро одеваться.

— Ты прости, Галочка, — торопливо объясняла она,— но Сергею надо на работу, как же Витюшка дома один? Я скоро вернусь с ним.

Через полчаса скрипнула калитка. Я поднялась, шагнула к двери... и в растерянности отступила. На пороге стоял Сергей. Большой, немного сутулый, он стоял и молчал. Смотрел на меня исподлобья. Наконец спросил осипшим голосом:

— Татьяна у вас?

— Была у меня,— как можно спокойнее ответила я,— а сейчас ушла к Витюшке.

— Ребенок в садике,— устало и равнодушно проговорил Сергей.

— Но ведь для садика нужны какие-то справки? — спросила я, чтобы хоть что-нибудь сказать.

— Здесь не город. Взяли так,— с тем же безразличием ответил он.

— Проходите. Раздевайтесь. Татьяна, наверное, скоро придет.

Он взял табурет, поставил его у порога и сел, даже не расстегнув пальто, не сняв шапки.

Молчать было невозможно.

— Как же вы решились отвести Витюшку в садик? — спросила я.

Сергей криво усмехнулся, не сразу сказал:

— Значит, рассказала все. Ну и как?

Его усмешка разозлила меня. Я вспыхнула:

— Что «ну и как»? Хотите мое мнение о вашем воспитании? Зачем? Оно для вас мало что значит. Но вам выскажет его ваш сын, когда вырастет. Я знаю, вы много пережили, но это будет самый горький час в вашей жизни.

Сергей вскочил. Мне показалось, что даже коротко стриженные волосы его поднялись дыбом. Он тяжело и часто дышал.

— Я никому не позволю... Да знаете ли вы...

Он заскрипел зубами, сощурил глаза и вдруг так же мгновенно, как и вспыхнул, успокоился.

— Хорошо,— тихо сказал Сергей.— Попробуем рассуждать. А ваш отец — как он вас воспитывал? Как учил говорить правду, не бояться трудностей?

— Мой отец погиб за два дня до моего рождения,— тихо ответила я.— Маме пришла похоронная, когда мне был месяц. У нее пропало молоко, и она пошла работать, потому что без денег не прокормить грудного ребенка... И у нее не было времени таскать меня на руках, — язвительно добавила я, вспомнив рассказ Татьяны.

Сергей не заметил укола. Он смотрел на меня сосредоточенно, будто решал в уме какую-то задачу.

— А потом? Как она воспитывала вас потом?

— Меня не воспитывали, как вы понимаете это слово. Мы просто жили. И радовались жизни. На Новый год мама ставила елку, мы делали игрушки, приходили мои подруги... Впрочем, зачем это? Ведь вас интересует другое. Так вот, моя мама поступила учиться, когда мне было четыре года. Я ездила с ней на сессию, ждала в коридоре, пока она сдавала, и страшно волновалась за нее. Ей было тогда немногим больше, чем мне сейчас — двадцать три года, но она была намного

взрослее и умнее. Так мне кажется. Потом она стала работать в школе. Вы не знаете, что такое работать в детской школе! Это тетради днем и ночью, занятия после уроков с отстающими, бесконечные объяснения с родителями... Мама редко могла заниматься со мной, но эти редкие часы и минуты были праздником, который останется со мной всю жизнь.

— И вы ни разу в душе не осудили свою мать за то, что она мало уделяла вам внимания? Только честно!

Я удивленно посмотрела на него, ответила, пожав плечами:

— Я же поступила в пединститут. Если у меня будут дети, их ждет то же, что и меня. Понимаете?

Сергей не успел ответить. Вбежала Татьяна. Глаза у нее были испуганные.

— Где Витюшка? — выдохнула она, увидев Сергея.

— В садике,— просто и даже, как мне показалось, примирительно ответил он.

Татьяна облегченно вздохнула.

— А я весь поселок обежала...

Сергей подошел к ней, и она вся напружинилась, закусила губу.

— Раздевайся, Танюша,— проговорил он.— И я разденусь. Тут мы с Галиной Глебовной беседовали, давай продолжим вместе.

Когда Татьяна сняла пальто и села, он медленно, раздумчиво начал:

— Вот я сейчас из слов Галины Глебовны понял, что вы обе считаете меня неправым. Так?

Татьяна отчужденно и враждебно молчала.

— Ты не учись у меня, Танюша, этому — молчать. Ты говори. Борись, если считаешь себя правой. Я вот считаю себя правым и борюсь. Как умею. По-вашему, выходит, жестоко...

Татьяна смотрела растерянно и, казалось, вот-вот опять заплачет.

— Можно закурить? — спросил Сергей.

Я кивнула. Он закурил и как-то устало продолжал:

— Раньше, кажется, был хороший обычай: невеста и жених обязательно знакомили друг друга со своими родителями. Если родителей уже не было, то хоть рассказывали о них. А ты так и не спросила меня ни разу

за все пять лет: «А был ли у тебя, Сережка, отец? Какой была твоя мать?»

Татьяна встрепенулась.

— Я хотела как лучше. Знала, какой ты ранимый. Не хотела тебя лишний раз обидеть. Ждала, что расскажешь сам. А теперь... Ты винишь меня даже в этом!

Сергей глубоко затянулся, скомкал папиросу и бросил ее в печь. С ласковой грустью проговорил:

— Не виню, Танюшка. Так бывает, захочешь как лучше, а потом всю жизнь... Но сегодня я все-таки расскажу. Может, тогда вы поймете меня.

...Он долго не мог начать, глубоко затягивался папиросой и смотрел куда-то мимо нас. Наконец заговорил медленно, будто на ощупь пробирался по заросшей, давно не хоженой тропке воспоминаний. Но вскоре речь его полилась легко, коричневые щеки слегка порозовели — он говорил уже не для нас, а для себя.

РАССКАЗ СЕРГЕЯ

Большая темная комната, темная потому, что два окна всегда занавешены. Может, для того, чтобы не заглядывали прохожие, может, по какой другой причине.

С дивана свисает шелковый чулок, другой висит на спинке кровати. Постель не заправлена, край сползшего одеяла почти касается пыльного пола.

Посреди комнаты стол, покрытый грязной клетчатой скатертью. На столе разбросаны какие-то флакончики, коробочки, кусочки ваты в пудре...

На единственном стуле возле окна сидит женщина, одна ее рука с тонкими пальцами и красными ногтями приподнимает серую занавеску, другая поддерживает толстую книгу.

Она читает. Глаза опущены и кажутся закрытыми. Это мать.

Потом Сергей часто жалел, что никогда так и не посмотрел, что за книги она читала... Чего они такого обещали ей, что, оторвавшись от страницы, окинув взглядом комнату, увидев сына, она прямо зеленела от злости.

Однажды кто-то из мужчин во дворе сказал о ней:

— Посмотришь — красавица, а откроет рот — настоящая змея. Не язык — жало.

Другая соседка, смахнув мыльную пену с рук — она стирала во дворе,— сердито проворчала:

— Уж и красавица! Змея, настоящая змея. И платья носит змеиные, и смотрит как гадюка. Мальчишку жалко, совсем заморила...

Мать читает у окна, а мальчишка сидит в углу у двери и придумывает себе другую жизнь.

...Когда-то у него была мама, как у всех, она громко смеялась и, стирая во дворе белье, плескала в него мыльной водой, как делает соседка со своей дочерью, а он визжал от радости и лез к ней под ноги. Мама пела веселые песни и давала ему белого хлеба — сколько захочет. Но вот злая волшебница-змея украла мальчишку, привела в эту темную холодную комнату, чтобы ему было плохо без мамы. Сейчас она ест хлеб, отламывает прямо от буханки, лежащей на пыльном подоконнике, а ему не дает или швыряет кусок с такой злостью, что есть уже не хочется. Она думает, что он не знает, кто она, и считает ее своей мамой, но мальчишка уже все знает. Вот приходит большой добрый деревянный слон, и мальчишка забирается в него. В слоне тепло, много игрушек и есть вареная картошка в мундире, точно такая же, какой угощала мальчишку веселая соседка. Они отправляются на поиски мамы. Идут долго по лесу, через реку и наконец находят. Змея спрятала маму в лесу в своей пещере и заколдовала ее, чтобы она никуда не могла уйти. Мальчишка бросается к маме, целует ее — и вот она уже расколдована. Захлебываясь, он рассказывает маме о всех своих горестях. И невольно начинает всхлипывать...

— Опять хнычешь?! — кричит женщина от окна.— Замолчи, кому сказала! И в кого такой уродился?!

...Мальчишка уже настолько поверил в придуманное, что, когда потерял надежду дождаться слона-спасителя, отправился на поиски мамы один. Долго шел, замерз и уснул у чьих-то ворот. Очнулся уже дома. И очень удивился: в комнате необычно светло, над ним склонилось чье-то розовое лицо, смотрит участливо и жалостливо. Попытался приподняться, приблизить это хорошее лицо к себе, обнять его, прошептал:

— Мама, мамочка!

И тут же раздался голос:

— Мамаша, идите сюда. Он зовет вас.

Подошла мать, и от ее взгляда, от обиды, что чудо не свершилось, мальчишка заплакал и натянул на голову одеяло, чтобы не видеть ее.

Женщина — на ней были белый халат и белая шапочка — тихо сказала:

— Неужели психическое расстройство? Но отчего?

— Не волнуйтесь, доктор. Мальчик дебильный. Он родился таким, ничего, кроме плача, я от него не слышала.

Женщина участливо произнесла:

— Надо показать его специалисту.

Мать промолчала.

А на следующий день, еще не открыв глаза, он сквозь сон услышал женский голос, льстивый и какой-то ядовитый:

— Такая молодая, красавица. И надо же, не повезло как. Всю жизнь будешь маяться с ним.

Резкий голос матери отвечал:

— Стыдно признаться, но я ненавижу его. Разве со своей внешностью я, развитая, интересная женщина, не нашла бы себе пару? Но кого приведешь сюда, в эту проклятую дыру, кому покажешь сопливого урода? И главное, я сама виновата. Когда он родился, у нас не было еще этой конуры: пришлось отдать его в дом ребенка. Потом муж наконец получил эту прогнившую комнату, но мы уже решили развестись: разные люди, разные взгляды на жизнь. Он хотел взять мальчишку с собой, но из-за глупого принципа я не позволила. Взяла к себе. Я поняла, что он дебильный, сразу, когда пришла за ним в дом ребенка. Я представляла себе пухленького, славного малыша, а увидела худого, с коростами на голове, глаза гноятся. Муж, увидя его, стал просить, чтобы я отдала сына ему. Почему не согласилась, не понимаю до сих пор! Ничего, кроме брезгливости, сын у меня не вызывал... Когда опомнилась, отец уже завербовался куда-то на Север. У него сейчас там уже двое своих детишек.

Ядовитый голос подхватил:

— Да, уж сразу надо было руки себе развязать. Алименты-то приличные с Севера приходят?

— О боже! — простонала мать.— Что алименты,

когда жизни нет, когда все противно. За что я так наказана?.

Время шло. Мальчишка пошел в школу. Учительница, высокая, прямая, надо лбом пышная корона кос, смотрела на него строго и осуждающе.

— Мальчик, надо иметь носовой платок. Надо расчесывать волосы и умываться. Ты этого не знаешь?

Сейчас Сергей отдает должное этой суровой немолодой женщине: она изо всех сил старалась сдерживать свою брезгливость к нему и только изредка морщилась. Иногда в глазах ее появлялось выражение недоумения и жалости. Он был действительно жалок: вечно стучал зубами, потому что даже в теплом классе никак не мог согреться, губы у него всегда дрожали, и буквы в тетради получались уродливые и кособокие.

В первом классе его оставили на второй год, и лето он пробыл в комнате, закрытый на замок. Мать возвращалась поздно, не глядя на сына, хватала книгу и валилась в постель.

Но настоящие мучения начались на следующий год. Новая учительница, беленькая, в мелких кудряшках, не захотела иметь в классе двоечника. Каждую неделю она вызывала мать в школу или звонила ей на работу. После этих звонков мать металась по комнате, швыряла на пол все, что попадало ей под руку: свои флаконы с кремами, платья, стаканы. Швыряла до тех пор, пока не раздавался звон разбитого стекла. Он, видно, действовал на нее успокаивающе. Тогда она ложилась и ненавидяще смотрела на сына. От ее взгляда он начинал плакать. Старался сдерживать слезы, и от этого что-то противно клокотало в горле, хлюпало в носу. Мать вскакивала и начинала кричать на него, потом отворачивалась к стенке и громко рыдала, проклиная свою жизнь, сына и все на свете.

В школе стало совсем плохо. Кто-то из ребятишек подслушал разговор учительницы с матерью, и его начали дразнить — «дебилом».

Учительница изводила его вопросами: «О чем ты сейчас, Сережа, думаешь?» или: «Ты хочешь стать отличником?» Он молча хлюпал носом в ответ, не в силах произнести ни слова. Когда она еще только приближалась к его парте, он уже ощущал спазмы в горле и начинал судорожно глотать слюну.

Сергей хорошо помнит день, когда его водили на врачебную комиссию. Мать завела его в узкий белый кабинет и вышла.

Мальчишка остался с черной усатой женщиной, ощупывающей его большими навыкате глазами, и пухлощеким мужчиной в очках, перебирающим какие-то бумажки на столе. Женщина, стараясь придать своему грубому мужскому голосу ласковую мягкость, вытягивала губы и задавала какие-то вопросы. А мальчишка молчал и все думал о школе «для дураков», в которой ему придется теперь учиться. Вдруг дверь приоткрылась, и кто-то позвал женщину. Она вышла, и тогда мужчина медленно снял очки, поднялся и, подойдя к мальчишке, заглянул в глаза сочувственно и дружелюбно.

— Поговорим, чтобы не скучать, пока тетя придет? А? — предложил он и, не дожидаясь ответа, начал рассказывать какую-то веселую историю. Неожиданно оборвал себя на слове и спросил: «А как ты думаешь, что дальше?» Увлеченный его рассказом и подбадриваемый лукавой смешинкой в его прищуренных глазах, мальчишка оживился, начал говорить. Потом мужчина загадывал ему смешные загадки, и в конце концов мальчишка забыл, зачем он в этом кабинете. И только когда зашла усатая женщина, у него вновь пересохло в горле. Но мужчина продолжал задавать свои веселые вопросы, словно не замечая ее прихода. И мальчишка, запинаясь и каждую минуту откашливаясь, отвечал.

Вдруг улыбка исчезла с лица мужчины, он устало провел рукой по редким волосам и тихо сказал, повернувшись к женщине:

— У вас есть еще что-нибудь? По-моему, все ясно.

Женщина, не поднимая головы, кивнула. Мальчишку вывели в коридор, а в кабинет позвали мать. Она вышла оттуда через полчаса. Тонкие губы ее кривились. Она казалась совершенно спокойной, только ладонь ее, сжавшая ручонку сына, была влажной. По тому, как она торопливо, не замечая ничего вокруг, шагала, он понял, что дома его вновь ожидает буря.

И он не ошибся.

Зайдя в комнату, мать пнула ногой стоявшую у порога туфлю-гвоздик и закричала:

— Будь все проклято! «Запуганный мальчик». Кто его пугал, кто трогал?!

В тот день она долго не могла успокоиться.

А потом в их комнате появился худой и остроносый мужчина. Несколько белесых жирных волосинок прикрывали блестящую лысину. Он двигался так осторожно, будто все время боялся наступить на что-то. Сергей помнит, как он подошел к нему, протянул худую руку и сказал:

— Давай, мальчик, познакомимся. Я — Андрей Иванович.

Мальчишка со страхом смотрел на него.

Мать резко крикнула:

— Оставь его в покое, а то он сейчас захнычет. Я тебе, по-моему, все объяснила, Андрей. Ты понял?

Он открыл рот, хотел что-то сказать, но, видимо, не найдя подходящих слов, отошел от мальчика.

Вскоре они переехали жить в большой кирпичный дом, в светлую квартиру из двух комнат, кухни, ванной и туалета. Но если в старой темной комнате у мальчишки был свой холодный угол, то здесь он долго не мог найти себе места. Андрей Иванович осторожно обходил его, как соседки в прежнем дворе обходили черного толстого кота, чтобы он не пересекал им дорогу. Мать то и дело бросала на сына бешеные взгляды. Наконец он нашел себе угол на полу в туалете и сидел там часами, пока мать не начинала стучать в дверь.

— Ты что, уснул там, что ли? А ну вылезай!

Иногда до него доносились споры из комнаты. Тихий, робкий голос Андрея Ивановича и визгливый, злой — матери.

Она кричала:

— Домработницу захотел? Усвой раз и навсегда: я не создана для кухни. О мальчишке переживаешь? Смотри какой добренький... Ну и готовь сам!

Потом раздавался шум швыряемых вещей, и наступала тревожная тишина.

Так они жили до тех пор, пока однажды летним вечером Андрей Иванович не принес путевку в пионерский лагерь. Два следующих дня он водил мальчишку по врачам. Андрей Иванович не разговаривал с ним, и вид у него в поликлинике был такой, будто его подвергают мучительным пыткам: он кривился,

морщился и тяжело вздыхал. А вечером мать презрительно бросила:

— Признают нормальным? Ну и что? Сами кретины!

Провожал его в лагерь один Андрей Иванович. Мальчишка слышал, как он объяснял женщинам, которые отправляли своих веселых и чистеньких детей:

— Ребенок немного умственно отсталый, но врачи считают, что пребывание в здоровом коллективе пойдет ему на пользу.

Женщины оглядывали мальчишку удивленно и жалостливо, а Андрей Иванович обнажал в вымученной улыбке зеленоватые зубы.

В лагере мальчишка быстро отыскал уголок, где можно было сидеть, положив голову на колени, и думать о том, что он не такой, как все, и что никогда не придет добрый слон, чтобы увезти его к маме. Сытая еда не радовала: он все время чувствовал на себе брезгливые взгляды. Однажды девочка, которую усадили возле него, вскочила с криком: «Меня тошнит! У него сопли в тарелку капают!» — и выбежала из столовой.

Это было в обед, а вечером, когда горн протрубил ужин, мальчишка остался сидеть под старой березой. Здесь его и нашла воспитательница Ольга Николаевна. Она села рядом с ним, положила его грязную ладонь на свою и сказала тихо:

— Не плачь, Сережа. Я знаю, почему тебе плохо. Ты не можешь сказать себе: я смелый, я ничего не боюсь. Поэтому тебе страшно. Тебе ведь страшно, да? А ты скажи себе так. Это волшебные слова, честное слово.

Он смотрел на нее удивленно и загнанно. Она вдруг засмеялась, взяла его за руку, отвела к умывальнику, сама очистила от приставшей земли изорванные штанишки и повела в столовую. Ребята уже поели, и она усадила мальчишку рядом с собой и, пока он торопливо заталкивал в рот еду, говорила ласково:

— Ты не спеши, Сережа. Кушать надо спокойно, тогда будешь быстро расти, станешь сильным. А главное, ничего не бойся. Говори себе, что ты ничего и никого не боишься. Понял?

Он кивал в ответ, и в голове его складывалась сказка о доброй, прекрасной фее, подарившей заколдо-

ванному, никем не любимому мальчику волшебные слова, от которых он стал самым сильным и самым смелым. А она все повторяла эти волшебные слова и говорила:

— Выпрями плечи, подними голову, вот так. Теперь тебе ничего не страшно.

После ужина воспитательница зашивала его рубашки и штаны, а он сидел напротив нее, завороженно следил за мелькавшей в ее руках иголкой и почти верил, что перед ним настоящая фея. Он водил плечами так, будто ему тесна рубашка, и вытягивал худенькую шею. Ему казалось, что от этого он действительно становится смелее. Забежала зачем-то воспитательница старшего отряда, уставилась на него почти с ужасом, но Ольга Николаевна сказала:

— Правильно, Сережа, выше голову, шире плечи.

Чужая воспитательница попятилась к двери и, видно, забыв, зачем пришла, поспешила уйти. Они снова остались вдвоем. Мальчишка смотрел на Ольгу Николаевну, и ему казалось, что прекрасней ее нет во всем мире.

Какая она была? Наверно, окружающие не считали ее красавицей, а может, она даже не входила в разряд хорошеньких. Огромные зеленые глаза, немного навыкате, были слишком велики для худенького бледного лица. Тоненькая ее фигура терялась среди девочек старшего отряда, некоторые из них были выше ее ростом,— но даже через много лет, понимая все это, Сергей считал ее самой красивой. Кинозвезды на обложках журналов до сих пор кажутся ему по сравнению с ней раскрашенными манекенами. И только Татьяна, когда он увидел ее впервые, смогла с ней сравниться. Потому что Танины глаза излучали ту же все понимающую доброту. Все остальное для него было неважно. Он полюбил Таню не за ее красоту, а за то, что она напомнила ему Ольгу Николаевну...

После отбоя Ольга Николаевна приходила к ним в палату и, присев на краешек чьей-нибудь кровати, слушала фантастические истории, в которых изощрялись десятилетние мальчишки. В тот вечер она присела на кровать Сергея и, легонько поправив одеяло, сказала ласково:

— Расскажи и ты, Сережа, сказку.

По палате разнесся протестующий гул, но воспитательница строго оборвала его.

— Сережа знает очень интересные сказки!

И эта ее уверенность передалась Сергею. Он почувствовал, что ничто не сжимает ему горло, что он может говорить, и начал рассказывать ту единственную сказку о мальчике, которого украла у мамы злая змея, о добром спасителе-слоне и о прекрасной волшебной фее.

Ребята слушали, затаив дыхание. Но разве можно высказать за какие-то полчаса все, что придумывалось годами? Ольга Николаевна прервала его:

— Дорасскажешь завтра, Сережа. А сейчас спать.

Снова, как после первых ее слов, протестующе загудели мальчишки, но теперь уже из-за того, что хотели дослушать сказку до конца. Она еле угомонила их. А уходя, наклонилась над Сережей, ласково погладила по голове, и от этого ее движения, от теплоты нежных рук сердце его забилось часто и радостно. Она наклонилась к самому его уху и прошептала только одно слово:

— Видишь?!

Она ушла, а он боялся уснуть, чтобы не потерять ощущение ее прикосновения. Всю ночь он придумывал конец сказки. Добрая волшебница одаряет мальчика словами, которые стоит произнести, как появляется могучая сила и мальчик становится непобедимым великаном. Он мстит злой змее и начинает защищать всех слабых и несчастных...

И все произошло действительно как в сказке. Он вдруг почувствовал себя сильным. Уже на следующий день стоило кому-нибудь даже из старших мальчишек щелкнуть его, как он, отчаянно размахивая руками, бросался на обидчика. И что удивительно — всегда побеждал. Откуда ему было знать, что обидчики просто отступали перед яростью маленького злого зверька. Сережке казалось, что побеждает его сила. Все, что казалось недоступным, давалось теперь легко и просто. Он участвовал почти во всех соревнованиях и однажды в забеге обогнал даже ребят из старшего отряда.

Ольга Николаевна воспринимала его успехи с радостным изумлением. Ей и самой, видно, начинало казаться, что она свершила сказочное чудо. Сейчас-то

Сергей, конечно, понимает, почему все так получилось. Загнанный, истерзанный мальчишка жил в нем, и он боролся с ним не на жизнь, а на смерть. Когда бежал в том забеге, он не просто бежал, а убегал от прежнего себя, напрягая последние силы. Ему надо было победить — и он побеждал.

В лагере он пробыл две смены подряд.

В августе их привезли в город. Сережка огляделся. Андрей Иванович в толпе родителей искал его глазами. Сережка стоял перед ним, но тот не узнавал его. И от этого мальчишка возликовал. Наконец отчим сделал к нему несколько осторожных шагов и растерянно промямлил:

— Какой ты стал... большой, крепкий.

Подошла Ольга Николаевна. Она была грустна и взволнована. Тихо сказала:

— Сереженька, ты придешь ко мне в гости? Я буду очень ждать.

Он ответил ей взглядом преданнейшей собачонки, которую забирают от хозяйки. Почему-то вдруг вспомнил, как она перед сном по нескольку раз за вечер поправляла его одеяло, которое он нарочно сбивал, суча ногами. Она сразу разгадала эту его маленькую хитрость — он понимал это по лукавинкам в ее глазах,— но ни разу не рассердилась.

На прощание Ольга Николаевна легонько прижала Сережкину голову к своей груди, и волшебные слова оказались впервые бессильными: он заплакал.

Первое, что он сделал дома,— это прошел на кухню, достал нож, буханку хлеба и начал отрезать себе большой кусок. Есть ему совсем не хотелось, но он жевал медленно и старательно.

Мать стояла в дверях кухни и смотрела на сына округлившимися от изумления глазами. Их взгляды встретились. Лицо ее перекосилось, она процедила:

— Что ты уставился? Будто мне хлеба жалко. Ешь сколько хочешь.

Больше Сережка не сидел на холодном полу в туалете. Придя из школы, он деловито сдвигал на столе флакончики и коробочки и начинал выполнять домашние задания. А по воскресеньям с утра выходил из дому, садился в троллейбус и ехал в гости к Ольге Николаевне. Там он отдыхал от напряжения недели:

игра в сильного все-таки изматывала его до предела.

Воскресенья в маленькой комнате, заставленной книгами, были в жизни мальчишки спасительной пристанью, к которой он плыл в мечтах всю неделю. Ольга Николаевна угощала Сережку пирожками с картошкой, которые пекла с утра специально для него, расспрашивала о прочитанных книгах. Те воскресенья, когда она была чем-то занята и просила не приходить, были для него самыми мучительными днями в жизни. Он болтался неприкаянный по улицам, придирался к играющим ребятишкам (друзей у него так и не было) и приходил домой поздно вечером. Ложился спать усталый и голодный. Дома он не говорил, куда уходит, и вскоре мать перестала пытать его об этом, лишь молча глядела вслед.

А потом она вообще перестала что-нибудь замечать. Уехал будто бы в отпуск и пропал Андрей Иванович. В квартире стало еще грязнее, а в кухонном шкафчике совсем пусто. Мать приходила поздно и, не умываясь, валилась с книгой в постель. Сына она старалась не замечать, а когда их взгляды встречались, закрывалась книгой.

День, который изменил всю его жизнь, Сергей хорошо запомнил. Всю ночь он твердил себе — я сильный, я ничего не боюсь! Не помогало — не находилось у него сил попросить у матери денег. А они были нужны. В воскресенье он был приглашен Ольгой Николаевной на ее день рождения. Мысли о подарке не появлялись у него до тех пор, пока он не услышал по радио рассказ о красивой женщине, которой в день рождения подарили очень много цветов. С той минуты Сергей потерял покой: цветы снились ему, он не мог думать ни о чем другом. Но достать их можно было только на рынке за деньги. Воскресенье приближалось, и впервые он пожелал, чтобы дни не проходили так быстро. Каждое утро он собирал все свое мужество, чтобы попросить у матери денег — и не мог. Мысленно приготовил целую речь, в которой обещал расплатиться, как только начнет работать, но под невидящим взглядом матери слова застревали в горле.

И в то утро он не сумел ничего сказать. Мать, потягиваясь, лежала в постели, а он, уже одетый, стал возле нее. Она скользнула по нему недоумевающим

взглядом, будто не понимая, кто перед ней и откуда взялся, взглянула на часы, охнула, вскочила с постели и побежала в ванную. Время было упущено, теперь уже бесполезно о чем-нибудь просить. Сергей знал, что из ванной она вернется уже одетой, схватит сумочку и исчезнет на целый день. А завтра воскресенье.

Трясущимися руками он схватил со стола маленькую черную сумочку и вытащил первую бумажку, какая попалась. Только когда мать ушла, он с трудом разжал сведенный в судороге кулак и увидел пятирублевку. Сумма показалась ему огромной, и он заплакал от стыда и страха: что же теперь будет? Но отступать было поздно. Сергей вышел на улицу и сел в трамвай. Было светлое июньское утро, солнце еще не палило, и нежный ветерок ласково дул ему в лицо. Он сидел у окна в трамвае и дрожал от напряжения. Волшебные слова не помогали.

На рынке он сразу увидел цветы. Маленькие старушки в белых платочках бойко торговали яркими разноцветными букетами. Непослушными ногами он подошел к одной из них, протянул потную пятерку и потянулся рукой за букетом. Мелкий дребезжащий смех заставил его руку повиснуть в воздухе.

— За пятерку такой букет захотел! Он, милый, двадцать рубликов стоит. А за твою денежку нет у меня цветов.

Отчаяние охватило мальчишку. И вдруг взгляд его упал на корзину, полную цветов. Она стояла неподалеку от старушки. Сергей метнулся к корзине, схватил ее и бросился бежать. В ушах стоял такой звон, что он даже не слышал криков. Бежал до тех пор, пока чьи-то сильные руки не схватили его.

В милиции, расплачиваясь с собой за пережитый страх, он стойко отмалчивался на все вопросы. Нервно выстукивая кончиками пальцев по столу, молодой белокурый следователь спрашивал и сам отвечал.

— Родителей, значит, нет? Бежал из детдома?.. Из какого? Не хочешь отвечать?.. А цветы зачем? Молчишь? Торговать, что ли, собрался?

Сергея вполне устраивала биография, которую придумал следователь. Она была гораздо интереснее и мужественнее той жизни, которой он жил. Возвращаться к матери мальчишка не хотел. И после того, что про-

изошло, он уже не мог показаться Ольге Николаевне. Поэтому охотно подписал протокол допроса, в котором говорилось, что он бежал из детдома и занимается воровством и бродяжничеством. Фамилию Сергей назвал первую, какая пришла в голову: Андросов.

Так он попал в детскую исправительно-трудовую колонию. Там, встретившись с отчаянными, видавшими виды парнями, он очень скоро понял, что становится прежним, загнанным, насмерть перепуганным мальчишкой. И Сергей решил: надо стать таким, как они, еще сильнее их.

В конце концов он добился своего: для самых отчаянных колонистов стал своим парнем, для администрации — опасным дезорганизатором. Но, наверное, прежний страх жил в нем, потому что он продолжал каждый день внушать себе, что ничего не боится, и совершал совсем уже нелепые поступки. Он ввязался в драку и получил второй срок. В восемнадцать лет его перевели во взрослую колонию. Отбывать оставалось немного: восемь месяцев и девять дней. И вот тут игра в «сильного» кончилась для Сергея катастрофой.

В колонию перевели парня, за которого Сергей, когда-то заступился. Здесь у этого парня были сильные покровители, и Сергея повели к «королю». У «короля» была огромная черная борода и коричневое лицо наркомана. Он проговорил с истинно королевской важностью:

— Слышал о тебе, слышал. Законы наши не нарушаешь?

Глядя бородачу в запавшие пронзительные глаза, как когда-то смотрел в глаза матери, Сергей спокойно ответил, что никаких законов не знает и знать не хочет.

К нему бросилось несколько парней. Бородач величественным движением руки остановил их.

— Почему? — приподняв бровь, спросил он.

Наслаждаясь собственной смелостью, Сергей проговорил:

— Ты мне никакой не король! Понял?

Его крепко избили. Сергей знал, что это только начало. И в тот же день раздобыл себе самодельный нож, который научился умело прятать при обысках.

Они подкараулили его ночью у туалета. Их было четверо. Один прыгнул сзади, зажал рот и сдавил пальцами горло. Двое повисли на руках, а громадный детина придвинулся вплотную, примеряясь, как бы получше нанести удар. Кулак был багровый, в витиеватых татуировках.

Сергей весь напружинился и, изловчившись, пнул повисшего на правой руке парня. В ту же секунду его свалил страшный удар в челюсть. В глазах замелькали искры. И тут раздался дикий, хриплый крик. Парни бросились бежать.

Сергей с трудом поднял голову, скинул навалившееся на него тело и вдруг увидел, что весь в крови, а тело, которое он сбросил с себя, странно корчится. Подбежали надзиратели... Как все произошло, Сергей точно не знает и сейчас.

Началось следствие. Ночью к Сергею пробрался сам «король». Он уже не выглядел таким могущественным. Просто немолодой, насмерть перепуганный дядька. Упрашивал Сергея не говорить следователю правды, не объяснять, за что напали на него. Все повторял:

— Скажи: драка. Просто драка. За драку много не дадут. А мы поможем срок доканать. Понял? Обычная драка.

— Уматывай отсюда,— ответил ему Сергей.— Не нужна мне ваша помощь.

Он все еще играл в смелого и сильного. Играл и на суде, бросая короткие дерзкие ответы. Играл до последней минуты, до оглашения приговора. Пятнадцать лет без права на условно-досрочное освобождение.

Вот и все. Хотел повеситься, но нашел силы приказать себе: надо жить. И жил как во сне. Когда привезли сюда, начальником отряда был Манковский, нынешний начальник колонии.

С полгода он приглядывался к Сергею, а потом вызвал и спросил:

— Послушай, зачем тебе понадобились эти цветы?

— Здесь же написано — торговать.

— Врешь! Ты не вор,— убежденно сказал Манковский.— Так зачем же все-таки цветы?

Но Сергей тогда еще не очень-то доверял администрации. Манковский понял, что откровенного ответа не добиться, и прекратил расспросы.

Правду Сергей рассказал ему лишь через два года. Теперь он уже верил Манковскому, а главное — очень хотел свободы, потому что встретил девушку, которую полюбил.

С замиранием сердца ждал он ответа на просьбу о помиловании, написанную Манковским...

— ...Сейчас у меня есть свобода, и эта девушка. И есть сын, за которого я пойду на любые пытки, лишь бы он не испытал того же, что и я. Я хочу, чтобы он был счастлив. И хочу, чтобы к этому же стремилась его мать, моя жена. И чтоб понимала меня, даже если я в чем-то неправ. Больше мне ничего не надо.

Сергей замолчал. Татьяна, побледневшая, растерянная, смотрела на него так, будто все еще не могла поверить, что человек, только что рассказавший историю своей жизни,— ее муж.

— Я поняла, Сережа,— тихо проговорила она.— Все поняла...

Я тоже поняла. Этот большой, сильный мужчина в чем-то еще тот загнанный, несчастный мальчик, который повторял себе: «Я сильный, я ничего не боюсь». Призраки детства до сих пор преследуют его, и он мучает себя, жену и сына. Сумеет ли Татьяна помочь ему развеять эти призраки?

Нелегко, наверно, будет это сделать. Долго еще будет стоять между ними женщина в змеином платье, которой сын мешал жить...

«НЕ СКУПИСЬ, МАМАША»

Большая, в по-деревенски повязанном платке, закрывающем лоб, она, войдя, заполнила собой всю мою маленькую квартиру. Небольшие бледно-голубые глаза смотрели на меня изучающе и умиленно. Белое полное лицо ее не выглядело старым, но старчески сутулой была спина.

Я усадила ее на табурет, подала воды, и она заговорила тягуче и жалобно:

— Ты уж, милая, выслушай меня, старуху. Не гони! Силушки моей больше нету, еле дошла. Сердце болит, разрывается.

— Успокойтесь, пожалуйста,— сказала я.— И рассказывайте. Я могу вам чем-то помочь?

По щекам ее поползли маленькие слезинки, она схватила мои руки, прижала к губам, а когда я испуганно отдернула их, начала осторожно и вкрадчиво поглаживать мои пальцы.

— Ты хорошая, добрая, умница моя! И Вовка мой, он тоже хороший. Судьба у него непутевая, ослушался матери, со шпаной связался. Они его окрутили, из-за них в эту тайгу, богом проклятую, угодил. Он добрый, мухи не обидит, я от него слова злого не слышала. И чистенький он еще, как слезиночка материнская, жизнь не узнал, не понял, как его за решетку заперли. Мальчик совсем. Чем ты ему не пара? Жили бы как у Христа за пазухой. Денежки у меня есть, себе в хлебушке отказывала, сыночку откладываю, чтобы освободился — зажил по-людски, не хуже других. Квартиру кооперативную куплю вам, да на книжке у меня на его имя четыре тысячи, хватит вам на первое времячко. Я, глядишь, из своего хозяйства чем помогу: и садик у меня свой, и куры, и коровушка. Только не отталкивай его, любит он тебя, горемычный, ох как любит. Ни днем светлым ему покоя нет, ни ночью темной. Ты ведь добрая, я вижу. Что же ты не хочешь Вовку моего, чем он хуже других? Я старуха, мне что: выбрал сыночек девку по себе — я и довольна. Заживете счастливо, а мне и умирать радостно будет. Один ведь он у меня, горюшка хлебнула, пока растила без отца, через край слезы пила, слезами закусывала. Пусть хоть у него будет жизнь человеческая. Ты напиши, милая, что ждать будешь. Просил он меня, ох как просил, слезами обливался...

Она протянула мне авторучку и тетрадь, а я смотрела, недоумевая, когда она успела достать это из своей сумки, если руки ее все время были заняты тем, что утирали слезы или осторожно, как к чему-то дорогому и легко бьющемуся, прикасались ко мне.

Я уже поняла, что передо мной мать Владимира Никоненко. Несколько дней назад он говорил, что она должна приехать к нему и, возможно, зайдет ко мне узнать, как он учится. Усмехаясь, добавил: «Переживает старуха, не верится ей, что покончил сын с прошлым. Да и на вас хочет посмотреть».

В смятении глядя на протянутую мне тетрадь, я пробормотала:

— Но я не люблю его. Что же я ему напишу?

Ее небольшие глазки стали жесткими, злыми, но лишь на какое-то мгновение — и опять закапали из них слезинки, она умоляюще зашептала:

— Что же мне делать, несчастной старухе? Пожалей меня, добрая ты моя, милая! Не простит мне сынок, что уговорить не смогла, не сумела. Не простит, дуру старую. Напиши ты ему хоть что-нибудь, чтоб сердечко его успокоилось, а там видно будет,— до свободы еще сколько метелей прометет. Ради меня, матери, напиши.

Я смотрела и никак не могла понять, чем же похож на нее сын? Сходство виделось, но какое-то еле заметное, неуловимое. Пожалуй, оно было лишь в быстро меняющемся выражении глаз.

— Хорошо,— ответила я, чтобы только поскорее отвязаться.— Напишу.

И начала писать: «Извините меня, пожалуйста, Владимир, но мне нечего вам сказать, кроме того, что я не люблю и никогда не полюблю вас. Мне дорог другой человек. Поймите это и живите спокойно, не тревожьте ни себя, ни мать...»

Пока я писала, она смотрела на меня то с умилением, то настороженно-испытующе, то жалобно. Вдруг всплеснула руками, хлопнула себя ладонью по лбу, торопливо стала рыться в сумке, причитая:

— И за что бог меня наказал, старуху глупую, с ума выжившую. Все свиданье с сыночком про любовь проговорила, проплакала, а о главном позабыла: лекарство не отдала. В Киев ездила, по городу, как молодая, бегала, доставала лекарство это редкое, а отдать позабыла. Молоденький он, Вовка мой, а нервишки по лагерям порастратил, истаскал. Вот и достала ему лекарство, чтобы не вздрагивал во сне, спал спокойно, сны сладкие видел. Что же мне, неразумной, делать?

Она согнула ноги, собираясь упасть передо мной на колени, и я еле удержала ее большое, тяжелое тело, с трудом усадила снова. Захлебываясь словами и слезами, она горячо зашептала:

— Ты уж, миленькая, передай ему лекарство с письмецом вместе. Пусть спит спокойно ноченьки эти страшные. А я поеду домой дожидаться, когда освободят его, соколика ненаглядного. За тебя каждый день

буду богу молиться. Уж возьми лекарство, чтоб не везти мне его обратно в дорогу дальнюю, тяжелую.

Она подала мне небольшую, перевязанную тонкой ленточкой коробку. Я взяла, и мне показалось, что на мгновение на лице ее мелькнуло хитровато-довольное выражение, но тут же оно снова стало горестным, и она принялась рассказывать, какая тяжелая и длинная дорога предстоит ей.

Я пригласила ее выпить чаю с вареньем, и она, делая маленькие глоточки, тягуче говорила:

— Тебя-то, милая, за что на каторгу эту к волкам в тайгу непроходимую сослали? В чем ты провинилась али не угодила кому? Вареньице, говоришь, мать выслала? Да, сердце материнское болит, если дитятко не рядом. Я тебе тоже яблочек со своего сада вышлю. За доброту твою в долгу не останусь. А ты, глядишь, яблочко-другое и Вовке моему дашь попробовать, чтобы дом не забывал.

Я сказала, что мне ничего не надо, а передать ее сыну я все равно ничего не смогу, потому что это нельзя, запрещено.

Она ответила мне с коротким смешком, хитровато щурясь:

— Э, милая ты моя, много, что нельзя. Сюда ходить нельзя, туда ступать нельзя. Если по-правильному жить... А ты по-своему живи: чтобы и другим не тошно, и тебе хорошо. Поняла?

Я с удивлением смотрела на превращение, свершающееся на моих глазах: измученная, жалкая старуха становилась цепкой, полной жизни женщиной, с довольным блеском оживившихся быстрых глаз. «Какая же она настоящая?» — недоумевала я.

Наконец она ушла, и я вздохнула с облегчением. В классе за несколько минут до начала урока я отдала Никоненко письмо и коробку.

До сих пор не пойму, почему не насторожил меня жадный огонек, блеснувший в его глазах, когда он выхватил из рук у меня коробку, а письмо взял спокойно, будто его почти не интересовало, что в нем написано.

Не встревожилась я и тогда, когда через два дня в учительскую зашел заместитель начальника колонии Шелехов. Кокетливую улыбку Инны он будто и не за-

метил. Лицо его было необычно сурово, он заговорил, веско отчеканивая каждое слово.

— Я прошу вас, товарищи учителя, выслушать меня внимательно. Я пришел к вам, чтобы сообщить о факте очень неприятном для всех. На территорию жилой зоны неизвестным вольнонаемным пронесен сильный наркотик. Вчера и сегодня ночью им велась торговля. У администрации имеются основания считать, что наркотиком торгует один из учеников школы. Учителей мы при входе в зону не обыскиваем, и кто пронес наркотик, неизвестно. Я никого не пугаю, но пронос заключенным наркотических средств карается законом очень строго. Если кто из учителей что заметил — должен немедленно сообщить администрации.

Завуч поднялась со своего стула, прошла, тонкая и прямая, по учительской, остановилась перед Шелеховым и, резко вздернув подбородок, заговорила. Выделяя нужные слова, как на уроке, она начала с того, что нам, работникам народного образования, бойцам самого благородного фронта, государство доверило великое дело — воспитание человека. На учителей исправительно-трудовых учреждений возложена труднейшая задача перевоспитывать людей, совершивших преступления, и наша школа с честью справляется с возложенной на нее задачей.

Пока Августа Георгиевна ораторствовала, Шелехов недоуменно смотрел на нас, будто спрашивая, зачем на него обрушили все это.

Наконец завуч подошла к главному: «Учитель, который бы совершил преступление, подобное тому, о котором сказал сейчас заместитель начальника колонии, навсегда запятнал бы знамя советского учительства,— но в нашем коллективе не может быть такого человека. И подозревать в чем-то наших учителей — нелепо и чудовищно».

«Да-а...» — отступая к двери, растерянно протянул Шелехов. Это выразительное «да» можно было понять только так: научили же человека говорить!

Инна взяла с полки журнал, тряхнула пышной гривой переливающихся волос и произнесла, ни к кому не обращаясь:

— Был бы повод... Репетиция первомайского доклада состоялась. Можно расходиться.

Я обрадовалась звонку. В своем классе мне лучше, свободнее дышалось, чем в учительской, где, если б не звонок, обязательно началась бы очередная перепалка между завучем и Инной. А в классе хозяйкой была я. Я радовалась, что взгляд Барбакова стал внимательным и спокойным, что Шушарин нет-нет да и очнется от спячки, начнет шевелить губами, пытаясь что-то понять. Никоненко в классе не было, но я даже не обратила на это внимания.

Прошел еще день, и я заметила, что Таисья Александровна чем-то очень взволнована, все поправляет гладко уложенные волосы и почему-то смотрит на меня вопрошающе и удрученно.

Она попросила меня остаться после уроков. Я встревожилась, но все еще ни о чем не подозревала. Таисья Александровна долго не могла начать. Опустив голову, перебирая что-то на своем столе, устало вздыхала, а потом, вдруг решившись, подняла на меня свои серьезные серые глаза и спросила:

— Скажите, Галина Глебовна, вы ничего не передавали Никоненко, не проносили ему?

Я совершенно спокойно ответила, что отдала ему лекарство.

Таисья Александровна молчала, и я стала рассказывать ей о матери, которая пришла ко мне с просьбой пожалеть сына. Я говорила, а тревога во мне все нарастала: поведение матери, которое совсем недавно представлялось естественным, вдруг стало казаться странным. Я еще ни о чем не догадывалась, но само выражение лица директора наполняло меня страхом. Оборвав себя на полуслове, я испуганно спросила:

— Что-то случилось, Таисья Александровна? Плохое?

Она посмотрела на меня так, как смотрят на несмышленых малышей, когда они задают неуместные вопросы. Тихо и устало произнесла, с трудом выдавливая из себя каждое слово:

— Чего еще может быть хуже? Наркотик пронесли вы.

Белый потолок учительской начал опускаться на меня. Голос Шелехова протрубил в уши: «...карается законом». Таисья Александровна говорила мне что-то успокаивающее, брала за плечи, но я ничего не слы-

шала, не понимала. Откуда-то издалека шли ее слова:

— Завтра мы пойдем к Манковскому и все расскажем. Он умный человек и поймет.

Я не спала всю ночь. Все старалась представить себе завтрашний разговор с начальником колонии. Собственно, почему он должен меня понять? Что я знаю о Манковском? Говорят, что это при нем жилая зона превратилась в цветник, что благодаря его стараниям колония каждый месяц выполняет план лесозаготовок на сто десять процентов. Манковский, как опытный машинист, ведет поезд со взрывоопасным грузом, ему приходится смотреть не только вперед, но и все время оглядываться назад: следить, как там груз. Как может отнестись машинист к тому, кто подложил под рельсы взрывчатку?

Я вспоминала все, что мне было известно о Манковском из письма «учителя» Барбакова, из рассказа Сергея Андросова... Уж лучше бы мне предстояло отвечать не перед таким человеком! Но отвечать придется...

А сколько осталось недоделанного! Ведь на днях я наконец решилась и попросила у Гулько копию приговора. Как он обрадовался, узнав, что я буду писать в Верховный суд! Видно, не совсем убита в нем вера в добро и справедливость. Только лучше бы радовался Гулько про себя, а то раззвонил по всему классу. А я так и не закончила это письмо...

Утром я встала, когда было еще совсем темно, оделась и часа полтора бродила по поселку. Ноги у меня совсем закоченели, а лицо горело. Я дошла до квартиры Татьяны и Сергея, посмотрела на огонек в окне, постояла и повернула назад. Никогда я не умела делиться своим горем, не решилась и на этот раз. Походила еще и направилась к дому Таисьи Александровны.

Она встретила меня уже в пальто, взгляд у нее был строгий, грустный, но полный какой-то решимости. Мы шли молча. Я хотела попросить у Таисьи Александровны прощения за все, но почувствовала, что не смогу сейчас ничего сказать.

Мы вошли в зону и направились к конторе. Я не поднимала глаз, боясь увидеть кого-нибудь из учеников. И, как назло, у входа в контору мы почти столкнулись с Головановым, Авериным и Барбаковым. Они о чем-то разговаривали и не успели расступиться. Не-

вольно подняла я глаза на оказавшегося передо мной Барбакова. Наши взгляды встретились. Он улыбался. Я впервые видела на его лице такую открытую улыбку. Кольнула мысль, что так мало успела сделать для него, а теперь уже никогда не сделаю, так же, наверное, как и для Гулько.

Манковский поднялся нам навстречу и, добродушно улыбаясь, проговорил:

— Вот и хорошо! Вовремя пришли. Я уже было собрался за вами посылать. Садитесь, пожалуйста.

— Федор Александрович, мы пришли к вам, чтобы...— решительно начала Таисья Александровна.

— Знаю,— весело оборвал ее Манковский и, подмигнув, добавил:

— Адвокатов тут у меня перебывало! Раз, два, три...

Он начал загибать пальцы, а я смотрела на его большие загорелые руки и тоскливо думала: чего он так веселится?

Поймав мой взгляд, Манковский посерьезнел, взял со стола листок бумаги в клеточку и протянул мне:

— Читайте.

Таисья Александровна подсела ко мне ближе, и мы начали читать вместе.

«Мамаша, здравствуй! Наконец ты сможешь передать мне все, что нужно. Это железно, доходы без расходов. Приметил я тут одну девчонку, через нее и будем все делать. Она, правда, еще дурочка, не смыслит в этом ни черта, но нам от этого только лучше. Ей знать ничего не надо. Поняла? Я пока закручиваю ей мозги, она вообще-то — ништяк и на свободе сошла бы. Здесь, сама понимаешь, дело другое — ломается девчонка, да идейная она еще ко всему. Учительница моя. С понтом учусь я, ну а на самом деле охмуряю ее. Врать не буду, пока толку мало. Ты меня знаешь, отказа у баб не было ни разу, но тут проволока — не перепрыгнешь. А я с такими идейными не связывался, так что может и не пройти. Короче, приезжай. Ты у меня аферистка старая, вдвоем быстрее обломаем. Готовь все, не скупись. Оплатится по-царски. Чуешь, старуха? А от нее, если не смогу обработать, на худой конец нужно какое-нибудь письмецо мне. В случае чего начнет потом рыпаться — она в моих руках. Это уж обязательно. Расшибись, но добейся. Не мне тебя учить.

Выедешь по телеграмме. Письмо посылаю через надежного человека. Ответа не пиши.

Сын твой Вовка».

Дочитав письмо, я откинулась на спинку стула, не в силах ничего сказать. Директор тихо спросила:

— Что же делать, Федор Александрович?

Он снова отчего-то повеселел, рассмеялся.

— А что делать? Работайте. И мы будем работать.

Таисья Александровна горячо заговорила:

— Но вы должны понять, что Галина Глебовна не виновата. Мы будем отстаивать... Неужели вам не ясно, что она попала в сети к матерому рецидивисту? И обвинить ее мы не позволим.

Манковский согласно кивал головой в такт словам Таисьи Александровны и улыбался. Когда она замолчала, он произнес, снисходительно усмехаясь:

— Значит, и вы думаете, что не на кого нам больше дела заводить? Найдем, кого обвинить и без вашей учительницы.

Он перевел взгляд на меня и продолжал уже серьезно:

— Зря вы думаете, что мы уже совсем не способны разобраться, кто виновен, а кто нет. Другое дело, Таисья Александровна, собрать бы вам надо своих учителей и поговорить с ними. А то ведь начнешь человека ругать, а он в ответ: подумаешь, преступление — письмо взял отправить. Только, скажу я вам, у кого все чисто, тот и обычным путем отправит, никого просить не станет. Поняли вы меня? Хорошо еще это письмо к нам попало, подвел «надежный человек» — прочел да и оставил у себя до поры, до времени. А как началась эта заваруха, отдал парням, они мне и принесли. А другой «надежный», выходит, все-таки нашелся: мамаша-то извещена и научена. Вот об этом вы и поговорите: чтобы ни письма, ни телеграммы через руки учителей не прошло. Только не вздумайте, Таисья Александровна, отпускать сейчас Галину Глебовну.

Он снова рассмеялся и добавил:

— Врагов себе наживете, поверьте мне.

Манковский повернулся ко мне.

— А вы, девушка, заявления об уходе не пишите. Не переводите зря бумагу. Не отпустим мы вас. Директор не отпустит, а я ей помогу. Как это вы, Таисья

Александровна, о Никоненко сказали — «рецидивист матерый»? Да какой уж он матерый, если пакостить умеет, а отвечать — заяц. Сам прибежал ко мне: «Спасите, гражданин начальник, убьют, честное слово, убьют». А за что — не говорит. Спрятали мы его в изолятор, а через полчаса и сами парни пришли. То, что осталось в коробке, принесли и письмо это. Никоненко, видно, думал, что не сделать им этого, потому и не признавался. У него, как говорится, своя логика: кто же в зоне от наркотического средства откажется? Сам не употребит, так продаст. А глядишь, подвела его эта логика. Все ребята мне рассказали, да еще и заявили: не убеги этот подонок — не сдобровать бы ему. Оказывается, как узнали они, что добился он от вас и передачки и письма,— заволновались. А тут еще увидели, что начальник режима в школе был, значит, подозревают. Надзиратели по баракам ходят, ищут, откуда наркотик, а Никоненко и в ус не дует, получает с людей денежки и прячет быстрее. Ребята переживают, как бы вы ему еще чего не принесли, тогда уж точно попадетесь. Пришли к Никоненко и говорят: оставь нашу Галину в покое. А он смеется, записку вашу им показывает. Тогда они озверели и набросились на него, еле ноги унес. Сейчас только перед вами опять они были у меня. Я им говорю: вы, ребята, дурные мысли выкиньте. Когда нужно, и без вас накажем, поняли? А за самосуд, сами знаете... Не пугай, отвечают, гражданин начальник, не пугливые. Скажи лучше, что с учительницей нашей сделаете? Сказал я им, что ничего с их учительницей делать не собираюсь, как работала, так и будет работать. А они мне: тогда и мы ничего делать не будем.

Манковский усмехнулся.

— Поговорили, так сказать.

Он поднялся, подошел к нам, хитровато прищурившись, заговорил, обращаясь ко мне:

— Вот вы смотрели на меня и думали, чего он, старый черт, радуется? Думали так, правда? Обидно вам было? У вас, значит, глаза от слез вспухли, а ему весело. Но радость-то такая, что не могу я ее удержать. Ведь Никоненко парням этим и наркотики задаром отдавал, только чтобы не трогали его. А они не только не взяли себе наркотики, а еще сюда их принесли.

А ведь бывшие наркоманы. Вы хоть понимаете, что это такое, а?

Он густо рассмеялся.

— Давайте провожу я вас немного.

Мы вышли из кабинета. Манковский, осторожно поддерживая Таисью Александровну за локоть, говорил ей доверительно, как хорошему, все понимающему другу:

— Странно, конечно, но в таких вот происшествиях и узнаешь людей. А удивили меня все-таки не ученики ваши, а, как говорится, свой брат. Я этого человека не меньше десяти лет знаю, а понять так и не мог. Вернее, его-то я понимаю: не на месте человек, чего с него спросишь. Другое не понимаю: что его здесь держит? Шел бы в контору какую, сидел бы бумаги переписывал, на счетах щелкал, любит он это — почерк буква к букве, а уж как пощелкать на счетах придется, так цветет весь. И главное, сам ведь знает, что не на месте — есть такие, что и не догадываются,— а этот знает и вроде даже стыдится этого. Поверите, как кукла резиновая. Жмешь — поддается легко, отпустишь — снова тот же. А главное, он действительно постарается сделать все, как сказано, а толку никакого нет. Как думаете, почему так?

— Что же вы меня спрашиваете, когда сами на все ответили,— сказала Таисья Александровна.— Знаю я, о ком вы говорите. Степанов, по-моему, очень несчастный человек. Он в суть своей работы не верит. Как ему поверить в рецидивистов, в то, что они могут людьми стать, если он в самого себя не верит? Но хуже всего то, что, боясь этой работы, он почему-то еще больше боится ее потерять. Отсюда и страх перед начальством, и перед всем, что может лишить его должности. Верно я говорю?

Манковский кивнул.

— Что правда, то правда, страху ему не занимать... Так вот сегодня, я только иду сюда, а он меня уже поджидает, зашел в кабинет весь красный, глаза не прячет, как обычно, и сразу начал без вступления: что, говорит, вы теперь собираетесь с учительницей этой делать? Удивился я, спрашиваю: «Тебя что, парни твои послали?» А он сердито так отвечает: «Они сами придут к вам, я для них не та фигура, чтобы меня уполномочивать». Я, понятно, еще больше удивился: с чего

это он сам себя критиковать взялся — «не та фигура». Рассмеялся. А ему это не понравилось. Вы, говорит, можете меня не уважать, но выслушайте. За себя я бы просить не пришел. Но девушку эту вы не должны увольнять. Я объяснить не знаю как, но получается у нее. Хорошо получается. Раньше я, бывало, ору во все горло: когда курить в секции перестанете, окурки на пол бросать, почему свинарник в бараке развели,— а они в ус не дуют. А сейчас и просить не надо, скажу только: завтра учительница беседу проводить придет,— так они не только секцию и самих себя выскоблят. Раз забыл предупредить, так обиделись. Нельзя ее наказывать!

Манковский удивленно покачал головой.

— Да, не ожидал я от него, не ожидал.

Мы распрощались. Я уже не могла думать ни о чем, кроме одного: как восприняли мои ученики то, что произошло, смогут ли уважать меня после этого?

Мучалась я до той минуты, пока вновь не зашла в свой класс. Мне было неловко поднять глаза на учеников, не хватало воздуху заговорить, а они вели себя так, будто я вернулась после тяжелой болезни и мое выздоровление зависит от них.

Самые хмурые пытались неуклюже шутить, чтобы развеселить меня, зато весельчаки почему-то решили, что мне приятнее видеть их серьезными, и напустили на себя совсем не идущую им строгость. Молчуны старались отвечать как можно длиннее, а ответы говорунов стали воплощением краткости. Сначала я не могла без улыбки смотреть на все это, потом стала недоумевать. Сейчас-то я понимаю, в чем дело. Они чувствуют себя ответственными за меня, потому что уже сделали для меня что-то. Так же, как я поняла, что теперь отвечаю за Барбакова, когда вычеркнула его из принесенного Шелеховым списка...

«МЫ ВАС БУДЕМ ЖДАТЬ»

Вот и дождались мы весны. Только здесь это далеко не лучшее время года. Целыми сутками льют тяжелые мутные дожди. Река вышла из берегов, и вода подошла уже к конторе, к зданию клуба.

Самые отчаянные наши шоферы на несколько дней оставили попытки пробиться в город, и сейчас почта к нам, как в песне о тайге,— «не спешит». А я так жду ответа из Москвы по делу Гулько.

Последнее письмо было от Люды Пермяковой, моей институтской подруги, с которой прожили мы бок о бок все пять лет в нашем шумном студенческом общежитии. Пишет, что получила комнату в новом доме, что страшно соскучилась, и очень зовет к себе, в горняцкий городок — километрах в 150 от нашего поселка,— где она работает в только что построенной трехэтажной школе. Литераторы там нужны, и она может «хоть сейчас обо всем договориться».

Оставить все и уехать?

Нет, попала я сюда случайно, но уйти так просто уже не могу. Я верю, что пусть немного, пусть в чем-то, но все-таки помогаю моим ученикам нащупать твердую почву под ногами, найти в себе «колокольчик, который тронешь — и человек зазвенит самым прекрасным в нем». Я верю, что такой «колокольчик» есть у Барбакова, Голованова, Перепевина, у вечно хмурого Боровикова. Но, думается мне, нет его у Соколова. Его преступление вроде бы не такое опасное, как у них,— он растратчик. Но дело Соколова распухло от жалоб на сослуживцев, на женщину, которой он клялся в любви,— он все время на кого-нибудь жалуется устно или письменно, пытаясь свалить вину на других. Такому не поможешь найти настоящую правду, потому что нет для него ничего святого, кроме собственного «я».

...И наконец он настает, последний день учебного года. Врывается в раскрытые окна класса лесной ветерок. Я объявляю отметки за год, диктую список учебников, а за моей спиной во всю доску густо белеет одна фраза:

МЫ ВАС БУДЕМ ЖДАТЬ!

ВЕРА КУДРЯВЦЕВА

Вера Кудрявцева родилась и выросла в старинном сибирском лесном селе Ново-Подзорново.

Окончив филологический факультет Новокузнецкого пединститута, десять лет проработала в школе. В 1970 году заочно окончила сценарный факультет ВГИКа.

Вера Кудрявцева живет и работает в Свердловске.

Она — автор сценариев документальных фильмов Свердловского телевидения «Ветер и паруса» (об отряде В. Крапивина «Каравелла») и «Сестры Петровы» (о династии животноводов Петровых из совхоза «Пионер» Талицкого района). Сестры Петровы и стали прототипами героинь повести «В том краю, где твоя береза».

ПОСЛЕ ТРЕВОГ...

Повесть

После тревог
Спит городок.
Я услышал мелодию вальса
И сюда заглянул на часок...

Юлька пела, стоя на высоком школьном крыльце, как на сцене. Худенькие ее руки раскинулись, словно для полета. Казалось, она не удержится и вот-вот сорвется с этих подмостков — высокого школьного крыльца — и закружится в тишине неба.

Юлька танцевать не умела, и поэтому ей приходилось петь, а девчонки парами сосредоточенно топтались по кругу.

Отодвинулась к самому забору и без того просторной ограды прошлогодняя поленница. Потеснились вынесенные во двор для ремонта пестрые от заплат парты.

Танцевали девчонки. Одни легко, едва касаясь босыми ногами травы,— уже научились. Другие старательно, вытаращив глаза от напряжения. На жердочках, прогретых солнцем, расселись девчонки помоложе, завидовали. Которые посмелее, топтались на примятой траве ограды, мешали старшеклассницам. И только мальчишки не удостаивали внимания это никчемушное, на их взгляд, занятие, щелкали в стороне бичами, прыгали с поленницы и то и дело поглядывали в сторону деревни.

— «Ночь коротка...» — пела Юлька, пытаясь кружиться на своем пятачке. Стукнулась об огромный замок на школьных дверях, вскрикнула от боли. И сразу споткнулся весь круг танцующих. Но, потирая ушибленное плечо, Юлька неутомимо продолжала петь, дирижируя свободной рукой:

...И лежит у меня на погоне
Незнакомая ваша рука...

Заработало было, закружилось живое колесо, да мальчишеский голос выкрикнул: «Идет!»

Круг распался.

Юлька сорвалась наконец с крыльца, шлепнула босыми пятками в траву, первой оказалась за калиткой. Девчонки, разобрав свои прутики-вички, высыпали на поляну. Не поляна — огромное поле, отделяющее окраину от пришкольного леса. От деревни, не торопясь, степенно шел паренек с длиннорукой деревянной лаптой. Его-то и ждали без дела скучающие мальчишки, закричали нетерпеливо:

— Минька! Ты чо телишься? Скорея!

Игра начиналась с деления всех на две команды. Пара за парой подходили к «маткам»:

— Бочка с салом или казак с кинжалом?

Скоро замелькала длиннорукая лапта, застонал под ее меткими ударами мяч и, описывая пологую дугу над закипающей страстями поляной, исчезал в сине-зеленом просторе.

Сверкали пятки, сверкали зубы, развевались на ветру вихры — игра набирала темп.

— Мазила!

— Бей!

— Шпарь!

— Гони!

— Перехватывай!

— Держи!

— Соли!

Никто не заметил, когда прихромал на поляну солдат Илья. Азартно следил он за мячом, нетерпеливо сжимал отполированный костыль, будто ручку лапты. Не выдержал, скрипнул костылем:

— Дай ррразок!

Перекинул костыль в другую руку, пальцы вросли в дерево лапты. А-а-ахнул мяч! Проводил его взглядом солдат, смахнул пот со лба.

— Хошь еще? — восхищенно смотрел на него подавала.

— Играй,— отмахнулся солдат.

А вечер уже дошагал до поляны длинными тенями. Далеко-далеко на пригорке зашевелились пестрые пятна коровьего стада. И сразу потянулись из всех переулков деревни старухи с вичками, старики.

А лапта гомонила. Глухо вздыхал мяч, метались упаренные беготней ребятишки.

Показались из-за леса подводы: возвращались с покоса колхозники. Как услыхали вздохи мяча мужики в выгоревших гимнастерках, повскакивали с телег.

— Степан! Ефим! — заголосили им вслед женщины.— Вечер ить! Со скотиной надо управляться!

Отмахнулись в ответ мужики. Усталости как не бывало. Новой жизнью зажила поляна. Мяч туго врезался в небо, выписывая на нем такие траектории, что можно было всей командой дважды добежать до заветного колышка и назад вернуться.

Постоял-постоял заколебавшийся было самый пожилой фронтовик дядя Ларивон:

— Эх! У Авдотьи моей капустка хороша! — не выдержал, сбросил с ног пропыленные сапоги, размотал портянки.

— Гля! Гля! — захохотала, забыв, что рот-то без зубов, старуха.— Разобрало Ларивона! Туда же! Тьфу!

А Ларивон катился по полю на кривых ногах, обтянутых галифе. Вот наступил на тесемку, упал, ругнулся беззлобно: «У Авдотьи моей капустка хороша!» — дальше покатился, не выпуская из виду мяча.

Уже вползало в деревню стадо. Но все яростнее разгоралась лапта. Уже сняли гимнастерки мужики, уже давно вытеснили мальчишек с основных постов игры. Словно впервые, только сейчас, добравшись до игры, поняли солдаты, что дома они наконец, дома, на той самой поляне, которую не раз вспоминали вдали от родной деревни, и вспоминали-то не иначе как оглашенную лаптой.

Вертелся нетерпеливо молодой солдат Илья вокруг своего костыля, «болел» за каждый промах, восхищался настоящему удару по мячу.

— Эх, лупят! — выкрикивал тонко старик.— Инда руки, якорь его, зудят! — и то и дело почесывал двумя пальцами бородку.

— Да, настоящая опеть лапта пошла, слава тебе, господи! С мужиками,— откликнулся другой. Но ничто не дрогнуло в закаменевшем его лице. Скорбно было это лицо: то ли молодость вспомнил старик, то ли сыновей, не вернувшихся к лапте. Вот и старуха притихла, слезинку смахнула — мало уж их осталось, все выплакала. И вдова молодая, что спешила к стаду, словно запнулась вдруг, наткнувшись взглядом на крепкую солдат-

скую спину. Опустила поскорее глаза, чтобы не выдать, о чем в этот миг затосковало сердце. Растревожила всех лапта, за живое взяла. И про стадо, беспризорно расползающееся по переулкам и дворам, позабыли люди. Жила на просторной поляне исконная русская игра лапта.

А в противоположном конце поляны, за редкими березками, что отстали от длинноногого табуна деревьев, показался молодой офицер с вещмешком за плечами. Люди были заняты лаптой, и Павел подходил никем не замеченный, радуясь, что почти вся деревня в сборе, и волнуясь от этого еще больше.

Подойдя к границе игры, он жадно окинул взглядом плотное кольцо людей, окаймляющее живое поле. Матери не было. Навстречу Павлу под мощный вал крика катился, болтая тесемками галифе, дядя Ларивон, пытаясь догнать летящий впереди мяч. Не успев сообразить, как вести себя, Павел ловко поддел мяч носком сапога.

— Ты чо! — выкрикнул Ларивон.— Это ить тебе не валетбол!

— Не футбол, хотел ты сказать, дядя Ларивон? — засмеялся Павел.

Опешил старый солдат.

— Панка! — не верил своим глазам.— Панка! Живой! — И тискал поджарого Павла своими мохнатыми лапищами, и приговаривал свое любимое: «Эх, у Авдотьи моей капустка хороша!»

Лапта смешалась. Все — и игроки, и болельщики — сгрудились вокруг Павла.

— Дядя Степан! Дядя Ефим! — крепко сжимал он шершавые руки.— Илюха!

— Да вот, видишь? — показал Илья на костыль.

А к Павлу рвались женщины:

— Да где ты оставил го-дочков-то своих?

— А Васеня-то, Васеня! За Васеней бегите!

Только Юлька осталась по-за кругом. Вспомнилось ей, как провожали новобранцев на фронт. Как сейчас видит: идет она, двенадцатилетняя девчонка, по заснеженной улице. Покачиваются на коромысле ведерки,

полные синего холода. А у сельсовета играют в снежки новобранцы. Стриженные и оттого круглые, как кочаны капусты, головы обнажены, глаза озорно сверкают, зубы блестят. И беспричинный, беспечный хохот висит в воздухе. Будто не на войну едут парни, а в соседнюю деревню на свадьбу. Засмотрелась Юлька тогда, вздрогнула, когда Павел окликнул ее:

— Эй! Ульянка! Напои-ка на дорожку!

— Это я по метрике — Ульяна, а зовут — Юлька,— строго сказала она.

Парни глотали из ее ведерышек синий холод, передавали их друг другу, как кринки с молоком. Совсем рядом пьет Павел, Панка, так все зовут его в деревне. Крупно глотает, неторопливо. На стеганку стекает два ручейка.

— Эх, хороша водица! Обжигает! — На подбородке блестит росинка.

Юлька заплакала.

— Ты чего это, Ульянка? — заглянул он в ее глаза.

— Жалко, шибко тебя жалко, Панка! — и, спохватившись, добавила: — И всех вас жалко шибко...

Дрогнуло лицо Павла, обнял ее вместе с коромыслицем.

— По коням! — донеслась команда. Из сельсовета пестрой толпой высыпала родня. Запричитали женщины.

— Вернусь, Тоньша! Ты только жди, Тоньша! — шептал светловолосой голубоглазой своей однокласснице Петьша, Панкин друг. Оправляли сбрую на лошадях старики. Не снимая рук с Юлькиного коромысла, смотрел и Павел на Тоню, хотел попрощаться, да не отходил от нее Петьша, вглядывался с отчаянием в ее голубые, как утренний снег, глаза. К Павлу молча приникла мать.

Лошади взяли рысцой. Новобранцы отрывались от родных, сыпались в кошевки. Уже на ходу Павел отыскал глазами Юльку, одиноко стоявшую в сторонке с коромыслицем на плечах, пообещал при всех:

— Я вернусь, Ульянка! Вернусь! А ты расти поскорея!

И вот он вернулся. Он, Панка.

— Да где же ты оставил-растерял дружков своих закадычны-их? — причитала Сергеевна, припадая голо-

вой к медалям да орденам, густо украшавшим грудь Павла.— Да где же они, годо-очки твои?

— Пойдем, Сергеевна, пойдем,— осторожно освобождал Павла от старухи дядя Ларивон.— Пойдем. Дай солдату передохнуть.— И сам крепко сжимал зубы, чтобы, как Сергеевна, не зареветь в голос: ведь лучшим другом был Панка сыну его.

— Панка! — опередил взмах лапты задыхающийся крик. Расталкивая сельчан, рвалась к нему мать, Васеня.— Варначище! Лихоимец ты эдакий! — ругала она сына так, словно не было четырехлетней разлуки, а просто ее Панка вовремя не вернулся с игрища.— Варнак! Удумал забаву! А мать тут жди его, окаянного! Счас огрею лаптой этой по загривку твому!

Павел, как самую лучшую на свете музыку, слушал эти слова, и лицо его вздрагивало от волнения. Он не шелохнулся, пока мать не приблизилась к нему, не прильнула, истосковавшаяся.

— Панка, кровиночка моя,— проговорила только губами, для одного сына проговорила. Но так тихо стало вокруг, что слова эти долетели до каждого, кто был на поляне.

Доставали мужики поспешно кисеты, ловко высекали из кресала искру, закуривали, отворачивались, чтобы не видеть старух, стариков, вдов, их ребятишек, засмотревшихся на счастье чужой встречи. Будто в чем-то были виноваты они, несколько мужиков-солдат, доживших до этого вечера.

Повиснув на плече сына, уводила его тетка Васеня с поляны. Гуртом семенили за ними мальчишки, спорили, кому нести вещмешок. Группками растекались по переулкам люди.

Юлька рвалась глазами за Павлом: не заметил, не узнал, не оглянулся.

Отец Юльки погиб в сорок первом. Оплакивая его, теперь все свои радости и надежды связывала она с возвращением Павла. Шла год за годом война. Взрослела Юлька. И врослела ее детская любовь к солдату.

— Улька! — окликнул ее от огородов материн голос.— Пестрянка, якорь-то ее, где-то шляется! Гони-и!

Юлька заторопилась в лес. Перед ней кудлато рос куст крапивы. «Если перепрыгну,— загадала она

вдруг,— то...» И она разбежалась и прыгнула! И — в самую середину куста.

— Ой! — взвизгнула на всю поляну, кубарем выкатилась из крапивы, растирая изжаленные ноги. Хорошо, что никто не видел.— Прямо что! — сердито ответила кудлатому кусту.— Так я тебе и поверила!

Павел угодил к самому сенокосу. Косил он, не чувствуя усталости. Натосковавшиеся по деревенской работе руки крепко держали литовку. Косил он ладно, красиво, чисто прокашивал ряд, ровной волной укладывал траву. Сзади шел дед Бондарь. Давно уже забыли в деревне его настоящее имя, звали по ремеслу — Бондарь да Бондарь. За ним тетенька Шишка. Ее опять за бородавку на носу так величали. Дальше шла тетя Танечка, маленькая, кругленькая, яркоглазая вдова. А за тетей Танечкой Минька. Он еле успевал за взрослыми косцами, но храбрился, то и дело покрикивал:

— Поторапливайтесь, бабоньки! Пятки подкошу!

Юлька вместе с другими девчатами сгребала чуть поодаль сухое сено в огромные перекати-поле и видела только Павла. Да и не она одна. Поглядывали на его играющую мускулами спину и хохотушка Лариска, и длиннолицая перезревшая девушка Соня.

В конце ряда Павел остановился, прислушался. Легонько пошумливал лес, стрекотали кузнечики. С соседнего покоса, где мужики и бабы дометывали зарод, слышались вздохи нелегкой работы...

— Ну, брат Панка, пристал я за тобой гоняться! — дед Бондарь достал из-за голенища брусок.

— Жжиг-жжиг,— заходил он у него в руках. Павел тоже достал брусок. Ловко, будто делал это каждый день, навострил косу.

— Стосковались, видать, руки-то по литовке?

— Стосковались, дедушка Бондарь,— ответил Павел, а глаза не могли оторваться от лощины, на краю которой кончался покос. Давно выкошенная, она казалась такой прибранной да нарядной от сочной отавы. Ну хоть ложись на бок да и катись так до самой речки. А между тем косари наточили литовки, и Минька захорохорился:

— Ну, что стали? Пятки подрежу!

Теперь Павел шел в сторону девушек, и Юлька могла смотреть на него, сколько душе хотелось. Она торопливо скатывала просушенное звонкое сено в огромные валки, поднимала, царапая шею, руки, неподдающийся живой ворох, помогала коленом и смотрела, смотрела сквозь решето былинок на Павла. Вот не заметила копну, прошла мимо.

— Юлька! — засмеялась на весь покос Лариска.— Ты чо это сегодня? Ничего не видишь, окромя...— И она хитро прищурилась в сторону Павла.

— Дурочка ты, Лариска! — одернула ее Соня.— Одно на уме.

Юлька испугалась разоблачения, заработала проворнее, бегая от валка к валку, и уже опасалась глядеть в сторону Павла. А глаза сами просились туда, неподвластные ей.

Нарядная, в молодой отаве лощина сбегала к звонкой проворной речке Шадрихе. Заглушая древнюю неторопливую ее песню, хохотал Павел, бросал пригоршни воды в девчонок. Те повизгивали довольные.

Юлька прыгала по промытым таежной водой камешкам, искала место поглубже. Нашла, зачерпнула ведерышко. Не успела разогнуться, вздрогнула, замерла над серебристой струей.

— Дай напиться солдату!

Павел взял ведерко, будто кринку с молоком. Глотал крупно. На подбородке блестела росинка. Непрошеные слезы комком застряли в горле Юльки.

Павел оторвался наконец от ведерка, вздохнул шумно: устал пить. Посмотрел на Юльку, будто спросил:

«Ну, что так смотришь?»

«А ты?» — ответили Юлькины глаза.

«Выросла!» — сказали его.

«Правда?» — вспыхнули радостью Юлькины.

«Правда!» — подтвердили его.

— Пришла Лариска, подсела близко! — ревниво прервала этот диалог Лариска, села на бережок поближе к ним.

— А что, на выпасах есть еще запруда? — спросил Павел.

— Есть! — обрадовалась было Лариска.— Купаться! Купаться! — затанцевала на берегу. Но в это время из-за леса выкатился на своих кавалерийских ногах, обтянутых галифе, дядя Ларивон, закричал тонко:

— Скорея, у Авдотьи моей капустка хороша! Не видите, ли чо ли?

Бровастая туча ползла к покосу. Засновали по нему люди. Будто соревнование началось между ними и тучей: кто кого?

С открытым, как у птахи, ротиком, металась от вороха к вороху Лариска. У тетеньки Шишки сбился с головы платок, мешали волосы. Она не замечала, подстегивала лошадь, обвивала готовую копну веревкой, волокла к стогу. Там, как автомат, работал Павел. Склонялся, целился вилами в ворох сена, поднимал огромный навильник деду Бондарю, опять склонялся, целился вилами в ворох сена, поднимал деду Бондарю. Тот, не суетясь, посасывая трубочку, словно не было над головой тучи, утаптывал в стог навильник за навильником.

— Эх, прольет, наскрозь прольет,— ругал тучу дядя Ларивон, катаясь по стерне, поторапливая: — Поскорея, девоньки! Поскорея, бабоньки!

Павел работал не только не чувствуя усталости, а самозабвенно, с радостью отдаваясь общему ритму. Каждый мускул его тела знал сам, что от него требуется в любое мгновение, и оттого особенно легко становилось на сердце. Он крепко стоял на земле, но в то же время ему казалось, что какая-то сила приподняла его вместе с вилами, с зародом, на котором, посасывая трубочку, колдовал дед Бондарь, и он парит над всеми, как это бывает во сне. И оттого, что он приподнялся, и тело его, и вороха сена, которые он вскидывал и вскидывал над головой, казались невесомыми.

А там, внизу, танцевала свой сложный танец Юлька-Ульянка.

Катила, помогая всем своим легким корпусом, огромный ворох, обнимала его, зарываясь в него с головой, несла, покачиваясь.

Вот не удержалась, передолил он ее к земле.

— Ха-ха-ха! — рассыпалась звонко Лариска.

Растут копешки. Бороздят по стерне волокуши. А туча ползет. Шумит угрожающе навстречу ей лес.

Все это сливается для Павла в одну симфонию, успокаивающую, благостную.

И когда скатился с зарода дед Бондарь, Павел даже пожалел, что пришло время всему этому остановиться. Первые капли дождя шлепнули по горячим плечам.

— Успели! У Авдотьи моей капустка хороша! — ликовал дядя Ларивон, стягивая потемневшую от пота гимнастерку.

Повизгивая, вытряхивала из-под кофточки набившееся всюду сено Лариска. Спрятались в шалаш женщины, а с ними упаренный, еле живой Минька. Смотрел на свою работу дед Бондарь придирчиво. Юлька причесывала стог граблями, не торопилась в шалаш.

Павел стоял, бросив вдоль тела гудящие от работы руки.

Затих лес. Притаились птицы. Только сено под граблями Юльки шуршало сухо.

— Ну и ловенький же ты, парень! — похвалил Павла дядя Ларивон и позвал: — Лезь в шалаш! И ты, Улька, хватит стог-то прихорашивать. Промокнешь!

Проворчала предостерегающе туча, ниже опустилась над лесом. Самый смелый ветерок затаился в листве. Вдруг рванула молния небо, ударил гром. И хлынул в эту прореху ливень.

Юлька прижалась к стогу. Павел подставил дождю лицо, засмеялся:

— Не бойся! Иди! Он теплый, как парное молоко.

Молния опять с треском распорола небо, ливень припустил.

Босые, промокшие до нитки, купались под ним Павел с Юлькой. На молодой отаве оставались темные, перепутанные их следы.

— Я тоже! — позавидовала Лариска и высунулась было из шалаша.

— Сиди! — цыкнула на нее Соня.— Не мешай!

Частил, ослабевая, дождь, уходил в сторону, и, словно догоняя его, бежали за ним Павел с Юлькой.

Остановились только у развилки заросших, мало хоженных тропинок. Не сговариваясь, свернули на одну из них.

А небо постепенно успокаивалось, далеко где-то озаряясь беззвучно. Ровно шумел по листве некрупный

частый дождь. Так ровно, что, казалось, заговорила сама тишина. Все прозрачней становилась туча, испаряясь мелким безобидным дождиком. Он слегка пошумел еще по листве и скоро затих совсем. А вместо него заструилось отдохнувшее солнце, и каждым листочком засверкал лес.

Павел словно забыл о Юльке, шел неторопливо, подолгу оглядывал каждый куст, каждое дерево, будто здоровался с ними. И Юлька не мешала ему. Чуть поотстав, брела по колено в росистой траве.

Неожиданно показалась избушка. За ней ровными рядами белели в зелени ульи.

— К пасеке вышли? — остановился удивленно Павел.

— Ага! — озорно улыбнулась Юлька.

— И дед Футынуты живой?

— А чего ему?

На низеньком крылечке показался сухонький старичок, до глаз заросший сединой.

— Фу ты, ну ты! — сказал он неожиданно свежим басом.— Гости привалили!

Они брали из широкой глиняной миски золотистые соты. Янтарно блестел мед в ячейках. Павел ел, прижмуриваясь от удовольствия. Юлька облизывала пальцы, смеялась, поглядывая на него. А дед Футынуты пододвигал к ним поближе новую миску с темным, как топленое масло, медом.

— Этот свеженький, парной, отведайте! Да ложками! Фу ты, ну ты! Ложками! С огурчиками вот!

Они хрустели свежими огурцами, прихлебывали парным медом, запивали ключевой водой.

— На воду-то не налегайте,— бубнил дед.— Мед-то парной, а вода из ключа — нутре настудить недолго! — и, выглядывая хитренько из седых зарослей, приговаривал: — Фу ты, ну ты!

Вечерело, когда Юлька и Павел возвращались к покосам. Лес словно опустел. Стало тихо и покойно. Длинные тени от деревьев, от стогов падали на гладкие, вычищенные граблями поляны.

Потом они шли, окутанные прохладными сумерками. Пропищала где-то птаха, устраиваясь на ночлег... Стукнулась о лист росинка...

На мурманской дороге
Стояли три сосны.
Прощался со мной милый
До будущей весны...

Откуда-то издалека, из-за темнеющего леса, донеслась песня и словно растаяла в тумане, приютившемся на ночлег в низине.

— Мятой пахнет! — улыбнулся Павел.

— Здесь ее много! — и Юлька исчезла за деревьями. Через мгновение появилась с пучком бархатистой травы мяты. Слегка растерев ее, протянула Павлу. Он склонился к ее ладоням, вдохнул пьянящий аромат. А она уже бежала в другую сторону.

— Вот здесь белоголовник, помнишь? Чай им заваривали,— и возвращалась с огромным букетом уже осыпающегося белоголовника. И он отведывал дурманящего запаха цветов.

— А здесь мы всегда березовку пили, помнишь?

— А на ту елань за клубникой бегали!

Он не успевал отвечать, с удивлением прислушиваясь к тому, как откликается на все, что он видит, его душа.

— А сейчас болото будет. Слышишь? Смородешником пахнет! Здесь его мно-ожина! Только ягоды мелкие, место открытое!

Забелели березовые слеги, переброшенные через неширокую топь. Павел ступил на них первым, покачался, крепко ли лежат, позвал Юльку.

— Я потом! Ты иди! — и смотрела, как пружинят под его ногами березовые слеги. Потом заскользила по ним сама. Павел ждал на берегу болотца.

— А я сейчас что-то сделаю! — Юльке захотелось, чтобы он подождал ее подольше. Она окунула в черную жижу сначала одну, потом другую ногу:

— Смотри! Сапожки надела!

Он смотрел. Жар бросился ей в лицо. У края слеги увидела оконце воды, смыла поскорее «сапожки» и, чтобы скрыть смущение, объяснила:

— Мы всегда с девчонками так делали, кто хотел

сапожки, надевал сапожки, кто хотел туфли, надевал туфли...

Юлька медлила. Она испугалась: а вдруг она сейчас подойдет к нему, а он возьмет да обнимет ее. Или даже поцелует. Голова закружилась от этих мыслей, и она чуть не угодила в черную жижу. Павел протянул ей руку. «А, будь что будет!» — решилась Юлька. Но ничего не было. Даже ничегошеньки! Просто Павел посмотрел на нее так, словно только теперь увидел, и проговорил удивленно:

— Ах ты, Юлька, по метрике — Ульянка, как же ты выросла! Была ведь вот всего какая!

«Сам велел вырасти!» — подумала чем-то расстроенная Юлька и осторожненько высвободила из его ладони свою руку.

Когда они вернулись к покосникам, те сидели у костра, пели. Павел тихонько прилег на ворох сена, заслушался. Такой уж выдался у него день: щедро возвращалось солдату все, что было отнято на срок войны. И радость работы, и радость узнавания тропинок детства, и вот теперь — песня. Сколько их певала ему мать. Потом, казалось, они забылись в мальчишеских заботах. Но это только казалось. В первый же год войны Павла тяжело ранило. Он не помнит, сколько лежал, истекая кровью. Очнулся оттого, что кто-то сказал: «Выноси!» И в тот же миг услышал: поет мать. Песня жалуется на что-то, слабеет, вот-вот умрет.

— Выноси,— просит Павел.— Выноси!

И мать слушается его, подхватывает песню, поднимает высоко-высоко, спасает.

Сейчас песню выносила Юлька. Голос у нее был не очень сильный, и поднимала она песню невысоко, но это придавало ей задушевность, сердечность.

Песня растворилась в ночи. Павел вспомнил:

— А у нас в классе Тоньша Козлова выносила всегда.— И добавил, помолчав: — Где-то не видно ее в деревне.

— Тоньша-то? — встрепенулась Лариска.— Так она же в войну ФЗО кончила, в городе теперь работает. А по субботам приезжает. На танцы. Ага! Ох и танцует!

— Правда? — оживился Павел.— Приезжает?

Таким радостным Юлька не видела Павла за весь день. Она отвернулась от костра. Далеко, на фоне остывшего неба, увидела жеребенка Орлика. Она пошла туда. В нескольких шагах от костра уже ничего не было видно, наверно, поэтому никто не заметил, как она исчезла, никто не окликнул.

Незаконченным рисунком застыл вдали Орлик, будто ждал Юльку. Она трепала его гриву, кормила хлебом. Теплые губы щекотали ладони. Отсюда костер казался свечкой.

Когда она вернулась, все танцевали, напевая каждый себе мелодию самого знакомого вальса:

После тревог
Спит городок...

Соня первой заметила Юльку, зашептала что-то Павлу — ее он кружил по стерне.

— Ульянка! — обернулся Павел.— Прошу, мадемуазель! — пригласил галантно.

— Не умею я...

— А я тебя научу!

— У Авдотьи моей капустка хороша! — ругнулся из шалаша дядя Ларивон.— Вы угомонитесь нынче?

Танец не состоялся.

— Приходи в субботу в клуб на танцы, я тебя научу!

— Не хожу я в клуб.

— А ты приходи, большая уже...

Как волновалась Юлька, собираясь в клуб. Нагладила свое единственное выходное платье, начистила мелом тапочки, так что он сыпался с них белой пылью. Повертелась перед зеркалом. Нет, чего-то недостает! И тут взгляд ее скользнул, а потом надолго задержался на белоснежном полотенце, обрамлявшем по обычаю передний угол горницы — божницу. Концы полотенца были украшены старинными тонкими кружевами. Не раздумывая, Юлька откромсала кружева, торопясь, пришила к платью. Вот теперь совсем другое дело! Юлька даже на табуретку взобралась, чтобы всю себя рассмотреть в потускневшем от времени зеркале. Кружевной воротник нарядно оттенял нежный загар лица.

Радостная, полная неясной тревоги, выпорхнула она за калитку.

— Улька! — долетел до нее возмущенный голос матери.— Ты сдурела, ли чо ли? Полотенце-то! Ведь бабушкино полотенце-то! Память последняя!

Но разве до того было Юльке? Едва касаясь травы, влажной от вечерней росы, торопилась она на голос гармошки:

После тревог
Спит городок,
Я услышел мелодию вальса
И решил заглянуть на часок...

В клубе было людно, не сразу и разглядишь танцующих.

— Юлька,— протиснулась к ней Лариска.— Смотри! Минька-то! Вырядился! — и захохотала в ладошку.

Как ни волновалась Юлька, а тоже не могла сдержаться: уж очень смешно было смотреть на длинновязого Миньку. Минька стоял у стенки, как на выставке, в черном, модном, бог знает где добытом пиджаке и выгоревших галифе и то и дело смахивал с себя невидимые пылинки, солидно промокал лоб свернутым нездешним платком и, забывая, толкал его в карман галифе. Тут же спохватывался и кропотливо вправлял платок в нагрудный карман пиджака, уголком наружу.

Но Юлька уже не смотрела на Миньку. Среди всех танцующих она видела только одну пару — Павла и Тоню. Они танцевали так, будто были одни в зале и будто только для них одних играл слепой дядя Тимофей, будто для них одних пел он сипловатым голосом:

Будем дружить,
Петь и кружить...

Может быть, Павел почувствовал Юлькин неотрывный взгляд, а может случайно, но вот он повернулся к Юльке и подмигнул озорно. И опять никого — ни Юльки, ни этого шума, ни этих стен — не существовало для него, кроме светленькой девушки Тони.

Юлька бежала домой, не разбирая дороги, перепрыгивая канавы и кусты, а сипловатый голос дяди Тимо-

фея несся ей вслед. Она с силой захлопнула калитку, словно боялась, что и здесь будет слышен этот голос.

Во дворе все спало. Молчала береза, распустив на ночь темные пряди. Немо смотрела на блеклую луну изба. Только постанывали во сне куры, да сыто вздыхала в стойле корова.

Юлька присела на ступеньку крыльца и жалобно, по-детски заплакала, размазывая по щекам слезы и приговаривая:

— Конечно! Где уж мне до нее! Вон она какая вся городская стала! И брови! И волосы! И туфли! А он-то! Обещал научить танцевать, а сам...

Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня на погоне, —

долетал и сюда голос дяди Тимофея. Юлька представляла, как кружит сейчас Павел Тоню, и плакала еще горше.

Потом все было, как раньше. Тоня уехала в город, а Юлькина бригада работала. Косили переросшую траву, сгребали ее в копешки, метали зароды.

Озорничала Лариска, тосковала Соня. Ждала своей тайны Юлька, исподтишка поглядывая на Павла.

Но однажды утром, когда вся бригада собралась у конторы, Павел не пришел. С тревогой всматривалась в даль улицы Юлька. Уже заняли женщины на телеге места получше, уже докурили мужики самокрутки, а дед Бондарь закончил отбивать литовки. Павла не было.

— Но! У Авдотьи моей капустка хороша! — тронул лошадей дядя Ларивон. Юлька опустила голову. Медленно вращались перед глазами спицы колеса: ехали в гору.

— Глянь-ка! — толкнула Юльку Лариска.

По дороге, что убегала в город, шли Павел и Тоня. Павел шагал широко, по-солдатски, не ощущая ни тяжести рюкзака за спиной, ни тяжести Тониного чемодана.

Тоня семенила рядом, размахивала руками, видно, рассказывала что-то веселое...

Молча смотрела им вслед бригада покосников. Только тетенька Шишка проворчала:

— Сама — отрезанный ломоть, и его за собой сманила, варначка!

Крепко, так что пальцы побелели, ухватилась Юлька за край телеги. Все быстрей вращались спицы колеса перед глазами.

Вечером она пришивала к полотенцу кружева, старательно, крепко, будто знала: не придется больше отпарывать.

А дни шли за днями. Кончился сенокос, началась другая страда. Юлька попросилась работать на комбайн, опрокидывала солому. Пыльно, но зато она весь день была одна: так ей хотелось. По субботам Павел и Тоня приезжали из города вместе. Вечерами танцевали в клубе. На следующий день уезжали.

Потом приезжать перестали.

— Панка-то с Тоньшей не поженились ли? — спрашивали тетю Васеню любопытные соседи.

— Живут по разным общежитиям,— хмурилась тетя Васеня.— А кто их знает, разве они спросят?

«Как же так? — думала Юлька.— Ведь Тоньша любила Петю. И на фронт его провожала. Неужели и я забуду Панку?» — пугалась она.

Созрели Юлькины цветы. Палисадник превратился в огромную корзину. Пожаром горели в ней ноготки, свесили на грудь тяжелые головы георгины, скромно толпились рядом стайки белых астр. Юлька срывала самые крупные, самые свежие цветы, складывала уже не в букет, а в охапку. И представляла, как обрадуется Ольга Леонидовна, любимая учительница. Она приехала к ним в село после прорыва блокады и теперь не возвращалась домой, в Ленинград, потому что хотела выпустить Юлькин десятый класс.

Не одна Юлька принесла цветы. Они стояли на подоконниках класса, на столе и даже в ведре на полу. Ольга Леонидовна внимательно всматривалась в лица своих повзрослевших за лето учеников.

Порадовалась неиссякаемому веселью Лариски. Заглянула в тревожные глаза Юльки, будто спросила: «Что с тобой, девочка?» И только после этого поздоровалась:

— Гутен морген, фройндин!

Потянулись школьные дни. Юльке стало не до любви. Но однажды ворвалась в класс опоздавшая Лариска, шумно устроилась рядом, прошептала, задыхаясь от волнения, что сообщает подружке такую новость:

— Панка, говорят, приехал навовсе! Только хворый!

Закружилось все перед глазами Юльки, не сразу поняла, что к доске ее вызывают.

Стояла перед классом дура дурой.

— Что с вами, Юля? — Ольге Леонидовне не хотелось ставить Юльке «плохо», и она задала самый легкий вопрос: — Назовите неотделяемые приставки.

Юлька молчала.

— Беги, офицер! Беги, офицер! — старалась изо всех сил Лариска, подсказывала. Но Юлька ничего не понимала.

Когда шли домой по опавшей листве, спросила:

— Ты чего это, Лариска, про офицера мне кричала? Я не знала, куда деваться!

— -Бе, -ге, -оф, -ер, -цер,— неотделяемые приставки. Получается: «Беги, офицер». А ты-то что подумала! — и Лариска расхохоталась на всю улицу. Но вдруг замолчала. Остановились обе, будто испугались чего-то. К пряслу огорода, раздетая, простоволосая, прислонилась головой тетя Васеня:

— Да он у меня не пое-ел, да он у меня не попиил! — причитала, как над покойником. Девушки подхватили ее под руки, увели в дом. Немного успокоившись, она рассказала им, скорбно поглядывая на дверь в горницу:

— Ненадежный он шибко, врачиха сказывала. Все нутре изранено. Ни к чему ему было на тем заводе работать. Не жилец, видно, на белом свете.

Юлька заглянула в горницу, подкосились ноги. Павел лежал высоко на подушках. Лицо его было незнакомо холодно, рука безжизненно повисла до пола. Юлько заплакала.

За спиной шептала тетя Васеня:

— Сказывают, своим средствием подымать надо. Мед нужон, яички, воздух, мол, сосновый, а главно дело — барсучий жир. А где же я возьму все это? На каки таки доходы? Коровенка и та доить перестала, стельная, видно...

Слух о болезни Павла быстро разлетелся по деревне. И пошли к Васене люди, кто с чем. Соседки приносили свежее молоко. Тетенька Шишка поставила на стол корзинку яичек.

— У меня всюе зиму несутся, к паске еще накоплю.

Дед Бондарь принес мешочек муки.

— Довоенная еще,— объяснил.— Берег, думал, Ваньша вернется. Теперь ни к чему. Бери, крупчатка мука-то, помол самый что ни на есть мелкий, покойник Афанасий Филимонович еще молол, царство ему небесное...

Дядя Ларивон долго развертывал валенки. Как скатал, тщательно завернул в тряпицу, так и не трогал.

— Петьше готовил. Думал, придет — порадуется. Новехоньки. Вишь, пачкаются еще. Панка встанет, ему тепло ногам надо...

У Васени не было сил благодарить, все плакала.

Юлька уговорила мать продать баян отца. Придумала она на эти деньги во что бы то ни стало барсучий жир достать.

Позвали слепого дядю Тимофея. Он по-хозяйски огладил баян со всех сторон, потом сел на лавку, привычным движением закинул ремень на плечо. С тревогой посмотрела Юлька на мать. Мария казалась спокойной. Тимофей тронул клавиши.

«Степь да степь кругом»,— тихо вздохнули меха. Замерла Юлька: любимую песню отца вспомнил баян.

Путь далек лежит.
В той степи глухой
Замерзал ямщик...

Болью сковало Марию, а баян рассказывал:

И набравшись сил,
Чуя смертный час...

— Хороший инструмент! — оборвал песню Тимофей. И не видя, чувствовал он, что разбередил незаживающую рану.— Беру!

Он отсчитал деньги, протянул их перед собой. Но никто не взял из его руки пачку шелестящих бумажек. Тогда Тимофей пошарил рядом, положил деньги на лавку. Только когда застегнул с обеих сторон баяна ремешки и перекинул через плечо лямку, опомнилась Юлька, сказала тихо:

— Дядя Тимофей, а футляр-то?

— Не надо. Оставь на память.— И он ощупью двинулся к выходу. Мария не шелохнулась. Молчала Юлька. С портрета улыбался отец.

Щедрой была эта первая послевоенная осень. Щедрой и радостью, и горем, и надеждами, и отчаянием. Особенно же народом на дорогах и вокзалах.

Юлька схитрила. Она поставила на самый край платформы свой «чемодан» — деревянный крашеный футляр из-под баяна, преспокойно уселась на него и даже отвернулась от состава, который готовили к отправлению. Со всех сторон ее обтекали люди с мешками, корзинами, чемоданами. Безбилетники устремлялись к составу, проводницы кричали на них, стаскивали с подножек мешки, корзины, чемоданы. Юлька ждала.

Но вот где-то впереди, у самого паровоза, просвистал главный. Проводники заспешили по местам. Юлька ждала. Как по команде, выстроились проводницы на подножках, вытянув вперед руки с зелеными флажками, свернутыми в трубочки. Юлька давно облюбовала себе подножку вагона с той стороны, где не было проводницы. Поезд тронулся. Этого-то мгновения она и ждала: метнулась к подножке.

— Девушка с баяном, к нам!

— Девушка с аккордеоном, к нам! — кричали ей беспечные молодые солдаты (много их еще ехало и на запад, и на восток!).

Мгновенно к Юльке протянулись их крепкие руки. Кто-то подхватил баян, кто-то подтянул ее.

— От, хитрющая! Все лезут, а она сидит! Все лезут, а она...

— Та не бойся, мы тебя не скушаем!..

— А щечки-то, щечки, как яблочки!

Оказавшись в кольце стольких парней, Юлька не знала, куда глаза спрятать.

— А ну, прекратите зубоскалить! — появился молодой лейтенант, пригласил Юльку в вагон. Она села на краешек сиденья, задвинула было под него футляр.

— Э-э, нет,— сразу заметили солдаты.— Доставайте, красавица, свою музыку!

— А правда, можете? — спрашивали с любопытством.

— Сыграйте, девушка, зря мы, что ли, вас добывали!

Юлька было растерялась, но вдруг придумала. Хитренько улыбаясь, поставила футляр на сиденье, не торопясь, начала открывать замок.

Солдаты ждали. Крышка распахнулась, и взрыв хохота поднял всех даже с полок: футляр был наполнен яркими, чисто промытыми овощами. Желтела толстыми боками брюква, торчали хвостики моркови, блестели отполированные створки гороха.

— От так музыка!

— Угощайтесь! Угощайтесь! — извлекала Юлька содержимое футляра, протягивала солдатам. Аппетитно захрустели брюква и морковка.

Юлька радовалась, что не надо будет на базаре овощами торговать. А на барсучий жир у нее денег хватит! Дядя Тимофей не поскупился, хорошо за баян заплатил.

Она не ожидала, что столько соблазнов будет подстерегать ее на городском базаре. Особенно трудно было не замечать нездешние яства. Алели ломтики арбузов. Просвечивал солнцем виноград. Манили бархатистые персики. Юлька мужественно проходила мимо. Пока пробиралась сквозь толпу, ее то и дело спрашивали:

— За баян сколько просишь?

Потом Юлька долго шла мимо лотков с молоком, сметаной, мимо туесов с медом, мимо кадок с капустой, пока наконец не увидела бутылки с самодельными этикетками — «Барсучье сало».

Но и от барсучьего сала Павлу не становилось лучше. Тогда надоумили Васеню деду Футынуты поклониться. Многих поставил он на ноги травами, ему одному известными. А недавно молодую девушку Груню выходил, сказывают, сосной. Совсем плоха была, а полежала в его избушке какое-то время, на своих ногах домой вернулась.

Дед выслушал Васеню, повздыхал, повздыхал, ответил:

— Не фершал я, Васеня, пойми! Пасешник!

— Дедушко, пошто отказываешь? Груньку-то дяди Семена выходил!

— Фу ты, ну ты! У Груньки задышка была, асма по-научному. Я ее сосной выходил...

— Так и Панке сосну прописали, дедушко! Ну, хошь, на колени перед тобой встану!

Уговорила-таки деда. Кровать Павлу поставили железную, с сеткой у самой теплой стенки избушки. Осторожно, чтобы не потревожить больного, внес дед Футынуты небольшую сосенку, посадил в кадку. Корни еле втиснулись в воду. Юлька, перепачканная землей, с испугом смотрела на Павла. От ветвей, еще не успокоившихся после неожиданного переселения, на его лицо падали тревожные тени. Юлька заплакала.

— Фу ты, ну ты! — заворчал на нее дед.— Как ишо увижу, не пущу к нему, поняла?

Юлька поняла. Поскорее размазала грязными ладошками по щекам слезы, улыбнулась через силу.

— Ну, то-то, девка,— смотрел и дед на неподвижное лицо Павла.— Ничо, паря, авось да небось, выходим!

И он начал выхаживать Павла. Поил составами на меду. Заваривал травы. Каждый день менял сосенки в кадке.

Сосенки выкапывала Юлька. Старые не выбрасывала, а сажала на место выкопанной, так велел дед. Входя в избушку, она всякий раз прижималась головой к косяку и подолгу стояла так, не решаясь подойти поближе. Иногда Павел приоткрывал глаза. Этого Юлька не выносила, убегала: уж очень не его это были глаза, неподвижные, безучастные ко всему. Она убегала прямо по зарослям кустарника, без тропинок. Останавливалась только в березняке. Там наконец давала волю слезам, причитала по-бабьи:

— Какая же я несчастная! Сиротина я го-орькая! И отца-то у меня теперь не-ету! И ты-то от меня уходишь!

Слезы облегчали сердце. Уходила домой успокоенная с надеждами на завтра. И почти всякий раз встречала тетю Васеню с узелком в руках.

— Там была, мила дочь? — спрашивала она неизменно.

— Там,— отвечала Юлька и прятала зареванные глаза.

Часто приезжала из района врачиха, привозила лекарства во флаконах и таблетках, задумчиво перебирала пучочки трав. Особенно интересовалась сосенками.

— Неужели каждый день меняете? — удивлялась.

— Дак кажинный, фу ты, ну ты! Отец, царство ему небесное, научил меня этому средствию. Множину людей подымал он эдак,— словно оправдывался дед. Но врачиха не осуждала. Наоборот, все в блокнот записывала, повторяя про себя:

— В этом есть смысл, в этом есть смысл...

А Юльке плохо верилось, что в этом есть смысл.

— Погоди, торопыга! — успокаивал ее мудрый пасечник.— Вот полетят ужо белые мухи, мороз повысушит мокресь, и Панке нашему полегчает...— И, помолчав, добавлял, будто себя уверял: — Выходим.

Выкапывать сосенки становилось все труднее и труднее. Снега еще не было, но земля промерзла довольно глубоко. Юлька подолгу долбила ломиком мерзлоту. Однажды промахнулась и изо всех сил сама себе врезала ломом по ноге. От боли закружилась голова. Она обхватила ушибленную ногу, прошептала упрямо:

— Не заплачу! Ни за что не заплачу! Панка! Любую боль, муку любую вытерплю, только бы ты встал! Только бы встал!

Ему действительно полегчало с первым снегом. С глаз будто сняли повязку — захотелось смотреть и смотреть. На бревенчатые стены, утыканные мохом в пазах. На пучки трав, свисающие сухими соцветиями с потолка. На нежную зелень юных сосенок. На сахарные оладьи за окном.

— Фу ты, ну ты! — только и смог сказать дед, войдя в избушку с охапкой дров. Засуетился, не зная, куда пристроить их, приговаривал: — Знать-то, отутобел солдат! Знать-то, отутобел!

Вбежала с выдолбленной из земли сосенкой Юлька. «Панка! Тебе лучше?» — хотела крикнуть, да губы не слушались, и она смотрела во все глаза.

— Ну вот,— слабо улыбнулся Павел сухими огромными глазами.— Елка есть, Снегурочка тоже. И Деда Мороза,— он с трудом перевел глаза на деда Футынуты,— найти можно.

И дед и Юлька зачарованно смотрели на Павла, боясь, что пригрезилось им все это. А он, устав вдруг, закрыл глаза, замолчал. Молчали и дед с Юлькой.

— А правда,— спросил через мгновение Павел, не поднимая век,— какое нынче число?

— Первое,— прошептала Юлька.— Первое,— забыла назвать месяц.

А Павлу, казалось, это было ни к чему.

— Первое,— повторил он сквозь сон.— Первое... Это хорошо, первое.

— На сон, фу ты, ну ты, потянуло,— радовался дед,— теперь уж отутобеет... теперь уж да...

Юлька на цыпочках пошла к двери.

— Ульянка,— остановил ее сонный голос Павла.— Принеси-ка мне гитару.

Она оторопело уставилась на деда:

— Правда, ли чо ли, дедушка?

— Конечно, правда, Ульянка,— ответил Павел.— Какой же Новый год без музыки? Я буду играть, а ты танцевать...

После тревог
Спит городок, —

попытался он даже спеть. Но сон заволакивал его.— А танцевать-то ты научилась ли, пока я тут?.. Ну ничего, я буду играть, а ты...— бормотал Павел, и голос его уютно погружался в сон. Не в забытье, а в живительный, желанный, как после хорошей работы, сон.

Пока Юлька несла гитару по улице (а ее ведь не спрячешь под полу), чуть не из каждого окна выглядывали любопытные. Выбежала, накинув платок на голову, тетя Танечка, спросила:

— Далеко ли с гитарой-то?

— Да Панка попросил,— радостно отвечала Юлька.— Полегчало ему, тетя Танечка!

Молодая вдова Танечка смотрела ей вслед, не торопилась в тепло.

— Улюшка! — окликнула Юльку тетенька Шишка,

поднимаясь на берег от проруби и радуясь возможности постоять, успокоив руки на коромысле.— Далеко ли с этой безбожницей-то?

— Да Панке, тетенька Шишка, полегчало! Вот, попросил!

— Ну, дай-то бог, дай-то бог!..

В кузницу Юлька заглянула сама. Дядя Ларивон ахал жаром наковальни.

— А-ах! А-ах! — и молот плющил раскаленный металл.

— Дяденька Ларивон! — перекричала Юлька стук молота и показала хвастливо на гитару.— Во-от! Панка попросил! Полегчало ему!

Дядя Ларивон, как поднял над головой молот, так и застыл, пока Юлька все это ему прокричала.

— А-а-ах! — ударил он по наковальне и добавил с чувством: — У Авдотьи моей капустка хороша!

Веселей стало ходить Юльке по лесу. Вон сосны хвою на свежий снег просыпали — приметила. Обрадовалась березам. Посветлеет кругом, как из сосняка в березовую рощу выйдешь, будто после сумерек сразу утро наступает. И светлеет Юлькино лицо, отдыхая от тревожных дней и ночей.

Павел встречал ее одним и тем же — как только Юлька перешагивала порог избушки, просил:

— Расскажи чего-нибудь?

Юльке казалось — уж про все на свете она ему рассказала: и про школу, и про Лариску, и про Миньку...

— Расскажи, как сюда шла, что видела?

— А что видеть-то? Лес да и лес,— и спохватилась: он-то ведь не бывал еще в зимнем лесу!

— Ну, сперва,— начала она,— как из деревни выйдешь, будто в палисадник попадешь: все кустарник да подлесок. Потом в сосняк, будто что в избу через порог перешагнешь. А уж как березняк начнется, так там уж как в горнице: светло да чисто!

Слушал ее Павел, полулежа на подушках, улыбался:

— Ох, и выдумщица ты, Ульянка!

Она осмелела, попросила:

— Знаешь что, Панка? Проторил бы ты мне лыжню в том березняке! Так хочу в той горнице покататься. А?

Павел тронул струны гитары:

Будем дружить,
Петь и кружить...

Юлька смутилась, а он пообещал невесело:

— Будем, будем кататься в твоей горнице! — и попросил опять: — Расскажи еще чего-нибудь?

Догадывалась Юлька, про Тоню хочет узнать Павел. Да нечего ей было рассказать-то. Как и прежде, приезжала его зазноба по субботам на танцы, про Павла ни разу не спросила, будто и не было его на свете. Сколько раз собиралась Юлька сама подойти к ней, сказать, мол, хоть бы попроведала, да что-то удерживало ее от этого шага. То ли гордость, то ли боязнь потерять даже надежду.

Но идти ей к Тоне все-таки пришлось.

Однажды прибежала Юлька к лесной избушке с опозданием — долго перед зеркалом вертелась, распахнула дверь и остановилась как вкопанная. Деда не было. А сидел Павел спиной к ней. И так скорбно сидел, что заныло Юлькино сердце в тяжком предчувствии.

Ты, гитара, играй потихонечку, —

пел Павел, вкладывая в эти слова всю свою тоску,—

Расскажу я тебе свой секрет.
Полюбил я девчоночку Тонечку,
А она меня, кажется, нет...

Откуда взялись у Юльки силы, чтобы так же незаметно, как появилась, выйти из избушки? Но только на это и хватило. Она рванулась в синеву вечера. Уронил полено дед Футынуты, посмотрел ей вслед оторопело. Юлька бежала, соскальзывая с дорожки. Набивался в пимы снег. В березовой роще приостановилась было, но вспомнила разговор с Павлом о лесной горнице, кинулась из нее, будто от себя можно было убежать.

У старинного тесового дома отдышалась, застучала что было силы в ветхую калитку. Скрипнула сенная дверь, захрустел под валенками снег.

— Юлька? — удивилась Тоня.— Проходи!

Юлька упрямо мотнула головой:

— Я здесь...

— Холодно, проходи! — Тоня куталась в шаль.

Я свою суперницу
Повезу на мельницу!
Брошу в омут головой —
Все равно миленок мой! —

пробежала мимо ворот стая малявок с хохотом.

— Дождалась? — засмеялась невесело Тоня, захлопнула за Юлькой калитку.— А пимы-то! Ты пахала ими, ли чо ли?

В горнице никого не было.

— Ну? — повернулась к гостье Тоня.

Юлька молча смотрела на чемоданчик у двери.

— На танцы явилась? — проговорила наконец. Не сдержалась, бросила своей мучительнице в лицо: — Фэзэошница выщипанная! Присушила! В город сманила! А теперь — танцы!

— Ты что? Сдурела? — закричала в ответ «фэзэошница» и осеклась: — С Панкой, ли чо ли, плохо? Ну? Не молчи ты!

Юлька опомнилась: не за тем пришла. Заговорила, глядя мимо Тони:

— Сохнет он по тебе. Шибко. И гитару попросил, потому что тоскливо ему. Нынче пришла, а он сидит и песню про тебя поет. Про тебя песня... Если бы ты слышала! И сидеть-то еще не может...

Тоня куталась в шаль, молчала.

— Мы лечим его, лечим, а ты и издали сушишь. Не пришла бы я к тебе! — опять сорвалась на крик Юлька.— Ни в жисть бы не пришла! Да Панку жалко шибко!

Кусала Тоня крашеные губы.

— Дурочка ты еще, Юлька. Ты разве не помнишь? Ведь была, когда мы их на войну провожали. Кого я проводила да не встретила?

Юлька помнила: не отходил от Тони в тот день Петьша. Смотрел с отчаянием, бритоголовый, растерянный.

— Сон я вижу, один и тот же,— рассказывала строго Тоня.— Вот будто иду я по школьному лесу (мы с Петей все там гуляли), вот иду, а весна! Ветреники цветут, березовка из порезов капает. Иду я, а навстречу мне Петя. Я бросаюсь к нему: «Ты не погиб? — кричу.— Вернулся?» — «Вернулся,— он говорит.— Это тебя обманули, что погиб»,— и берет меня за руку, и мы

идем по лесу. И такая я во сне том счастливая! А просыпаюсь...

Юлька не знала, что и сказать ей на это: так похожа боль Тони на ее собственную.

— Не скрою,— продолжала Тоня,— Панку встретила, подумала: хоть один из наших ребят вернулся, может, судьба... Да нет, видно, не судьба. Хоть лучше ему?

— Встанет скоро.

— Ну, слава богу! — вздохнула Тоня, словно груз с нее какой сняли. Помолчала, добавила: — А милостыня Панке не нужна...

— Мне тоже,— самой себе сказала Юлька.

— Что? — вспомнила о ней Тоня.

— Так, ничего.

На следующий день Юлька в избушку деда не пришла.

— Опять не пришла? — удивился Павел, когда дед, подбросив в железную печурку сухого корья, предложил:

— Ну, дако, на покой нам, брат Панка, пора! Карасин зря жегчи — это тебе фу ты, ну ты!

Пылала боками печка. Мельтешили на стенах отсветы огня.

— И пошто ты, Панка, всю войну прошел, а такой несдогадливый? — разговорился дед.— Ить она, фу ты, ну ты, полюбела тебя, шибко полюбела!

— Кто? — не понял Павел.

— Хто? Хто? Онна у нас с тобой зазноба, другой не видали! А ты, дако, вчера обидел ее, как кипятком ошпаренная, выскочила! Перед дверью-то чепурилась, щеки рукавицами красила, а потом кинулась — так фу ты, ну ты!

Заволновался Павел. Сел, пошарил рядом руками, будто закурить собрался.

— Дедушка,— заговорил несмело,— ребенок ведь она совсем. Мне и в голову не приходило!

— Ребенок! Фу ты, ну ты! Так, стало быть, в колхоз мы слились в тридцать втором годе. А Ульке-то уж годков пять было. Отец-то, Антон-то, гармонист был. А Улька-то все плясала. Только отец за гармош-

ку, она и пойдет — фу ты, ну ты! — показал дед, как плясала маленькая Улька.— Вот и считай... Счас, стало быть, у нас сорок пятый...

Но Павел уже не слушал деда. Как доказательство смешных дедовых слов «полюбела она тебя, шибко полюбела», всплывало в памяти недавнее.

...Вот Ульянка идет по жердочкам, перекинутым через неширокую мочежину. Он видит ее глаза, испуганные и взволнованные.

...А вот ест она сотовый мед. Облизывает по-детски пальцы и вдруг смущается не по-детски.

...Вот переступает с камешка на камешек речки Шадрихи и смотрит, смотрит, как пьет он из ее ведерка... Вспомнил Павел ее и с коромыслицем на плечах. И глаза ее совсем не детские. Боль в них и страх, за него страх: вернется ли?

Сквозь зубцы сонного леса загадочно мерцало далекое звездное небо. Павел долго смотрел на него, удивленно встревоженный. Потом, держась за стенки, встал, накинул полушубок, сунул ноги в дедовы пимы, вышел на улицу. Закружилась голова. Он оперся о промерзший бревенчатый угол избы, жадно вдохнул сухой морозный воздух. На мгновение представил, что стоит здесь не один, а что рядом Юлька, и его измученное болезнью и равнодушием Тони сердце молодо забилось.

— Панка? — пугаясь и радуясь, закричал дед, выглянул из двери. Павел засмеялся.— Отутобел, фу ты, ну ты! — радовался дед.

Вскоре после этого приехала врачиха, выстукивала Павла, вертела так и сяк.

— Ну что ж! — блеснула глазами.— Теперь гулять, есть, спать! И как можно больше!

Заплакала Васеня, заморгал дед Футынуты на радостях. А Юлька не приходила. Павел ждал. Гулял ли по тропинке среди сосен, вглядывался в даль леса. Сидел ли у окна — прислушивался к каждому шороху, к каждому стуку. Дед усмехался, хитро посматривал на Павла. Теперь, когда болезнь отступила, Павлу не терпелось вырваться из ее когтей совсем. Он хватался за любую посильную работу.

Зимами дед плел корзины, ладил туеса из бересты.

Павел садился рядом, учился старинному ремеслу, мечтал:

— Вот выпустишь меня из своего лазарета, первонаперво — женюсь! И чтоб сразу — сын! Так и прикажу Ульянке: чтоб сына мне принесла!

Дед подтрунивал:

— Ульянке... Где она, твоя Ульянка? Спугнул девку, фу ты, ну ты! Мотри, надорвалась любеть-то тебя!

У Павла сами собой растягивались в широченную улыбку губы от этого слова «любеть». Подмигивал деду: мол, придет!

Но пришла Тоня. Пока скрипела под окнами пимами, пока обметала голичком снег с них, замерли руки Павла на туеске. Когда распахнулась дверь, не мог долго опомниться: ждал одну, пришла другая.

Перекинулись словом, другим и говорить не о чем. Дед недружелюбно постреливал из своих зарослей. Тоня ждала, что он выйдет. Он не выходил.

— Не сердишься, что не приходила?

— Не сержусь.

Тоня вертела в руках туесок, закрывала да открывала его. Павел плел корзину, не отрывался.

— Ну, пойду,— сказала Тоня.— Поздно уже...

— Да, девка,— вмешался дед,— поздновато ты пришла! Волки, мотри, задерут, фу ты, ну ты!

После посещения Тони Павел не на шутку затосковал по Юльке. Дед смотрел, смотрел на него, придумал развеселить. Достал из тайника плотно запечатанный туес:

— Давай-ка, Панка, разговеемся! Теперь уж можно тебе, пользительно даже.

Запенилась в кружках медовуха. Дед достал из ларя балалайку, стер с нее пыль рукавом, разгладил на грифе выцветшую ленточку (старуха еще, царство ей небесное, привязывала).

Незабудочка-цветочек, незабудочка-трава,
Не забудь меня, миленок!
Не забуду я тебя! —

частил дед по струнам, подпевал озорно.

— А может, она другого завела? А? Дед? — разомлел после кружки медовухи Павел.— Скажет: хворый, никудышный, чего мне с ним валандаться?

Я тогда тебя забуду,
мой миленок дорогой,
когда вырастет на камушке
цветочек голубой! —

подзадоривал дед.

Оживился Павел, когда Лариска прибежала. Понял: нарочный от Юльки.

— Пришла Лариска, подсела близко! — затараторила та сразу, прощупывая Павла глазами.— Ой, сколько корзиночек! Да какие хорошенькие! Подари одну? — а сама в Павла стрель да стрель!

— Свиристелка, фу ты, ну ты! — ворчал миролюбиво дед.

— Ну, чего у вас нового, на «большой земле»? — спросил, не отрываясь от дела, Павел.

Лариска будто только того и ждала.

— Да ничо! Танцы вот были в клубе. Мы с Юлькой пришли, хотели покрутиться маленько, а Минька — хвать скорее Юльку! И весь вечер с ней да с ней! В свой пинжак заграничный вырядился! — стрекотала Лариска: что, мол, скушал?

— Да умеет ли твоя Юлька танцевать-крутиться-то? — засмеялся Павел.

— Твоя! А может, твоя! — завелась Лариска.— Не умела, да научилась. Подумаешь, наука! Каждый вечер и бегаем теперь! Вот!

«Диверсант, вот диверсант»,— усмехался Павел и нарочно ничего больше не спрашивал о Юльке. А Лариска ждала: долго собиралась уходить.

— Ну, я пошла,— скажет, а сама полушалок перевязывать начнет.— Ну, я пошла,— а сама за скобку двери держится.

— Проныра! Фу ты, ну ты! — засмеялся и дед, когда Лариска наконец выскочила из избушки.

Потянуло Павла в деревню.

Утро выпало ясное, с морозцем. Дым прямым столбом стоял над избушкой. Павел затянул потуже опояску на полушубке, закутал грудь материным платком.

Пока шел по густому сосняку, не торопился, хлебал аппетитно морозец, смотрел да не мог насмотреться на заснеженные лапы сосен.

В березняке невольно приостановился, пораженный необыкновенным светом, исходящим от каждой березы.

— Горница...— вспомнил.— Горница и есть!

Сквозь березы завиднелись крыши домов. Из труб рядами застыли розовые дымы. Павел заторопился. У выхода из «горницы» остановился вдруг: навстречу не шла, бежала Юлька. Увидела Павла, словно споткнулась, не зная, попятиться ей или вперед рвануться. Заиндевевшие волосы выбились из-под платка, щеки разгорелись, в глазах страх.

«Похудела, родная моя,— с неожиданной для себя нежностью подумал Павел,— извелась совсем...»

Юлька шла к нему не разбирая дороги, шла осторожно, будто опять под ногами прогибались березовые слеги.

Долго стояли они обнявшись, не говоря ни слова. Затаились березы. Застыли дымы над деревней. Где-то далеко невнятно шумели сосны.

Заговорили оба сразу, торопливо, будто боялись, что не успеют сказать всего.

— С уроков убежала! Не могла больше! Лариску, дура, послала! Она, поди, наговорила с три короба!

— Новую избу поставим,— откликался Павел.— Деда Футынуты к себе возьмем. Заместо отца — и твоего и моего...

— ...К Тоньше тебя приревновала... Пришла, а ты поешь эту песню. Про нее, думаю...

— ...За ребятишками нам будет приглядывать... Ребятишек мно-ого у нас будет!

Рядом в снегу валялся старенький Юлькин портфель.

— Только сначала школу закончи! Плохо будешь учиться, драть ремешком буду и замуж не возьму! Поняла?

Засмеялась счастливо Юлька, подставила лицо низкому холодному солнцу. Светились вокруг березы...

Надумал Павел домой вернуться, совсем было решился, да дед Футынуты отсоветовал: дома не горит, а в лесу и пользительно, и при деле ты, парень!

И опять каждый вечер прибегала Юлька в сторожку. Пылала боками железная печка, наполняя избушку особым теплом и уютом. Ладили мужики туеса. Приспособилась и Юлька расписывать их, разрисовывать

крышки. Дед к ее приходу затевал представления: мастер был на выдумки! Возьмет простую солому, в пучочки ее свяжет, косицы из кудели сплетет — и готовы девицы-красавицы. Радуется Юлька, как маленькая, а дед Футынуты хитренько на нее посматривает, будто говорит: погоди, то ли еще будет, и достает из ларя сито попросторнее, поселяет в него соломенных красавиц.

Мой миленок, как теленок,
Только веники жевать!
Проводил меня до дому,
А не сумел поцеловать!

Дед поет озорно, а руками сито потряхивает. Как потряхивает, разглядеть невозможно, потому что уж очень потешное зрелище в сите разыгралось: соломенные девушки пошли в пляс, то парами кружатся, то хоровод выводят, то каждая в отдельности по кругу плывет. Хохочут Юлька с Павлом, и деду радость. На другой раз другое придумывает. Дровосека, например, раз соорудил. Совсем живой мужичок-с-ноготок получился. Да деловой такой, сноровистый! Без устали колет и колет невидимые дровишки. А и весь секрет-то в том, что дед незаметно под столом за ниточку подергивает.

«Эх, ладная у меня семейка будет! — радовался про себя Павел.— Это разыграй такое представление перед мальцом, ведь всю жизнь детство помнить будет! Да и сам всему обучится живо. Только бы пожил подоле дед наш Футынуты».

А когда убегала Юлька домой, продолжал вслух мечтать про будущее свое житье:

— А вот ты можешь, дедушка, сплести из прутьев зыбку? Знаешь какая была бы легкая? Это тебе не деревянная!

— Решился ты, Панка, ума от любови навовсе! — смеялся дед.— Зыбку! Торописся больно! Ты сперва оженись!

Глядя в звездное небо за окном, сознавался Павел:

— Правда что, решился ума. Только ни о чем не могу другом думать, дед: во сне даже вижу мальчонку, сына будто своего. И ведь одного того же вижу, вот в чем штука странная!

— Ну-к, что страдать-то! — усмехался в темноте дед.— Гляди, на масленку и оженим!

— А тебя мы к себе жить возьмем, будешь нам с Ульянкой заместо отца.

Ворочался, кряхтел на своей лежанке дед, никак не находил от этих слов угомону.

Давно, еще во время первых прогулок по лесу, придумал Павел, как только перестанут противно дрожать ноги в коленях, проложить в березовой роще, в Юлькиной «горнице», лыжню для нее. Проложить, потом встать в сторонке и смотреть, как она замелькает между берез.

День выдался будто по заказу. С утра выпал снежок и теперь искрился, тронутый солнцем. Лыжи дед натер воском, и пока Павел приноравливался к ним, они весело скользили по сыпучему снегу.

— Недолго, мотри, слаб ишо, поберегчись надо,— наставлял дед Павла.

Первый круг давался ему тяжело: лыжи тонули в снегу, след за ними напоминал первую борозду на целине. Когда концы борозды соединились, опустился на пенек, навалился всем телом на комель. От рук, от лица валил пар. Удивленно смотрели на парня молчаливые березы. Павел не шевелился. Казалось, на следующий круг сил не хватит. Будто никогда и не стоял на лыжах. И вспомнился вдруг Павлу день, когда он в первый раз надел их. Да и не сам надел, а отец, уходя на работу, еще затемно примотал к его пимам выструганные им самим две плоские дощечки. И весь-то день не могла маленького Панку дозваться мать: упрямо пахал и пахал он снег в огороде, пока не осилил этот секрет — управлять двумя плоскими дощечками. И уже не себя видел Павел, а своего будущего сынка. Ручонки в больших рукавицах крепко сжимают палочки. Зипунок подпоясан отцовским солдатским ремнем. Шапка на лоб сползла. Под носом пузыри, а он бороздит и бороздит настойчиво снег в огороде.

Павел снова встал на лыжи. И, размечтавшись, уже не замечал усталости, не считал круги, словно не лыжню торил для Юльки в ее «горнице», а дорогу своей будущей жизни. Остановился, когда две колеи, будто

два луча, заблестели перед глазами. С неба на землю струилась, так что глаза ломило, мерцающая синева. По-прежнему молчали березы. И Павел, стоя на гребне пологой горки, впервые понял, что болезнь отступила. Грудь его сильно дышала, и он не чувствовал ни хрипов, ни колотья. Он облизывал соленые от пота губы, и пот этот не был потом немочи, это был пот настоящей мужицкой работы. И Павел, повинуясь охватившему его чувству, распахнул полушубок и ринулся с горы. Этого он и жаждал — встречного ветра, пронизывающего насквозь и словно расправляющего за спиной крылья! Потом он кувыркнулся в мягкий снег, зарылся в нем с головой, перевернулся на спину и лежал блаженно, раскинув руки, наслаждаясь покоем вокруг, покоем в себе. Ясно и просто было его настоящее, ясное и простое надвигалось будущее, как это небо, исчерченное тонкими штришками березовых ветвей, как этот свежий снег. Павел не удержался и поддел его рукавицей. Ел жадно, как в детстве, когда не видит мать. Глотал и глотал снежные лепешки, обжигаясь.

Через неделю Павел умер. От крупозного воспаления израненных легких. Семь дней врачи боролись за его жизнь. Но не боролся не окрепший еще от болезни его организм.

Умирал он недолго и нетрудно, потому что и в беспамятстве видел себя в березняке среди белого безмолвия. Только мучила жажда. Тогда он просил запекшимися губами:

— Снегу! Дайте снегу!

Мать смачивала его губы клюквенным соком, а Павел видел, как мчится к нему Юлька по проторенной им лыжне, как поддевает варежкой снежную лепешку и он ест, ест ее.

И Павел, облизнув губы, улыбался и наблюдал, счастливый, как скользит легко по своей «горнице» его Ульянка.

Волна жара накатывала снова, переносила его в лето, на покос, к зароду. Он поднимает тяжелые навильники. Солнце жжет голову.

— Снегу! Снегу! — просит Павел. Мать подносит к его губам сок. И опять торопится к нему Юлька,

мелькает среди берез, протягивает варежки со снежными лепешками.

— Скорее! — шепчет Павел.— Скорее! Ульянка, скорее!

Юлька едет слишком медленно. Едет, едет, а все на одном месте.

— Снегу! Снегу! Сне...

Страшный крик потряс тишину больничной палаты — забилась в причитаниях тетя Васеня. Заплакала прибежавшая на крик врачиха. Юлька немо смотрела на Павла, и глаза ее росли и росли. Казалось, только они одни и остались на ее лице.

С такими глазами и жила теперь Юлька.

Сидела за партой.

Встречала стаи птиц.

Бродила по безмолвной березовой своей «горнице», не замечая, как чавкает под ногами талая вода.

Полола в огороде.

Сгребала сено.

По вечерам шумела за околицей лапта. Сновали по поляне мальчишки и девчонки, сверкали голыми пятками. Лупцевали по мячу деревянной лопаткой мужики и, забывая про годы, носились по поляне, не отставая от пацанов.

Смотрели на них старики, опираясь о палки.

Смотрели старухи, вспоминая не вернувшихся с войны сыновей.

Смотрели вдовы. Смотрел солдат на костыле, годок Павла, Илюха.

Смотрела Юлька.

А над деревней, стараясь перекрыть шум лапты, плыл голос баяна:

После тревог
Спит городок.
Я услышал мелодию вальса...

Это слепой дядя Тимофей зазывал в клуб освободившихся от дневных работ и забот односельчан.

Будем дружить,
Петь и кружить, —

обещал его баян.

Она и сейчас живет в той деревне, пожилая одинокая женщина Ульяна Антоновна.

В ТОМ КРАЮ, ГДЕ ТВОЯ БЕРЕЗА

Повесть

Приземистые краснобокие строения новой молочной фермы раскинулись километрах в двух от центральной усадьбы совхоза, на опушке березовой, еще домашней рощи, с которой и начинался уже настоящий сосновый да еловый лес с темноватой пугающей глушью, притаившейся за первыми же стволами деревьев.

Наработавшись в сумерках коровника, Антонида Степановна нескоро привыкла к мартовскому свету. Торопились домой доярки. Третьи сутки пластались — вручную кормили коров: отказал транспортер. Хорошо, что только один корпус новой фермы открыли. И то — мурашки по коже, как триста коров заревели голодные. Спасибо Константину, придумал рамы выставить. В окна-то быстрехонько сена наметали.

— Так и будем, спасибо Константину Иванычу, рамы выставлять да вставлять! — будто подслушала мысли Антониды Степановны языкастая Зинша.

«Все не выкричались,— усмехнулась Антонида Степановна.— Эх, бабы!» Она еще замедлила шаг. Ждала тишины, чтобы приступить к главной своей думе. Поотстали гомоны фермы. Убежали вперед доярки. Антониду Степановну обступили молчаливые березы. Освещенные солнцем, они казались полыми, до краев налитыми топленым молоком.

«Здравствуй, Гриня...» Молодо толкнулось сердце в груди. Антонида Степановна прижала к щекам ладони, будто кто-то мог подслушать ее мысли и будто мысли эти были запретные.

От ладоней стало холодно лицу. Посмотрела на свои руки: красные, обветренные, не чуют ни холода, ни жары. С пылающей плиты чугунок бери без отымалки, в проруби белье полощи. Руки ко всему привыкают. Отчего же душа-то притерпеться не может?

«...Добрый день, уважаемый Григорий Никанорович!

С поклоном к вам и наилучшими пожеланиями Тося...»

Посторанивались березы. Грузли ноги в зернистом волглом снегу. Антонида Степановна подумала и решила добавить: «Петрова». Чтоб вернее. А то забыл небось и не станет читать дальше. Человек он теперь видный, много, поди, разных писем получает. Артист.

«...пишу Вам...» — Антониде Степановне вдруг стало совестно: что это она: «Вам... Вам... До того ли теперь?» — «...Гриня, горе у нас! Помоги! Машеньке нашей помоги! Надумала я в хор ваш ее устроить. Спасать девку надо. А поет она еще лучше моего...»

Кончилась роща, и кончилось время для этих дум заветных. Антонида Степановна заторопилась сразу. Когда пробегала мимо своего дома, взглянула мельком на окна — не забросало инеем, все в порядке, значит. Вот ведь как хорошо, что отопление-то провели, когда бы она успевала печку топить бегать. Картошка бы в подполе померзла.

Уже больше месяца жила Антонида Степановна у самой младшей своей сестренки, у самой горемычной. Трое их всех-то у нее, сеструх. В тот год, когда и за мать и за отца им осталась, только Лида и годилась в помощницы. А Шура с Машей были мал-мала меньше. Вырастила, на ноги всех поставила. Наказ мамоньки соблюдала свято. И любила, и баловала при случае. А пуще всех младшую, Машеньку. Люди поговаривали, мол, из-за них и свою семью не завела. На каждый роток не накинешь платок. А только сестры ни при чем тут. Проста причина: сперва Гриню помнила. А потом уж и глядеть на нее перестали — устарела. Да и немного вернулось годков-то ее с войны: Гриня да Костя. Имел он на нее виды, Костя-то, поглядывал, со сватовством даже подкатывал, когда Гриню в хор взяли. Да сердцу не прикажешь. И вот ведь как человек устроен! Сама оттолкнула, а как привез Костя из института Наташу свою, Наталью-свет-Алексевну, так заныло ретивое. И ведь понимала: парочка они — лучше некуда. Он с образованием, она при книжках. Так всю жизнь в библиотеке и проработала. Все понимала Антонида Степановна, а долго в те поры места себе не могла найти. Видно, последнюю надежду на счастье свое бабье хоронила.

* * *

Если смотреть в окна поверх крыш домов, а еще лучше выше сосен, то может показаться, что там, за окном, лето: такое яркое солнечное сегодня небо.

На полу, который не успела еще застелить ковром нянька Тося (так Маша с детства зовет свою старшую сестру), янтарно отражается окно — несколько теплых прямоугольничков.

Встать, постоять бы сейчас на них босиком.

Но Маша не шевелится. Неохота.

И пол вымыла нянька Тося. Сейчас тряпку прополощет. Потом ноги помоет в этом же тазике. Какие они у нее худющие! Ходит много, топчется день-деньской. И говорит, говорит не умолкая. Они все, ее старшие сестры, и Лида, и Шура, и нянька Тося, как на дежурство, приходят к ней каждый день и говорят, говорят, будто, если они замолчат, так сразу с ней, с Машей, что-то случится. А ведь все самое страшное уже случилось...

О чем это нянька? А-а! О том, как чуть артисткой не стала:

— Тогда самые модные песни из этого спектакля были. Все их пели. И в городе, и в деревне. Ну, вот. Он играл Колю Курочкина, а я главную героиню. Я завсегда главных героинь играла...

Самое трудное для Маши — сдвинуть глаза с одной точки в небе. Сдвинула через силу.

— Нянька,— спросила,— зачем ты вымыла пол? Я бы сама...

— Ну вот,— продолжает сестра, словно не слышит ее. Она уже вытерла ноги, расстелила ковер, встала посредине его, как на сцене, расставила в стороны мокрые еще руки.— ...Он поет. А шибко баско пел!

Из-за вас, моя черешня,
Ссорюсь я с приятелем,
Потому что климат здешний
На любовь влиятельный!

Голос у няньки низкий, красивый, сердечный.

— ...А я, значит, другого полюбила и на Курочкина — ноль внимания. Не по мне он, видишь ли, легкомыслен больно. Только и знает: «Федя, давай!» Это он дружку своему, гармонисту. (Вроде нашего Ильи гармонист-то, медведь на ухо наступил.) Ну, Федя растя-

гивает гармошку, конечно, а он, Курочкин, свое: «Без тебя, моя черешня...» Ох, матушки! На часах-то уж, гляди, обед! Давай-ка картошечки поджарим с лучком, любила ты ее маленькая-то... А там и на дойку нам с тобой скоро...— Нянька Тося, говорит ли, поет ли, смеется ли, а сама нет-нет да тревожно посмотрит на младшую сестру. Переведет взгляд на портрет, что висит над Машей. С него смеется беспечно муж Маши Сереженька, любимый зятек.

Вздохнет Антонида Степановна украдкой, дальше рассказывает. А руки быстро-быстро все что-то делают: чистят картошку, крошат ее, газ зажигают.

— ...А я, значит, с другим-то, с любимым-то своим, пою эдак...

Тут Антонида Степановна в работе паузу делает, иначе не споешь с выражением:

На крылечке моем каждый вечер вдвоем
Мы подолгу стоим и расстаться не можем никак!..

— Курочкин ко мне, а я к другому...

И словно для себя одной неожиданно добавляет:

— На сцене-то так, а в жизни-то наоборот повернулось...

Думала, не услышит Маша, все равно ведь в одну точку уставилась, и что с ней делать, не придумать.

Но Маша слышала. Только все, что ни делалось вокруг нее, что ни говорилось, как бы не касалось ее.

Почему сестры не оставляют ее одну? Будто нет у них других дел да забот. Ничего так не хочется Маше, как побыть одной. Никого не видеть, никого не слышать. Сегодня с фермы тайком пораньше ушла... Это она и сказала вслух:

— Нянька, ты почему меня не ругаешь-то? Ушла ведь я. Вы пластались, а я ушла...

Но продолжала Антонида Степановна:

— Вот и поехали мы с этим спектаклем на районный смотр...

Шипела на сковородке картошка.

Теплый янтарный квадрат с пола передвинулся на диван, накрыл, будто лоскутным одеяльцем, поджатые Машины ноги, согрел их.

— ...Сколько шуму было! Аплодисменты! (А нож-то у тебя, господи!)

Достала брусок, точила ловко, как точат литовки, ножик. Потом нарезала хлеба, прижимая булку к груди.

— Так некому наточить нож-то,— сказала Маша.— Хозяина нет.

Вздрогнула от ее голоса Антонида Степановна, однако виду не подала, рассказывала:

— ...Ну, посмотрели нас и — на областной смотр живо. Приехали в область. Пели! Сами испугались, шибко уж себе понравились.

Маша знала эту историю назубок. Сколько раз сама просила рассказывать. Господи! Какое это было счастливое время: слушать няньку и представлять ее молодой и красивой. Маша увидела и себя в уюте и покое, с тайной надеждой на большую, такую же, как у няньки, будущую любовь. Кончилось все. Остановить бы няньку, нет сил слушать. Смолчала: самый радостный это краешек нянькиной жизни.

— Ну а был на этом смотре в самой главной комиссии руководитель народного хора. И высмотрел нас с Гриней. Ухажора-то моего неважнецкий паренек играл, да и пел так себе. Уехал потом, ты его не знаешь. А Гриню-то да меня пригласили в конкурсе участвовать. Многих тогда из разных районов отобрали... Вот пришли мы, ждем своей очереди...

Уже накрыла между тем Антонида Степановна на стол. Стынет картошка.

Неподвижная сидела Маша.

— ...Спойте, говорят, свое любимое. Ну, Гриня как запоет! Так что люди во все двери стали заглядывать, кто это, мол, орет так. А он во всю головушку:

Всю-то я вселенную проехал,
Нигде милой не нашел!
Я в Россию возвратился...

А носить-то, кроме гимнастерски, шибко-то еще нечего было, хоть и шел уже сорок седьмой, нет, однако, сорок восьмой уж год. И медали не снимал с гимнастерки-то. Он поет, помню, а медали на груди: дзинь-дзинь. И такое, знаешь ли, Машенька, чувство во мне было: богатырь и богатырь передо мной. А ведь и правда: всюе вселенную проехал. А еще верила, глупая, про меня он поет, как про милую-то слова начинались. А он поет, и все на меня зыр-зыр! Потом сколь гово-

рил: ты, мол, мне помогла глазищами своими сини-ми... Да ты ешь,— спохватилась Антонида Степановна,— соловья баснями не кормят.

Она подала Маше ломоть хлеба, тарелку с ароматной картошкой поставила ей на колени. Казалось, готова была с ложечки кормить-поить сестренку,— столько участия слышалось в ее голосе.

Маша жевала лениво и слушала лениво, но все же слушала, и Антонида Степановна старалась. Да видно было, что и самой ей вспоминать об этом — всегда радость.

— И вот меня вызывают. И тоже свое любимое просят. Я, конечно, нашу семейную, мамонькину любимую завела. Все другие-то враз из головы вылетели!

Тут Антонида Степановна вытерла аккуратно ладошкой рот, отодвинула стакан с чаем, подперла голову рукой и завела. Да так, что редкое сердце и могло не отозваться на искусство ее:

На берегу сидит девица,
Она шелками шьет платок,
Работа дивная такая,
А шелку ей недостает...

Замерла вилка в руках Маши.

— А между прочим, Машенька,— легко так прервалась Антонида Степановна,— песню эту нашу в кино одном поют. Уж забыла название, мудреное какое-то. Там солдаты молодые собрались, радуются концу войны, шумят. Ну, и выпивают, конечно.

— «Был месяц май», нянька...— безразлично подсказала Маша.

— А один, знаешь ли, Машенька, потихоньку струны гитары пощипывает и поет: «На берегу сидит девица, она шелками шьет платок...» Как услышала, не поверишь, комок к горлу. Конечно, кто этой песни не знает, может, и не приметил ее. А я так шибко жалела, что не всю спели. Времени, видно, мало дали на кино-то это...

— А ты спой мне, нянька, всю,— тихо попросила Маша.

Антонида Степановна на эту ее просьбу подалась вся вперед, обрадовалась, заторопилась:

И вот по морю парус вьется,
Скользя в сиянье ярком дня.
— Купец любезный, нет ли шелку
Совсем немного для меня...

И теперь смотрит Маша в окно, но глаза ее начинают видеть что-то еще, кроме крыш домов и вершин сосен. Медленно, нехотя, но оттаивают эти глаза.

Ну как не быть, пойдем со мною,
Я все отдам тебе, краса.
Но только будь моей женою. —
Корабль поднял паруса.

Заплакала Маша обильными, облегчающими сердце слезами.

Антонида Степановна прижала ее голову к груди, прошептала про себя: «Слава тебе, господи, заплакала, родимая моя!»

— Я ведь выросла под эту песню, нянька,— говорила сквозь слезы Маша.— Вы пели, а я представляла: сижу на берегу нашей Сугатки и ко мне плывет корабль... Пой, нянька,— просила, как в детстве.

Нас три сестры: одна — графиня,
Другая — герцога жена,
А я всех лучше и моложе
Простой купчихой быть должна...

Вздрагивали плечи Маши...

Ах, не журися, дорогая,
Оставь печальные мечты,
Ведь не купчихою простою,
А королевой будешь ты.
Я много лет искал повсюду
Тебя, красавица моя.
И если хочешь знать ты, кто я,
Я — сын-наследник короля...

Успокоилась будто Маша, уснула, припав к теплой груди няньки.

— Нянька! — нет, не уснула.— Почему я не поехала с ним вместе тогда? Почему? Ведь он звал меня! Нянька! «Поедем вместе!» Ведь выходная я была! Нянька! Как тяжело! Будто не хотел меня оставлять одну! Лучше бы я с ним тогда разбилась! Нянька! — плакала, причитала по-бабьи Маша.

Антонида Степановна гладила ее плечи, голову, приговаривала:

— Поплачь, поплачь, родимая наша! Давно бы так, поплачь...

Без стука забежала в дом черноглазая, черноволосая, не похожая на остальных своих сестер Шура, не успела рта открыть, жестом остановила ее Антонида Степановна: не мешай, мол.

Шура торопливо захлопнула дверь.

Бежала по хрустящим ледяным корочкам (март начал пригревать), не замечая усталости.

— Лида! Лида! — едва открыв дверь, торопилась обрадовать сестру.— Маша заплакала! Прихожу, а она уткнулась няньке в кофту и плачет, в голос ревет!

Шура высказала все это одним духом и села на первый попавшийся стул.

— Ох, слава богу! — как и Антонида Степановна, вздохнула Лида.— Теперь отойдет понемногу, раз заплакала.

За столом сидели трое девочек — все погодки. Светлоголовые, светлоглазые, понимали, о чем речь, ждали тихонько, когда мама дальше диктовать станет — занимались грамматикой.

— Хватит на сегодня, поиграйте! — вспомнила о дочерях Лида.— Да Катюшку возьмите,— протянула им девочку лет двух, такую же светлоголовую.

— Дай я с ней маленько понянчусь,— сбросила Шура торопливо пальтишко.

— Погоди, потом,— тяжело поднялась Лидия: ждала пятого ребенка.— Помоги мне сначала, ковер в детской убрать надо. А то вот-вот уже на курорт-то мне... А ребятишки увозят, потом не дочистишься.

В детской вдоль всех стен стояли одинаковые аккуратно застеленные одинаковыми покрывалами кровати. У кроватей, как в детском садике, стояли столики. На одних громоздились игрушки, на других книги. Книги, впрочем, лежали всюду: на стульях, на подоконниках, на стеллаже в углу.

— Виктору все некогда. Придет уставший, а тут еще дома вся работа на нем. — Смотрела Лида, как Шура ловко скатывает ковер, переставляя с места на место столики, стульчики. Сама не наклонялась — тяжело.

Потом Шура на улице так же проворно выколачи-

вала ковер. Лида стояла, смотрела и радовалась одному и тому же:

— Я уж боялась, грешница, как бы она руки на себя не наложила: ведь уж целый месяц, с самых похорон, ни слезинки. Закаменела вся.

— Ну! — откликалась Шура, не переставая колотить по ковру.— Коровы и те стали ее пугаться. Ну, теперь начнет помаленьку оживать. Забыть, конечно, не забудет, а жить-то надо!

— А-а-ах! А-а-х! А-а-ах! — весело покрикивало в просторном дворе эхо от ударов по ковру.

Гукала Катюшка в доме.

Лида стояла на крылечке, пальто нараспашку — не сходилось уже на тугом животе, смотрела на оттаявшее мартовское небо. Покойно смотрела. Не устало, а покойно. Радовались свободе впервые выпущенные на солнышко куры.

Пол в детской застелили шерстяными в полоску половиками. Катюшка поползла по ним, изучая: ведь что-то новое!

Шура поймала ее, подбросила под потолок, потом прижала нежно. Затеплились чем-то забытым глаза.

— Детей тебе надо, Шура,— посоветовала Лида, устраиваясь с вязаньем в кресле,— один ребенок — не ребенок...

— А как я хочу маленького, Лидуша! — не скрыла, просто призналась Шура.— И Галинка все припрашивает, купите мне сестричку! Так с моим разве об этом думы?

— Ну как он там? Что пишет? — встрепенулась Лида.

— А ничего не пишет. Молчит. Опять, видно, дом там строит. Хитрован! Построит, потом никуда не денешься, ехать надо. Вот уродился на мою голову, бродяга! Дома всю жизнь, как на вокзале, живу. Все на узлах! Надоело!

— Не бродяга, Шура, нет,— задумчиво сказала Лида.— Может, он родину свою ездит-ищет... «Бродяга»...

Совсем ребенком привез Ивана с вокзала еще в первый год войны председатель совхоза. Пожалел сироту, а сам вскоре на фронт ушел и не вернулся. Так и растили мальчишку всем совхозом.

— «Бродяга»,— не могла успокоиться Лида: любила зятя.— Бродяга бы дома не строил сам, своими руками...

— Сам строит, сам продает,— подбрасывая Катюшку, засмеялась Шура.— За двенадцать лет жизни с ним, где мы только не жили! На станции Зима жила твоя тетка? — обращаясь к Каюшке, говорила Шура.— Жила! Сбежала? Сбежала! В городе Фрунзе жила твоя тетка? Жила! И оттуда мы сбежали, скажи! Из Молдавии твой дядька непутевый сам уехал! Теперь Кубань. Да что я, цыганка какая?

— Цыганка и есть,— усмехнулась Лида.— В кого ты у нас такая? Никого будто в родове нашей чернявого не было.

— Вздумает опять с места трогать,— продолжала о своем Шура,— разведусь, а не поеду! — сказала, как отрезала.

— Ты говори, да не заговаривайся! — приструнила сестру Лидия.

— Ну, побежала я,— спохватилась Шура.— Я ведь на минутку и вырвалась только. Тебя да Машу попроведать. Домой и не успею заглянуть! Ох, у нас такое творится! Побежала!

— Постой, постой! — отложила вязанье Лида.— Что творится? Договаривай!

— Где? — поняла, что проговорилась, Шура.— Да развезло, говорю, дороги...

И исчезла, и мелькнула молнией мимо окон.

А Лида стояла встревоженная, опустив на живот руки.

Разговаривали вполголоса девочки. Теребила за подол маму Катюшка.

Лиде не сиделось дома. Шла торопливо, но осторожно, чутко выбирая ногой надежное нескользкое место на дороге, то и дело одергивая полы пальто, едва закрывающие живот. Еще издали услышала голодное мычание коров, доносящееся из самого дальнего, пока единственного заселенного корпуса. Подойдя ближе, увидела такую картину: зияли пустые глазницы окон коровника. Все рамы были выдраны и стояли вдоль стены, сверкая стеклами. Сразу несколько тракторов везли к выставленным окнам корм: соломенную резку,

силос. Мужики — и кормачи, и механики, и даже парторг с самим директором — вилами перебрасывали корм с тележек в окна. В корпусе женщины, выстроившись конвейером, охапками передавали его друг другу, заполняя кормушки.

Лиде было нестранно видеть с вилами в руках Константина Ивановича, парторга. Он, хоть и много учился, и даже в столице, а вырос здесь. И родители его с самого основания совхоза, с тридцать второго года, живут здесь безвыездно. Всю крестьянскую работу поэтому Константин умел делать споро и красиво. А вот директор, Аркадий Евгеньевич, больше суетился, сено с его вил сваливалось, никак не успевал он его донести до окна.

Голодное мычание коров уже затихало, сменяясь шумом жадно жующих, тяжело вздыхающих животных, когда Лида вошла в корпус. Ей не надо было спрашивать, что случилось. Все видно как на ладони. Именно этого она и боялась, когда еще только мечтали о работе по-новому. Ненадежным показался ей тогда предложенный проект. Специально перечитала множину литературы о новых животноводческих комплексах. Везде корма на автокарах развозят, на транспортер не надеются. А им надо было по-своему! И вот результат.

Бабы-то выкричались, а она нет, и теперь злость разгоралась в ее глазах. Такой ее и увидели сестры. Сначала Шура. Она, пожалуй, проворнее всех суетилась у кормушек, первой и увидела сестру:

— Ты что? Сдурела, ли чо ли? — испугалась за нее и давай на себя кричать.— От дура я длинноязыкая! Вот ботало-то! Вот кого бить надо, да некому!

Словно ожидая такого запевалу, опять загалдели женщины:

— Что, Лида, видала! Во-от как мы теперь!

— Механизация! Комплексная!

— Вот что у нас,— тихонько, с болью в глазах проговорила сестре Антонида Степановна.— И главно дело — ни зайти, ни заехать. С кормом-то. Спасибо Косте, Константину Иванычу,— быстро поправилась она,— надоумил рамы выставить...

— Так и будем рамы выставлять да вставлять, спасибо Константину Иванычу! — как давеча Зинша, отре-

зала Лида. Антонида Степановна замолчала виновато.

Маша в разговор не вступала, смотрела, как коровы, насытившись, нажимают привычно мягкими резиновыми губами в дно поилок, пьют, успокоенные...

Волю языкам дали женщины потом, когда всех их,— и доярок, и скотников, и кормачей,— собрали в красном уголке.

Говорили «красный уголок» по привычке. На самом деле это был светлый уютный зал. С трибуной и столом из полированного дерева, с рядами таких же стульев, с горшками цветов в кашпо, с плакатами, со стендами для брошюр и «боевых листков», с графином и стаканом для выступающих.

Константин Иванович постучал по графину карандашом, призывая к порядку.

— Товарищи,— сказал устало в наступившей тишине,— вышел из строя транспортер...

— А мы не знаем! — сразу бесцеремонно откликнулось несколько голосов.— Объяснил!

— Не успели пустить — уже готово дело!

Константин Иванович терпеливо переждал волну шума, продолжал:

— Точнее, механизмы кормораздаточного агрегата. Механики ищут причину... А так как помещения для коров находятся сразу за кормоцехом...

Константин Иванович имел обыкновение говорить обстоятельно, не торопясь, как в аудитории студентов.

— Да знаем мы все, Константин Иванович! Ты лучше скажи, что делать будем? — не выдержали опять в зале.

Нервно жевал соломинку директор, хмурился, думал.

— Что делать? Вот мы и собрались, чтобы посоветоваться!

— Посоветоваться? — опять взвился кто-то.— А когда проекты составляли, советовались?

Встал директор:

— Проект готовился специалистами из областного института Облколхозпроект, не доверять им у нас не было оснований.

— Да, видать, эдакие специалисты и на ферме-то ни разу не бывали. Напридумывали, а мы — расхлебывай!

— Да коровушки! — опять не дали договорить директору.

— Не знай, кто мы теперь? Доярки? Кормачи ли? Домой некогда сбегать!

Возмущались женщины справедливо, и Константин Иванович морщился от их выкриков, как самый виноватый.

— Ну, вот что, товарищи животноводы! — директор решительно прихлопнул ладошкой по столу.— Строительство комплексов — дело новое, особенно у нас в области. Определенные издержки неизбежны. Тем более,— не без гордости добавил он,— мы — первые открываем фабрику молока...

— Открываем, открываем, да открыть не можем!

Не так-то легко было успокоить доярок.

Но директор невозмутимо продолжал:

— Проблем встает и будет вставать немало! Одной из них, судя из случившегося, видимо, будет являться проектировка... И вторая, не менее важная проблема — обеспечение комплексов оборудованием, безотказно работающим... вот.

Присмирели наконец женщины. Раз сам директор так уговаривает их, стало быть, не так все просто.

Но своей серьезности испугался, видно, и сам Аркадий Евгеньевич, потому что вдруг выкрикнул:

— Да, товарищи женщины! Чикал бы я вас и брякал! Неужели так важно найти виноватого?

Молчали товарищи женщины, не откликнулись на шутку директора. Ему стало неловко, продолжал опять строго:

— Повторяю: дело новое. Недаром мы пока одну секцию пустили, в триста голов из тысячи. Можно сказать, идет эксперимент...

— Ничего себе! Эск... эск...— попыталась выговорить Шура, махнула рукой.

— Сначала акт сдачи подписываем, потом экспериментируем,— не удержалась Лида.

«И ты здесь?» — удивился глазами парторг.

Директор метнул в ее сторону настороженный взгляд, ничего ей не ответил, продолжал:

— Думать, как решать все эти проблемы,— нам, руководителям. А вас мы просим, несмотря ни на что, постараться, чтобы не упали надои... Несмотря ни на

что! Вышел из строя транспортер, чикал бы я его и брякал! Все остальные технологические операции могут проходить нормально. Мы вас просим...

«Просим,— думала печально Антонида Степановна.— Эх, бабы, бабы, избаловали нас, шибко избаловали!» Году в сорок втором это было, а как сейчас помнит Антонида Степановна: управилась она по дому, побежала на ферму помочь матери. А какие в те поры фермы были! Вспомнишь — за сердце берет. И ведь одна доярка все делала: и кормила, и доила, и поила. Вот прибежала она на ферму, коровы ревут, вон как сегодня. Где мамонька? Глядит: а она из силосной ямы вылезает — а было время об эту пору, к весне, когда с кормами-то совсем невмоготу становилось. Вот вылезает из ямы мамонька по лесенке, а в руках-то у нее по ведру, да в зубах мешок с силосом. Наскребла, говорит, с боков ямы кое-как. Как сейчас, видит ее Антонида Степановна с этим мешком в зубах. Вот поставила мать все это на снег, отдышалась маленько да и говорит. Тоська, говорит, придет время — на кнопки только нажимать станете, я, говорит, не доживу до тех времен, а ты успеешь еще, понажимаешь. Дак ты, говорит, Тоська, не забудь, как мать в зубах мешки с трухой коровам таскала... На всю жизнь запомнились Антониде Степановне эти слова.

Задумалась старшая сестра, не заметила, как к столу Шура выскочила. «Успела, егоза! — усмехнулась Антонида Степановна.— Нисколь не сидится! И в кого ты у нас длинноязыкая такая?»

А Шура строчила:

— Агитировали нас тут счас руководители наши: мол, проявите сознательность, поработайте на совесть... А нас агитировать не надо — меня так уж точно!

— Пореже маленько, Шурка! — засмеялся кто-то в зале.— Торопыга!

— Да не умею я пореже-то,— не унималась Шура.— Вот кто из совхоза нашего никуда не уезжал, тот, может, того и не чувствует, чего я чувствую...

Усмехнулись в зале, мол, знаем, про что сейчас запоешь.

— Слава богу, поездила я со своим разлюбезным по белу свету. Вот жили мы в одном колхозе. Ничего не скажу: хорошо работают там люди. И живут не хуже

нас. А разница все же есть между нами. Мы как: надо — все бросаешь, бежишь на работу. Дома — хоть трава не расти! Так? А в колхозе том часто такое бывало: стучит бригадир в окошко утром. Настасья, там, Дарья, в поле пора! А Настасья или Дарья ему в ответ: «Не поеду нынче! Мне-ка шерсть бить надо на пимы! Очередь моя на шерстобитку нынче!» Вона как!

Смеются в зале, смеются руководители.

— ...Вот горжусь я тем, что рабочая! И куда бы он меня, мой разлюбезный, ни увез, уж такая везде и останусь. А почему? Да потому, что в совхозе нашем выросла. Вот с таких лет.— Шура повела ладонью понад полом,— поняла: перво дело — работа на производстве. А вы,— повернулась к столу,— агитировать!

Шуру, как и предполагали женщины, сменила Лида. Вышла степенная, величаво важная.

— Эта скажет, только держись! — шептались в зале.

И Лида сказала:

— Моя сестра Шура очень хорошо про рабочую нашу гордость говорила... А только скажу я вам, Аркадий Евгеньевич да Константин Иванович, кормить коров через окна — это все равно безобразие и не государственный подход к делу!

— Ты не волнуйся, Лида, нельзя тебе,— позаботился Константин Иванович.

— Ничего! Пускай привыкает!

Всколыхнулся опять зал.

— Конечно, наши бабы вывезут! Но вот я вспоминаю то партбюро, когда мы проект этот обсуждали. Тогда все размечтались, распылались! А я, помню, ночи перед этим не спала, все книжонки и журналы перерыла и нигде такого не встретила, чтобы кормоцех прямо к коровникам прилепили. И в Подмосковье на таких фабриках и в других местах корма развозят на автокарах. Нет, нам надо по-своему! Вот и получается: резку соломенную — в охапках! А посмотрите, что с уборкой напридумывали? Траншеи к выгребной яме тянутся через весь двор! Ну, хорошо счас оттепель, а зимой? Все замерзнет, что тогда? Бери, бабы, лопаты, выставляй окна? Так? Правильно кто-то сегодня сказал: кто рисовал этот проект, фермы в глаза не видывал...

— Истинно, истинно,— кивали головами женщины.

— А где младшая-то? — шептались.— Той не до выступлений.

— Да она у них и вообще-то смиреная...

— А между прочим,— продолжала Лида,— протокол даже можно поднять: не я одна говорила обо всем этом на том партбюро...

Нечего было возразить ни парторгу, ни директору.

— Ну, Аркадий Евгеньевич и всегда-то не очень к нашему брату прислушивается,— вылепила ему Лида.— Все больше чикает нас и брякает!

Засмеялись довольные женщины:

— Вот отбрила, так отбрила.

Неприятно директору, да деваться некуда. Склонил упрямую голову, слушает:

— Ты, Константин, верно, сидел да стишки на том бюро сочинял.

Заулыбались опять в зале, на «боевой листок», исписанный короткими строчками, заоглядывались.

— Ты не думай, Костя, я не в осуждение. Стишки твои нам по душе, хоть, правда, иногда и прочитать-то их некогда. А все же приятно: не погнушался человек, да еще парторг, «боевой листок» в стихах составлять. Вон Зинша, так та стишки твои даже в тетрадочку переписывает, назубок учит!..

Ну, Лида! Теперь Зине не будет проходу: уже хихикают, стреляют в нее глазищами.

— В общем, в принятии проекта такого важного для нас объекта мы все оказались...

Лидия Степановна вдруг охнула тихонько, виновато оглядела всех, схватилась за живот и как-то вся вмиг осела, улыбнулась по-детски жалобно.

Женщины сразу окружили ее, засуетились.

— Володя! — закричал растерянно Константин Иванович, выбегая во двор.

Появился шофер Володя.

Аркадий Евгеньевич под руки осторожно вывел Лидию.

— За Виктором бы надо! — вспомнил кто-то.

— Не надо, пускай не тревожится, Володя довезет,— слабо проговорила Лида и вспомнила: — Маша-то где же?

Шура и Антонида Степановна уже устроились рядом с сестрой, по обе стороны.

В несколько голосов закричали доярки:

— Ма-ша! Ма-а-аша!

Маша прибежала раздетая, похожая в белом халате на медсестру.

— Здравствуй, Маша,— тихонько сказал шофер Володя. Но главное сказали его глаза. В такой обстановке это было совсем некстати. Да и всегда-то он, Володя, был в ее жизни некстати. Но что он мог сделать, если не могли молчать его глаза.

Маша не услышала его, не заметила. Стояла перед открытой дверцей бледненькая, несчастная, смотрела на сестру, страдая вместе с ней.

— Машенька,— через силу улыбнулась Лида.

— Торопись,— шепнул Володе Константин Иванович.

Машина тронулась.

Женщины по двое, по трое, потянулись к ферме. Константин Иваныч, раздетый, с непокрытой головой, стоял и смотрел вслед машине. В этом обыденном житейском событии — женщина собирается рожать — видел он сейчас, конечно, нечто возвышенное. Именно эта способность, которую он сумел сохранить до седых волос, приподниматься над фактами, иногда вопреки деловым качествам поэтически воспринимать их, и позволяла ему быть душой коллектива, в котором он проработал всю свою жизнь, исключая годы учебы и войны.

— Машенька,— увидел ее Константин Иванович.

Она тоже стояла и смотрела вслед машине.

К корпусу пошли вместе.

— Машенька, вот какое дело,— Константин Иванович, боясь разбередить ее, в то же время знал, чувствовал, что должен сказать что-то такое, отчего ей стало бы легче.

— Зоотехники нам очень нужны, девочка.

— Нет, Константин Иваныч, не пойду,— резковато ответила Маша и тотчас пожалела: нельзя с ним так, добавила мягче: — Нравится мне просто дояркой. Да и перезабыла все. Да и характер не тот. Не смогу руководить... Особенно теперь...— И побежала от него, чтобы не увидел навернувшихся от его участия слез.

Теперь ей вслед смотрел Константин Иванович, думая о ее судьбе.

Сгущались за окном кабинета директора совхоза сиреневые мартовские сумерки.

Аркадий Евгеньевич и Константин Иванович, похоже, не собирались расходиться по домам. Сидели в накуренной комнате, озабоченные, утомленные нелегким днем. Говорили все о том же — о неполадках в комплексе.

— Ну, с навозоудалением проще, еще не поздно переделать. А вот что делать с кормоцехом? — спрашивал сам себя директор.

— Да, кормоцех,— эхом откликнулся Константин Иванович.

— Сколько надо, к примеру, соломенной резки, когда пустим все секции? — спрашивал директор и сам отвечал, что-то вычисляя на листке календаря,— центнеров до восьмидесяти в сутки.

— Да, около этого,— опять откликался парторг.

— А производительность одной установки, чикал я их и брякал, сорок центнеров! Кто такое придумал? Три зарода в сутки перемолоть надо! Значит,— записывал в листок календаря,— первое: нужна еще одна установка. Второе: нет дозатора. А где его взять? Ведь рацион-то нужен различный! Что? При современной технике опять на глазок!

Константин Иванович молчал, опустив голову, будто он один был виноват во всех этих просчетах.

Энергично черкался в календаре директор.

— И обойдется все это нам чуть не вдвое дороже.

— Да,— вздохнул Константин Иванович,— дорогонький эксперимент!

— И ты! — взбеленился директор.— Дался вам этот эксперимент! Сказать ничего нельзя, чикал я вас и брякал! — И успокоился так же быстро, сказал устало: — Да, дорого. И все же, несмотря ни на что, выгодно во всех смыслах: и в смысле экономики, и вообще... Я вот как-то подсчитал, сколько мы только на одни стены на старых фермах денег вымазали. Я имею в виду покраску, побелку. Солидная сумма получается! А ни гигиены, ни красоты. Эх ты, поэт! Выше голову! Придумаем что-нибудь. Проектировщиков вызовем...

Директор прошелся по кабинету, усмехнулся вдруг:

— Как она нас сегодня, а? Ох и бойка! Сестрички-то ее попроще... Хорошие бабы!

— Хоть бы все у нее обошлось,— заботился Константин Иванович.— Да с Машей надо что-то придумать. Сменить бы ей привычную обстановку.

Директор ходил по кабинету, и непонятно было, слушает ли он парторга или о своем о чем-то думает.

— ...Она ведь техникум окончила,— продолжал Константин Иванович,— предложил перейти по специальности, не хочет. Вот думаю, может, в институт бы ее... У тебя нет никого в институте, чтобы повнимательней, без лишней травмы, а?

— Эх, поэт, поэт,— остановился перед ним директор,— мне бы твои заботы!

И в последующие дни не заработал кормораздаточный транспортер. Пройти через кормозапарник было задачей не из легких, даже без ноши. Помещение перегораживали трубы разных размеров, лесенки, подпоры.

Чертыхаясь, обходили эти препятствия женщины и все носили и носили в коровник охапки сена.

— Девчата! — сверкнула глазами Антонида Степановна.— Что я придумала! Санки надо приспособить для этого! Кто его знает, сколь еще они проремонтируют!

— И верно,— поддержали женщины.— Чем так-то толкаться!

— Я счас это дело спроворю! — пообещала Шура и шустро запрыгала через трубы и перегородки, заторопилась к выходу.

А пока она бегает, улучили женщины минуту отдохнуть. Опустились прямо на эти трубы да перегородки, развязали платки, вытряхивая из них солому.

Эх, свадьба, свадьба, свадьба
Пела и плясала... —

завела было песню Зинша, да никто не подхватил, не откликнулся.

— Эту, Зина, надо на просторе петь,— объяснила, почему угасла песня, Антонида Степановна.— Высоко да широко. А здесь что подушевней, поласковей.

И тихонько, вполголоса свою предложила:

Береза, белая подруга...
Скажи, скажи, какая вьюга... —

сразу подхватили песню остальные.

С помощью детских санок, которые свободно проходили между кормушками, дело пошло скорее, и повеселели лица женщин:

— Может, вырвемся перед дойкой домой на часок!

— Ну, теперь ни к чему нам и механизация!

— Это чье же это рацпредложение? — появился в коровнике щеголеватый, весь подтянутый с фотоаппаратом через плечо заведующий клубом Елисей Николаевич.

— А-а! Сатира пожаловала и юмор! — балагурили доярки.

— Юмóра!

— Давай, Елисей Николаич, впрягайся-ка лучше!

— Ты слушай, Николаич,— зашептала ему на ухо Антонида Степановна, догадавшись, зачем он пожаловал к ним.— Не снимай уж это,— показала глазами на обоз санок, груженный сеном.— Никто ведь не виноватый. А директор-то, может, сам пуще нас с тобой переживает. А ты лучше сними-ка нас, редко ведь все-то вместе робим.

Во дворе прихорашивались, одергивали халаты, вынимали друг у друга соломинки из волос, облизывали, чтоб поярче были, губы на ветру.

Елисей Николаевич примерялся долго: то много свету, то мало. То фон не тот, то тени на лицах.

— А Маша-то! — спохватились сестры.— М-а-а-ша!

Маша вышла.

— К нам, Маша!

— К нам!

Поколебавшись, Маша шагнула к сестрам. Те обняли ее, замерли.

Щелкнул наконец фотоаппарат. Еще раз, для верности, еще.

К Елисею Николаевичу подошла пожилая Ивановна, потянула его за рукав:

— Ты, Николаич, снял бы меня однуё. К фотографу-то некогда, а мне вот как надо дочке в город послать. Пришли, просит, мол, стосковалась...

И заплакала, торопливо смахивая тыльной стороной ладошки слезы с морщинок.

— Пожалуйста, Ивановна! — с готовностью откликнулся Елисей Николаич.— В чем дело!

— Да нет, Николаич,— застеснялась Ивановна.— Ты бы меня тама, в коровнике. Чтобы трубочки стеклянные было видно. Хочу, чтоб, как мы теперя робим, было видно.

— Да там свету мало, Ивановна!

— Ну, ин ладно и здеся...

И заволновалась, как бы получше сняться. Любое дело для Ивановны — важное дело, работа. А работу надо делать с толком, хорошо да серьезно.

Долго искала рукам применение. За спину? Неладно. По швам? Ровно солдат.

Кто-то догадался доильный аппарат принести.

Сразу легче стало, привычней.

Замерла на фоне новых строений строгая, до слез простая и этим красивая Ивановна. Напряженно, боясь моргнуть, чтобы все дело-то не испортить, всматривалась в глазок фотоаппарата.

Виктор, муж Лиды, большой, с огромными руками, возился в мастерской со своим трактором: шла подготовка к посевной. Один за другим появлялись трактористы, проходя мимо Виктора, останавливались, спрашивали:

— Ну, с кем поздравить?

— Да не с кем еще,— всем одинаково отвечал Виктор.

— Опять Антона ждешь? — засмеялся сосед.

— Его.

— В прошлый-то раз получился сын Катерина, кажись?

— Катерина,— крепко закручивал Виктор гайки большими в ссадинах руками.

Замолчали вдруг в мастерской, перестали работать. Виктора словно что-то толкнуло изнутри: поднял голову.

В проеме двери стояли все три сестры.

Машинально вытер тряпкой руки, шагнул к ним, как в омут.

— Не пугайся, Виктор,— успела вперед других Шура.

— Кесаря будут делать,— прошептала Антонида Степановна, да так, что все в мастерской услышали.

И кто-то из трактористов вздохнул:

— Беда не приходит одна...

— Поеду! — рванулся к выходу Виктор.

— Да не пущают к ней, не пущают! — остановили его сестры.— Потерпи как-нибудь до завтрева.

— Ребятишек-то ко мне приведи,— сказала Шура.

— Зачем? — не понял Виктор.

Потом опять работал. Вернее, руки работали, а хозяина словно и не было здесь.

Сосед посматривал на него тревожно, успокаивал неумело:

— Ты это, не шибко. Кесаря часто делают. И ничего. Вон Вальку знаешь? Сенькину? Тоже кесаря делали...

Вечером Виктор до самых густых сумерек выгребал снег из двора. Так работал, что ходуном ходили лопатки под взмокшей рубахой.

Из-под надвинутой на лоб шапки стекали капельки пота.

Там, где лопате не поддавался снег, брал кайло, с силой долбил спресованный, толстый слой льда. До самой земли долбил, пока не показывалась осенняя трава.

Мертво смотрели на него неосвещенные окна дома — девочек увела-таки Шура.

Словно боясь этих окон, этого сразу нежилого дома, Виктор отворачивался от него и махал, махал лопатой что есть мочи.

Лиду разрешили навестить в один из самых хвастливых мартовских дней.

Сестры и Виктор торопливо облачились в халаты.

— Кто-то один,— приказал врач.

Виктор, боясь, что сестры опередят его, разгреб их огромными руками, рванул дверь палаты.

Лида лежала одна, слабо улыбалась мужу, говорила тихонько:

— Ты не расстраивайся, Витя, вот поправлюсь маленько и все равно принесу тебе сына...

В две погибели согнулся перед ней на низком для него стуле Виктор, молча гладил бледную руку жены.

— ...Только бы успеть, а то ведь много лет-то уже мне...

— Порода, верно,— будто оправдывалась,— такая петровская. Сильно в нас бабье семя. И у мамоньки все девчонки были, и у Шуры девочка... Да и у бабоньки ведь тоже,— сама удивилась даже.— И у меня вот видишь...

Перебирал неумело податливые пальцы жены в своих огромных ручищах счастливый Виктор.

Надеялась и Маша на эту чудодейственную силу их рода: уж очень хотел Сережа дочку.

В последнее время жила Маша в стремительном темпе, сменившем ее безразличие ко всему, кроме собственного горя. Теперь же она вскакивала по утрам раньше няньки, и — готовила ли завтрак, бежала ли на ферму, доила ли, мыла ли аппараты — все кипело в ее руках, будто, если будет сама торопиться, так и день скорей пролетит.

И это действительно так и было: Маша торопила дни. Антонида Степановна с первого мгновения заметила перемену в своей любимице, но виду не подавала, тревожилась только: к добру ли, не к добру?

И письмо артисту народного хора Григорию Меньшикову пока сочинять перестала, хотя по-прежнему, возвращаясь с фермы, старалась от доярок отстать: попривыкла к этим редким тихим минутам. Ведь и печаль греет сердце, дает ему работу.

В последний раз встретились они с Гриней лет десять назад, приезжал он в родительский день помянуть отца-мать своих. С дочкой приезжал и с женой. А ждала его Антонида Степановна ни на что не глядя, знала, верила: придет.

Вечером металась по горнице сама не своя, даже на колени перед образами грохнулась, шептала жарко: «Богородица! Пресвятая дева Мария! Христос с тобою!

Спаси и помилуй меня! — И добавляла свое: — Пусть он придет! Пусть придет!» И он пришел. Каждое мгновение той ночи оберегала Антонида Степановна, хранила в сердце, лелеяла. Каждое его слово помнила и верила каждому слову: чувствовала — как бы он ни жил, а только она родная ему по-настоящему. Потому и говорил он ей в ту ночь, что наболело, что мучило, без опаски быть непонятым, без огляду. И болью за него ложился ей на сердце его бессвязный шепот, легко переводился на житейский язык. Судьба многих, оторвавшихся от земли, постигла его. И на сцене работал по-крестьянски много и трудно, а так ли живет, все же сомневался, а любви и счастья не нашел. «Годы прошли, Тося, могу теперь уж сказать: ни работа, ни семья, ни друзья, ни слава и почет — ничто не может тоски моей по тебе заглушить, по тебе ли, по дому ли...»

Ох, ни о чем-то не жалела Антонида Степановна, а только не хотела, чтоб сестра младшая судьбу ее повторила. Уж как поэтому радовалась, когда поняла: оживает понемногу девка. Вышли они с ней на днях за ворота фермы, Маша остановилась вдруг, будто только что сообразила: весна на дворе, март.

— Нянька! Красота-то какая! — ахнула, как в детстве.— Шел бы и шел без конца... А знаешь что, нянька, сбегаю-ка я к Лиде.

— Сбегаю! Ишь, торопыга! — засмеялась Антонида Степановна.— До району-то все десять верст!

— А я прямиком!

Маша смотрела на снега, разрисованные пепельными тенями, на прозрачные дали. И шла к этим далям. Не по дороге шла, а рядом, по едва приметной тропинке.

Март старался изо всех сил. Он словно давно ждал человека, истосковавшегося по голубому безмолвию и способного поэтому оценить по достоинству все его возможности.

Ждал и приберегал для него самые свои свежие краски.

Шла Маша, замечала: каждый кустик, каждая малая былинка отбрасывали тени на снежное полотно, словно узоры по нему ткали.

Неутомимо трудились подмастерья-сосны, расчерчивали полотно на строгие квадраты.

А березки-кружевницы рассыпали по ним свою нежную вязь. Прилежно учились у них светлобокие осинки. И только неумехи-ели стояли в стороне, чопорные в застегнутых до пола шубах.

За леском открывалось поле. Припорошенные снегом, стояли стога соломы, будто огромные белолобые быки. Угрюмо уставились они в землю, словно их кто-то привязал и этим озлил.

А за полем в синей дымке едва-едва просматривались строения небольшого районного городка.

Шла Маша умиротворенная, растроганная услужливым ли мартом, или для этого были еще какие-то причины.

Шла не торопясь, не сразу услышала шум догонявшей ее машины.

Обернулась, остановилась.

Из машины вышел Володя, обрадовался: не ожидал увидеть ее такой приветливой, успокоенной.

Заторопился открыть дверцу, промахнулся мимо ручки, чуть в снег не опрокинулся.

— Маша! Садись! Ты, наверно, к Лидии Степановне? В больницу?

И опять слишком откровенными были его глаза.

— Спасибо, Володечка,— сказала Маша, как могла бы ему сказать женщина, много старше его.— Я хочу пешком, Володечка, не обижайся.

И пошла дальше, оставляя его в этом голубом безмолвии.

Володя долго курил, поглядывая, как удаляется легкая фигурка, растворяясь в нестерпимом сиянии снегов.

Потом резко хлопнул дверцей.

Машина развернулась круто, рванулась так, что, казалось, вот-вот взлетит с вытаявшей клочками дороги. А то сунется носом в кювет, не успев разглядеть поворота. Или врежется в придорожную сосну.

Лида тоже приметила перемену в сестре. Не спрашивала, ждала, когда сама расскажет.

Маша переплетала сестре косы: разрешили той уже сидеть, рассказывала:

— В лесу-то как хорошо, Лидуша! Пешком я шла... А в кормоцехе одно наладят, другое что-нибудь из строя выйдет...

И вдруг, боясь выдать себя, спросила:

— А как дочку назовете, Лидуша?

— Да придется, небось, конкурс объявлять на имя-то. Все вроде у нас есть, какие только знаем,— смеялась сестра.

— Лидуша,— вспыхнула Маша, смутилась,— не называйте Олей.

Лида недоуменно ждала.

— Сережа очень хотел девочку. Олей мечтал назвать...

Все еще не понимала Лида, к чему она все это говорит.

— ...Лидуша,— совсем тихо, почти шепотом созналась Маша,— мне кажется, я... А у нас всегда девочки были. И у мамы. И у Шуры. И у тебя. Может, и у меня... Сережа так хотел Олей...

— Машенька! — поняла наконец сестру Лида.— Радость-то какая!

— Лидуша,— шептала Маша,— поверь, мне больше ничего не надо, только бы его кровиночка со мной осталась...

— Теперь тебе поберечь себя надо, теперь волноваться тебе, Машенька, ни-ни...

И обнявшись, плакали от радости.

В один из этих-то, уже не зимних и еще не весенних дней и получила наконец Шура весточку от своего неугомонного мужа.

Телеграмму принесла прямо на ферму дочка Галя. Женщины только что закончили дойку, промывали аппараты под кранами, плескались с удовольствием теплой водой, перекликались в этом веселом шуме конца работы.

— Говорят, клуб-то новый еще не успели открыть, а уж под контору порешили отдать...

— Кто сказал?

Зинша подмигнула лукаво, мол, подожди, посмотрим, что будет. И опять к Антониде Степановне:

— Слыхала, Тося, нет? Клуб-то новый под контору...

— Правду говоришь, Зинша? — строго спросила Антонида Степановна.

— Точно! Сама в сельсовете даве слыхала!

А уж заулыбались вокруг доярки, подозревая розыгрыш.

— Ну, я им счас пойду все выскажу! — разгневалась Антонида Степановна, забрякала сильнее аппаратом.— Я им скажу! Сколь годов ждем клуба нового! Контору!

— Да разыгрывает тебя Зинша! Не видишь, ли чо ли? — смеялась вместе со всеми Шура.

В это время и подоспела дочка с телеграммой.

— От папы, мама! — сообщила радостно.

Шура развернула телеграмму, дрогнули губы.

Притихли товарки.

— Что там? — боялась ответа Антонида Степановна.

— Да все то же,— будто устала сразу Шура, погасла.

Подошла Маша, обняла ее за плечи.

— «Выезжайте срочно,— разбирала телеграмму Антонида Степановна.— Дом готовый. Здесь уже садят огороды...»

— Ну, и чего ты? — вскинулась на Шуру Зинша.— Мужик зовет! Другую не завел? Не завел. Тебя, дуру, зовет, а ты кочевряжишься, как кака-нибудь мадмуазеля!

— Мадам говорят,— робко поправила Зиншу десятилетняя Галя и строго посмотрела на нее.

Все засмеялись. И Шура тоже.

Потом спросила себя невесело:

— Ну, мадам, что будем делать?

Шура действительно жила по-походному. В небольшой совхозной квартире было все только самое необходимое. Скромную обстановку скрашивали простиранные до голубизны салфетки, скатерти, покрывала.

Сестры сидели кто на кровати, кто на сундуке.

Виктор на порог пристроился, вытянул неловко большие ноги. Ютилась в уголке за столом Галя, смотрела на всех печальными глазами, слушала.

Разговор шел давно.

— Ну, не знаю,— с сердцем говорила Антонида Степановна.— Ты, конечно, сама уже, слава богу, не ма-

ленькая, можешь и своим умом жить. А только вот тебе мой последний сказ: муж зовет, не дядя чужой, должна ехать.

Шура, видимо, уже все сказала, молчала, хмурилась.

— Мамонька наказывала всем по-путевому жить. А как я вам заместо матери...

Не договорила Антонида Степановна, Шура взвилась:

— По-путевому! Да разве я-то не хочу по-путевому? Вы в мое-то положенье войдите! Здесь мой дом! Наездилась! Хватит! Вон и Галинка не хочет!

— Я хочу жить здесь, только чтобы с мамой и папой! И с классом своим,— откликнулась Галя.

— Ты-то что молчишь? — накинулась на зятя Антонида Степановна.

Виктор пожал плечами, мол, чужая семья — потемки.

— Лиды нет! — пожаловалась Шура.

— Лиды нет! — наступала Антонида Степановна.— Лида тебе вечор то же самое сказала! Для нее семья — святое дело!

Неожиданно заплакала Маша, жалобно, по-детски.

— Ты что, Машенька? — кинулась к ней Шура.

— Если бы... если бы... был жив Сережа! На край света бы! Куда глаза глядят, только бы с ним!

Может, это и решило дело.

На другой день Шура передавала свою группу в пятьдесят коров молоденькой робкой девушке.

Решив ехать, Шура опять ожила, строчила без умолку, подводя девушку то к одной, то к другой корове:

— Группа, вообще-то, хорошая. Характеры смирные...— говорила, как о людях.— А есть и норовистые, к тем опять особый подход нужен. Вымя, конечно, всем мой только теплой водой. Да сразу-то не плещи, а сперва помассируй руками, приготовь. Чтоб не вдруг. А то вспугнешь, она и лягнет тебя! Все бывало, ой, бывало!

Девушка запоминала, кивала согласно.

— Вот эта,— Искра,— любит, чтоб с ней поговорили. Не встанет ни в жисть, если не поговоришь! Мол,

Искорка, светик ты наш, как спали-почивали? Что во сне видали да нам бы и рассказали?

Пока Шура строчила эту чепуху, корова по кличке Искра, зашевелилась, поднялась нехотя, шумно вздыхая.

— Вот-вот, видишь? — засмеялась довольная Шура.

— А вот эта красавица,— подвела девушку к огромной корове, действительно отличающейся от своих подруг особой статью.— Эта мадонна дала мне поначалу жару! Никак не слушалась. Если и расторкаешь, бывало, силой, чуть не на себе ее поднимаешь, молоко не все даст.

Корова шевельнула ушами, будто понимала: о ней речь.

— Маялась, маялась — придумала,— рассказывала с удовольствием Шура.— Ты кино «Веселые ребята» видела?

— Нет,— смутилась девушка.

— Ну, немудрено! Давнишнее кино. Мы-то еще успели! Ну, вот. Там артист Утесов пастухом выступает. Так у него коровы всё под песню понимают! Ну, я и давай, как Утесов, через песню к этой мадонне подходец искать! Ведь что ты думаешь? Как запою — безо всяких подымается. Придется тебе эту песню выучить!

— Да я и петь-то не умею,— испугалась девушка.

— Ничего! Нужда заставит калачики есть! Вот смотри:

Легко на сердце от песни веселой,
Она скучать не дает никогда!
И любят песню деревни и села,
И любят песню большие города!

Пока Шура пела, Мадонна, раскачивая красивое тело, поднялась в стойле.

Засмеялась девушка, будто не в коровнике находилась, а в цирке.

— Шура номерки свои откалывает! — крикнула ни зло, ни весело Зинша, готовясь к дойке.— Ты еще физкультурницу забыла показать!

— Успеется! — отозвалась Шура и продолжала про любимицу свой рассказ.— Как вызнала я эту ее слабость к музыке, ну, думаю, проучу я тебя! Ты у меня

настоишься! Только, бывало, утречком зайду, так сразу эту песню затягиваю. Она вскочит первая, а мне до нее ходу-то целый час. Пока ее очередь дойдет. Только вздумает улечься, я опять: «Легко на сердце от песни веселой!» Она — на ноги! Мне что! Горло-то по природе луженое! Ори, сколь хочешь! Ну, потом жалеть стала. А вот и физкультурница моя. Скрипка,— обратилась к корове,— на зарядку становись! — Корова не реагировала.

— Ни за что не встанет! — гордилась своей воспитанницей Шура.— А вот счас смотри: делаем, Скрипка, р-р-раз! — и сама, вытянув вперед руки, легко присела: — Два! — выпрямилась. Корова заторопилась, заскользила ногами в стойле, встала.

— Вот, пожалуйста, готова, теперь мой ей вымя, дои! — засмеялась доярка.— Ну, вот и все,— погрустнела вмиг.— Ласки побольше — вот и весь подход. С плохим настроением лучше и не подходи. За дверью его оставляй. Они все понимают! Люди и люди, только что не говорят! — закончила свою лекцию насмерть запуганной особыми подходами девушке.

Уже шли между стойлами к коровам доярки с аппаратами через плечо.

У выхода из светлой просторной секции со стеклянными проводами, делающими помещение еще светлей, Шура приостановилась, вздохнула:

— Ну, до свидания, кормилицы мои! — и попросила: — Одна у меня к тебе просьба, вернусь, а я чую, что вернусь, опять их возьму, не возражаешь?

— Ну ладно,— соглашалась покоренная Шурой юная доярочка.

— Да,— еще раз обернулась Шура.— Поначалу они удои сбавят; не переживай, привыкнут.

Константин Иванович просыпался, пожалуй, раньше всех в совхозе, даже раньше доярок. Идут они одна за другой к ферме, а он уже, едва различимый в предутренних сумерках, впереди похрустывает бодожком.

— По тебе, Константин Иванович, хоть часы проверяй!

— Привычка!

Ни о чем будто и поговорит перед дойкой, а настрое-

ние, глядишь, поднялось у женщин. С доярками поговорит; а там в мастерских работа начинается, он туда. «Обходительный» — прочно закрепилось за парторгом это уважительное на селе слово.

Сегодня ему пришлось на ферме задержаться дольше обычного: юная дояросчка, сменившая Шуру, мучилась около Мадонны, не желавшей признавать в ней хозяйку.

— Ну, вставай, ну, пожалуйста! — уговаривала корову девушка.

— Ей петь надо, знаешь? — подошел Константин Иванович.

— Знаю! Да слов я той песни не знаю!

— Давай вместе: «Легко на сердце от песни веселой...»

Зашевелилась нехотя Мадонна, мол, кто еще вздумал пользоваться ее слабостью?

— Ну, Игнат, ну, додумался! Шуриных коров — девчонке подсунул! Ну, жук! — беззлобно поругивал парторг заведующего фермой.

— Ты с кем это, Костя? — засмеялась Антонида Степановна, мимо ее коров проходил он.

— Тося? — вздрогнул Константин Иванович. И смутились оба: давно так не называли друг друга. И не могли ни о чем заговорить. Продолжал обход Константин Иванович, будто ничего не произошло в эту минуту. Смотрела в его постаревшую спину Антонида Степановна.

Ох, что-то больно часто стали вспоминаться ей молодые годы!

Домик, построенный мужем Шуры Иваном в большой степной станице, резко выделялся среди мазаных, ровно побеленных приземистых хат.

Стоял он несколько на отшибе и был похож на невысокого человека в широковатой для него шляпе. Был он кстати и некстати принаряжен деревянными разукрашенными закорючками, чувствовал от этого себя франтом и высокомерно поглядывал вдаль двумя в резных ставнях окошками.

Шуру словно подменили. Ходила она как-то робко и не так скоро, как обычно бегала по улицам родного

совхоза. Косыночку повязывала низко на глаза, будто смотреть ни на кого не хотела.

Только захлопнув калитку своего двора, давала волю чувствам: срывала с головы косынку, прятала в ней лицо, рыдала глухо.

Потом, выревевшись, опускалась устало на ступеньку крыльца, смотрела в одну точку бездумно.

Выходила полусонная дочка, садилась рядом, спрашивала:

— Мама? Почему меня все здесь зовут не Галя, а Халя?

Молчала мать.

Цвела черешня в саду. Шептались листвой яблони.

Отдыхал за окнами самосвал, ждал своего хозяина.

«Дорогие мои сестрички, нянька Тося, Лидуша, Машенька! Во первых строках спешу сообщить вам, что живем мы ничего. Люди здесь хорошие, добрые. Разговаривают, будто поют. Не то что мы, тараторки. И климат здесь хороший. Все цветет, теплынь. Домик Иван построил, как везде строил, весь разукрашенный. Построил его на старой усадьбе, так что есть большой сад, черешня, вишня, яблони, в общем, все, что положено. Работает он в совхозе. Хорошо работает. Не пьет. И курить собирается бросить...»

— Ну, слава богу! — вздохнула Антонида Степановна. Это она читала письмо Лиде. Той уже разрешили вставать, и сидели они в больничном коридоре под пальмой.

— Поедем в отпуск к ней фруктами питаться! — засмеялась Лида.

«Дорогие мои сестрички,— продолжала читать Антонида Степановна.— А только сбегу я отсюда все равно. Не ругайте меня и не судите. Все здесь мне чужое. Даже коровы и те кажутся не такие, некрасивые какие-то...»

— Вот баламутка! — опешила Антонида Степановна.— Хоть корми их с Иваном на заслонке! Мамонька, бывало, как подерется петух с курицей, вынесет заслонку, зерна на нее насыплет — мирила их так-то...

«Иван, конечно, ни в какую. Поглянулось ему здесь. Если говорит, уедешь, все порублю. А я ему: милый ты

мой, руби. Это все дерево да тряпки. А в том ли счастье? Вот еще посмотрю маленько, как по-хорошему не согласится, чемодан в одну руку, Галинку в другую и — айда домой! Думаю, вы меня в беде моей не оставите...»

Опустились руки Антониды Степановны:

— Ну нисколь мы с тобой, Лидуша, не живем спокойно! Не одно, так другое, голова вкруг!

— Что сделаешь, Тося, жизнь,— отозвалась Лида, задумалась, договорила: — А иначе-то и жить, наверно, неинтересно, если голова-то не вкруг...

«...Как себя чувствует Лидуша? Поправилась ли? — писала дальше Шура.— Как Машенька? Сны я про нее худые все вижу. Как провожала меня, созналась: ошиблась она, не будет у нее ребеночка...»

Переглянулись сестры, опять заволновались, теперь уже за младшую.

— То-то я замечаю: опять сама не своя ходит,— покачала головой Антонида Степановна.

Лида смотрела в больничное окно. Бегали по двору молоденькие девушки в халатах, практикантки, смеялись, розовощекие, беспечные.

«Сколько еще у вас впереди всего — и доброго, и горького»,— подумала Лида.

А Антонида Степановна читала:

«...А как хочет она ребеночка, то надо ее замуж выдать. За ней ведь Володьша сызмальства бегает... Ну, я приеду, что-нибудь сварганим...» — «Ты мастачка варганить-то! — усмехнулась Антонида Степановна. — Только все шиворот-навыворот оборачивается!» — «А Аркадию Евгеньевичу передайте: здесь на фермах корма тоже на автокарах развозят, на транспортеры не надеются. И кормоцех совсем отдельно построен. И стоит около него «корова» огромная. Так здесь машину зовут, которая муку сенную мелет. Посмотреть, так чисто корова — рогата, брюхата, траву жрет сутками, не нажрется. Как что случится с ней, орет, чисто как корова голодная. Вот бы нам такую...»

— Вот видишь, Тося: «у нас», «нам». Не прижиться ей там. Здесь только дома она. Что поделаешь, все мы такие.

— Ненормальные какие-то,— засмеялась старшая

сестра и забеспокоилась: — Ох, что же с Машей-то, с Машей-то что же будет?

Аркадий Евгеньевич из города привез представителей проектного института, и теперь ходили они по территории фермы, осматривали траншею.

Володя сидел за рулем, косил глаза в их сторону, ждал. Аркадий Евгеньевич что-то объяснял представителям, энергично размахивал руками, то и дело кричал механику, стоявшему у пуска как начеку:

— Давай!

Начинал работать транспортер в траншее.

— Стоп! — орал директор и опять что-то объяснял, доказывал представителям. Похоже, они действительно впервые попали на ферму.

Володя понял, что это надолго, собрался было подремать на руле, да вдруг подобрался весь, вперед подался: по двору шла Маша. Казалось, она не видела ни людей, суетящихся у траншеи, ни его, Володи.

Когда Маша уже выходила из двора, Володя заторопился к Аркадию Евгеньевичу.

— Теперь нам ошибка понятна! — услышал, как воскликнул представитель.— Надо переделывать!

— Чикал бы я вас и брякал! — сквозь зубы выругался Аркадий Евгеньевич, оборачиваясь к Володе.

— Можно, Аркадий Евгеньевич, я на часок...

— Иди! — отмахнулся от него директор.— Переделки! Переделки! Будет ли конец?

Что-то ответили директору представители.

— А во что это нам выльется? Вместо четырехсот тысяч...— гремел за Володиной спиной его голос.

Маша шла, с трудом вытягивая ноги: развезло дороги, ни пройти ни проехать. Только на тракторах и ездили от поселка к поселку по самой большой необходимости. Вот и сейчас тянул трактор высокую тележку, груженную хлебом.

Рядом с ящиками примостились пассажиры.

— Здравствуй, Маша! — радушно привечали ее.

— Здравствуйте,— не поднимая глаз, отвечала Маша.

— Ишь, как перевернуло девку! — жалели.

— А что? — поинтересовалась, видно, нездешняя.

— Да мужик у ней недавно на мотоцикле разбился, вдовой ее сделал. Чужого ребенка спас, а сам...

— Ох-х-ох! Кака молоденька! Чья же будет?
— Петровых младшая!
— Знаю, как же,— передовицы все да певуньи!
— Вот-вот. Забудет. Вон Володьша поможет.
Им с высоты телеги все было видно; и кто идет, и зачем идет.
— Тенью за ней ходит. А она, говорят, как каменная...
— Любила, стало быть, мужа,— вздохнула нездешняя, и видно было: и о себе вздохнула, и свое что-то на память навернулось.
Натужно тарахтел трактор, еще больше развозя такую ладную совсем недавно дорогу.

Маша шла лесом — меньше грязи. Чавкала под ногами оттаявшая земля, пестрела клочками светлого нетронутого снега, голубела бесчисленным множеством луж и лужиц.
Маше даже стало как-то не по себе: словно немой пока, лес подсматривал за ней всеми своими глазищами.
Но скоро она привыкла к этим добрым печальным глазам. Немой лес вызывал даже сочувствие, и Маша, постепенно, сама того не замечая, перестала думать о себе. Чем дальше она шла, тем покойнее, легче становилось на душе. Монотонно чавкала под сапогами напоенная влагой земля.
Утонули по колено в воде молоденькие березки.
В немом очаровании замерли ранние предвестницы весны — распушившиеся вербы, заглядевшись на себя в зеркале талой воды.
Маша остановилась у небольшого озерца. Можно было подумать, что озерцо это не временное, что и летом, когда просохнет и оденется в зеленое земля, ветер будет рябить его воду. Но посредине озерца, прямо из воды, росли кусты рябины, смородечника. Значит, и оно временно, обречено.
Маша поискала глазами, быстро увидела, что искала. К двум соснам была крепко прибита жердинка. Сережа прибивал. Когда это было? Жердинка обветрела, потемнела, отполировалась, гвозди заржавели.
Маша примостилась на жердочке, засмотрелась на мертвую гладь озерца.

Долго сидела так, покачивая ногами, прислонившись головой к молчаливой сосне. Не думалось ни о чем. Просто хотелось сидеть так в этом немом, еще не очнувшемся от зимних снов лесу.

Вдруг где-то в вышине за вершинами сосен закурлыкал журавль. Ближе, ближе слышался его полный весенней радости голос.

Маша вскочила с жердочки, побежала на крик — так захотелось увидеть журавля — забрела в воду.

Но где-то в другом конце леса радостно откликнулась вторая птица.

Над самой головой, торопясь на этот зов, взлетел журавль, огласив лес радостью жизни.

Маша пошла в ту сторону, куда улетел журавль, забывая обходить малые и большие оконца воды. Ни о чем не думалось, не мечталось. Немо и пусто было на душе ее, как в этом безмолвном сыром сосняке. А когда очнулась Маша, огляделась, мурашки побежали по телу: место было незнакомое. Сгущались сумерки, обступали торопливо со всех сторон. Маша метнулась в одну сторону, в другую, только больше запуталась. Место оказалось гнилым, болотистым, ноги то и дело соскальзывали с кочек, в сапоги заливалась ледяная вода. «Господи! Да ведь недалеко я где-то! Что это со мной? — И суеверный страх сжимал сердце.— Ау-у!» — закричала Маша. Мрачная тишина висела над ней. «Ау-у-у!» — не в силах больше сдвинуться с места, опять крикнула она, не надеясь уже, что кто-то может услышать ее. «У-у-у!» — донесся вдруг до нее сильный мужской голос. А скоро зачавкала под сапогами болотная вода.

Он вылил из ее сапог воду, поднял на руки и понес, перешагивая кочки.

В машине было тепло, но Володя растер ей спиртом ноги, заставил глотнуть обжигающей жидкости, закутал в тулуп, обнял, чтоб скорее согрелась. Она прикорнула на плече его, и впервые за много дней и ночей расслабло, отошло ее сердце.

Когда приехала Лида из роддома, никто, занятый весенними заботами, не заметил.

Увидели ее уже спешащей не отстать от соседок, моющей окна, подбеливающей штакетник вокруг дома.

— Простынешь, Лида! — предупреждала соседка.

— Ничего не сделается!

— Здравствуй, Лидуша! — остановился Константин Иванович, опираясь о бодожок.— Говорят, сама прикатила? — улыбался приветливо.

— Сама! И так залежалась, да еще вози меня, встречай!

И спросила, смутившись:

— Виктор далеко сеет?

— На ближнем поле.

Лида, прижимая к груди дочку, завернутую в белое да розовое, смотрела в даль поля.

Там, сквозь марево парящейся на весеннем солнце пахоты, жуками ползли трактора.

Светлели боками осинки на том краю поля, сливались в непроходимый частокол.

Жирными пластами лежала у Лидиных ног земля. Торопились, прыгали по ней отъевшиеся нахальные грачи.

Здесь, на островке невспаханной из-за густого колка земли, начиналась новая жизнь: трудились муравьи, набухали почки, пробивалась сквозь прошлогодние стебли молодая зелень.

Лида села прямо на эту зелень — покормить проснувшуюся дочку. Пышные сине-сиреневые соцветия выглядывали из травы. Лида сорвала медунку посочнее, жевала аппетитно. Скатился с головы платок на плечи. Ветерок приятно трепал волосы. Трактора приближались.

Такой и увидел ее Виктор из кабины трактора: светлоголовой, кормящей ребенка.

Вот он проехал совсем рядом, пропыленный, перепачканный мазутом и оттого еще более белозубый.

Пытаясь перекричать шум мотора, спрашивал о чем-то. Лида не слышала, улыбалась.

Облако пыли долго вилось над его трактором, над сеялкой, серебрясь на щедром апрельском солнце.

Только для того, чтобы пообедать да заправиться зерном, остановились трактора.

Повариха открывала на телеге фляги с едой. Из фляг вился парок.

Молча, торопливо заработали ложками сеяльщики.

Виктор ел, поглядывая на жену, ни о чем не спрашивал. И ей не надо было объяснять, почему она, еще не совсем оправившись после трудных родов, пришла к мужу на пашню. Обо всем сказали ее глаза, ее руки, обнимающие дитя, вся ее осанка, выражающая покой и радость.

— Поешь с нами, Лидуша,— пригласил ее пожилой с морщинистым пропыленным лицом сеяльщик.

— Спасибо, дядя Михайло, сытая я...

Виктор протянул ей хороший ломоть ноздреватого хлеба, приказал:

— Ешь-ка! На воздухе знаешь как ется!

Отламывала от ломтя маленькие кусочки, жевала ароматный хлеб.

Радовался, глядя на них, дядя Михайло, мастерил ловко, еще, наверно, по фронтовой привычке, самокрутку.

Потом Лида смотрела, как Виктор нетерпеливо хватал мешки огромными ручищами и сильно и легко вытряхивал в сеялку мешок за мешком, крепко держа их за углы. И не верилось, что эти же самые руки только что были такими нежными, баюкая крошечную дочку.

Взревели трактора.

Лида устроилась рядом с флягами на телеге и, пока кусты колка не закрыли поле, все смотрела на ползущие по нему проворно, как большие жуки, трактора, на облака серебристой пыли, поднимающиеся над ними, на теплое струящееся марево, всегда радующее крестьянское сердце.

Отмытый от пыли и мазута, принаряженный, сидел в переднем углу горницы Виктор, держал в огромных ладонях свое дитя, улыбался блаженно.

В праздничных же платьях с разноцветными бантиками в косичках, подходили к нему девочки, рассматривали сестренку, тянулись поцеловать сморщенное личико.

Лида хлопотала у стола. Чего только на нем не было! Соленья, варенья, груда яиц, румяные пирожки, а она все ставила и ставила закуски, расталкивая сгрудившиеся на столе тарелки.

Маялась Антонида Степановна у самовара, растапливала его лучинками, вспоминала:

— Мамонька уж так любила из самовара почайпить!

Скоро он зашумел, запосвистывал уютно.

Маша взяла из ладоней Виктора девочку, прижала осторожно к груди, затихла так с ней.

Пришлепала к младшей своей сестренке двухлетняя Катюшка, ткнула пальчиком так, что едва успели схватить ее за ручонку:

— Газки ето, газки ето!

— «Газки, газки»! — подбросил ее под потолок Виктор.— Вот выткнешь сеструхе газки!

Потом все сидели за столом дружной да ладной семьей.

Выпили по рюмочке наливки за новорожденную.

— Виктор, а ты-то! — позаботилась о зяте Антонида Степановна,— может, тебе в стакашек?

— Не-е, чуть свет — на поле.

Крошечная Лиза дрыгала ножонками в качалке.

— Как налиточек! Как налиточек! — хвалила ее Антонида Степановна и тут же спохватывалась, успокаивала мать: — Ты не думай, мы неурочливые, синий глаз неурочливый!

— Да не верю я,— смеялась Лида.

— Вот Шура у нас черношарая, та урочливая! — и вздохнула: — Ох, как там она? Что там с ней деется!

— Катит уж, поди, домой!

— Споем-ка,— отодвигая посуду, предложила Антонида Степановна,— нашинскую, мамонькину любимую,— и первая вполголоса начала:

На берегу сидит девица,
Она шелками шьет платок...

По-особому, строго и серьезно, пели Петровы эту песню, потому что была она для них не просто песней, каких они перепели вместе немало. Как завет, получили они ее от своей матери. А она получила — от своей. И так неизвестно, на сколько колен уходит корнями своими эта песня в глубь их рода.

И теперь они этой песней благословляли новую жизнь.

— Эх, Шуры нет,— пожалела Антонида Степановна.— Вот в этом месте выносить бы надо, а у нас у всех голоса низкие. Ну-ка,— обратилась она к старшенькой Лидиной дочке,— Валюша, попробуй! — И показала: — А я всех лучше и моложе... вот эдак надо. Ну-ка, попробуем... и моложе... поднять надо.

Запели снова:

Нас три сестры: одна — графиня,
Другая — герцога жена,
А я всех лучше и моложе —

старалась поднять песню Валюшка:

Простой купчихой быть должна...

— Хорошо, хорошо! — похвалила ее Антонида Степановна.

Зарделась от гордости Валюшка.

Слушала песню, будто что-то понимала, маленькая Лиза.

А Шура действительно катила домой. Стояли они с Галинкой у окна. Шура смотрела, растроганная, приговаривала:

— Скоро, скоро уже. Смотри! Наши уже места пошли!

Мимо кружились хороводами березовые рощи в облаках молодой зелени, хмурые ельничники, сосновые боры.

— И дома, дома точно, как у нас! Видишь? У нас все так строят — коньком на улицу. И дворы непременно под тесом...

— А дров-то, дров! Давно мы с тобой этакого богатства не видывали.

И припадала к окну, не в силах оторваться от весенних пейзажей, напоминающих родные места.

— А папа как там без нас? — вздыхала Галинка.

— Приедет,— торопилась успокоить дочку Шура,— обязательно приедет! Уж я-то его знаю!

И тянулась нетерпеливо черными глазищами к окну.

По улицам родного села Шура бежала, будто кто ее подгонял. Бежала и все видела, все примечала.

И новые дома, выросшие без нее в благоустроенном квартале, как игрушки стоят, что в твоем городе.

И клуб совсем почти готов.

— Ишь, красавчик,— радовалась нездешнему, стеклянному фасаду клуба.

— Прикатила? — то и дело спрашивали, посмеиваясь, встречающиеся Шуре сельчане.

— А долго ли мне! — в тон им отвечала неунывающая Шура.

Перед кабинетом Константина Ивановича приостановилась, заволновалась.

— Это не по правилам, Егор! — кричал в трубку парторг.— Не по правилам! Ты вчера сводку не дал, а сегодня и выскочил за счет двух дней в передовые! Так не пойдет!

— Ну, здравствуй, путешественница,— пожал крепко Шурину руку, усадил перед собой.

— Остановилась-то где?

— У Маши.

— С квартирой придется подождать.

— Ну-к что! Профукала, так подожду!

— Видела? Скоро два шестнадцатиквартирных сдавать будем, подавай заявление. Если, конечно, до тех пор не рванешь еще куда.

— Не рвану, Константин Иванович, ни за что! — и добавила, оглядев кабинет: — Как березка подросла!

В углу от пола до потолка росло комнатное деревце — березка.

— У меня с этой березкой история однажды вышла,— усмехнулся Константин Иванович, рассказал: — Приехал как-то, давненько это было, тогда она вот такая всего и была-то, так вот, приехал один начальник мой из района, говорит со мной, а сам что-то, вижу, фыркает. И то не так, и это неладно. Что, думаю, на него нашло? А уж перед отъездом и говорит: «Что это,— говорит,— ты, как баба, цветочки в кабинете развел? Стыдно даже». Во-он оно что! Долго потом помнил эти цветочки, дались они ему. На всех совещаниях и конференциях все меня ими покалывал. А я еще больше холить стал березку эту...

— На каждый роток не накинешь платок,— сказала Шура.

— Вот именно,— засмеялся парторг.— Вот что, Шу-

ра,— серьезно уже продолжал,— хочу я вас, всех сестер Петровых, на одно дело сагитировать...

— Опять экс... эск...— всегда спотыкалась на этом слове Шура.

— Да, можно сказать, эксперимент. С Аркадием Евгеньевичем мы уже советовались. Надо бы нам начинать наших пестрянок высокоудойными коровами заменять. Есть такая порода — эстонская, до тридцати литров враз дают...

— Тридцать литров враз? — подскочила Шура.— Ну, это вы, Константин Иванович, заливаете!

— Тебе говорят — слушай,— по-свойски одернул ее парторг.— Но в наших условиях это не проверено...

— Ну-к, что, Константин Иваныч! — сказала польщенная Шура.— Согласны мы! Экс... эск...

— Опыт,— помог парторг.

— Тьфу! Опыт так опыт! Только уж как я соскучилась по пестрянкам моим!

Легко на сердце от песни веселой,
Она скучать не дает никогда! —

как только вошла в корпус, запела задорно Шура.

Вздрогнула всей кожей Мадонна, вскочила взволнованно на ноги, забыв о своей красоте и стати.

Ах, что это была за встреча!

— Матушка моя, любимица моя,— приговаривала Шура, оглаживая крутые бока.

Распахивала Мадонна свои и без того большие коровьи глаза, словно боялась, не сон ли это.

На ногах уже была вся группа. Нетерпеливо ждали пестрянки прикосновения любимой своей хозяйки, неизвестно где пропадавшей столько времени.

— Ну, что мне вас всех сразу, что ли, доить? — притворно ворчала Шура.— Еще, гляди, молоко спустите, вот хорошо будет, для ради встречи!

Шура, хоть и обещала в письме устроить Машину судьбу, однако подзадумалась, как узнала о сговоре ее с Володей. Ничего вслух не высказывала, а радости от решения Маши не испытывала: «Уж больно быстро,— думала с горечью о сестре,— утешилась. Не по-нашин-

ски это, не по-петровски». Вроде никого у них в родове таких не было, скоропалительных. Молчали и Лида с Антонидой Степановной, про то же, похоже, помалкивали.

Свадьбу не свадьбу, а что-то вроде этого приурочили к концу сева. Цвела по-над речкой черемуха. Вечером, накануне того дня, долго бродила по берегу Маша, то ли уговаривала себя, то ли жалела.

А сестры тем временем стряпали; собраться решили в родительском доме, где жила Антонида Степановна. Вот тогда-то и наговорились досыта. И так судили, и этак. Ладно ли, что не вмешались, согласились молча со свадьбой этой. А век-то без любви ох каким долгим покажется. Да и Володино дело незавидное, на что решился парень! Хватит ли доброты да терпения? А ну, как запьет с горя, ведь умом решилась идти за него Маша, не сердцем. Посудили-посудили, а ни к чему не пришли: поздно уж решать-то, будь что будет.

После торжественного собрания в клубе, на котором не забыли и сестер, и зятя Виктора, отметили и премиями, и грамотами, особенно уютно и тепло показалось всем в отчем доме.

Шелестела за окнами белыми гроздьями черемуха. Празднично блестела в углу стеклами старинная горка с посудой. Расстилались под ногами простиранные половики. Дымились на столе горячие рыбные пироги. А веселья не получалось.

Захмелевший и от почета, и от наливочки Виктор попросил:

— Тося, у тебя где-то водилась балалайка?

Зачастила, выговаривая свое заветное, балалайка. Позванивала в горке посуда. В стороны были раздвинуты половики.

В хороводе женщин плясал Володя. Эх, как плясал! То замирал, поводя могучими плечами, то срывался с места и волчком вертелся вокруг своих будущих родственниц так, что светлая его рубашка молнией металась в темноватой от кустов черемухи горнице. Он переплясал всех. Первой отошла в сторонку Лида, стояла, любовалась им. Потом Антонида Степановна опустилась на стул:

— Ох, задохлась совсем, Володьша, с тобой! Ну, мастак ты плясать! Вот не думала!

Шура еще держалась, вся упаренная, повизгивала в такт притопам:

— И-и-их! И-и-их!

Но и она сдалась. И все ходил колесóм Володя, наклоняясь, словно разглядывая, хорошо ли дробят ноги. Разбрасывал свободно руки, поводя ими под музыку красиво. Для Маши старался Володя, ее вызывал в круг. И она решилась, встала, расправилась вся, улыбнулась ему ответно. И уже было захватила ее музыка. Да вдруг замерла Маша на месте, обвела всех будто очнувшимися от сна глазами, повалилась головой на плечо своей старшей сестры, матери своей:

— Нянька! Нянька! — прорвалась ее душа.— Хоть бы приснился он мне, нянька! Хоть бы во сне его увидеть, и то — счастье! Се-ре-женька!

Выскочил из дому Володя в мокрой от пляски рубашке, перемахнул через прясло, бежал по огороду, по грядкам, не разбирая дорожек, к лесу бежал, что начинался прямо за огородами.

Иван, как и предполагала Шура, недолго пожил без семьи в своем разрисованном домике, надумал возвращаться. Но сначала, хитрован, письмо прислал, ультиматум: просто так сдаваться не в его характере.

Читала Шура письмо сестрам, комментировала:

«...Жить здесь, конечно, можно, но шибко уж жарко, это действует на суставы, болят ноги... (счас все заболит). И подошвы ноют, как у нашей сестры Тоси... (у вашей, у вашей)... но есть от этого вроде лекарство — солидол...»

Смеялись сестры, понимали хитрость зятя: и вернуться надумал, и оправдаться надо.

«...На ночь солидолом ноги смазать, в пленку и в носок, а утром смыть. И так двадцать раз, помогает. Передай это Тосе. Потому, хоть и нравится мне здесь, а придется, видно, возвращаться на суровую родину... Присоветуй, родная моя жена...»

Опять покатились все со смеху: хитрил зять, да больно уж открыто.

«...А вернусь я к тебе с одним условием: в казенной квартире жить не желаю. Да меня хоть на Красной площади посели, я и там дом свой построю! Согласна

ли ты, чтобы я в совхозе нашем свой дом поставил?..»

— Ты уж, Шура, соглашайся на дом-то, может, угомон его возьмет! — торопилась с советом Антонида Степановна.

В поселок Иван заявился как хозяин. Прежде чем разыскать семью, ходил с чемоданчиком по вновь строящимся объектам, осматривал все придирчиво, не обращая внимания на шепотки за спиной:

— Явился — не запылился!

— Наездился!

— Да, неловенький Шуре достался!

— Все повыгодней где ищет!

— А руки все же у него золотые!

Остановился Иван у клуба, обошел кругом. Вроде придраться не к чему. Нет, нашел.

У фасада трепетали на ветру высаженные весной топольки.

— Это кто же так делает, а? — возмутился Иван.— Не могли, что ли, поровнее? Нитку бы протянули! А то насадили, будто червяк прополз!

Пошел дальше, хмурясь.

Иронически осмотрел и квартал шестнадцатиквартирных домов.

— Это кто же придумал крестьянина в эти коробки селить? Ни тебе огородика, ни садика, ни стайки, ни ямки, ни поросенка, ни ягненка...

Дал волю языку и на новой ферме.

Там в корпусах, пока коровы жили в лесу, велись срочные работы по переделкам. Раздвигали стойла, чтобы и транспортер оставить, и въезжать бы можно было автокару.

Зарывали одни траншеи, рыли новые.

— Городские рисовали? — спросил у рабочих Иван.

— Они.

— Вот-вот, они умеют, читал в «Крокодиле»? Значит, заканчивают у нового дома асфальтировать тротуар. Приходят газовщики: ну, спрашивают, вы скоро свою работу сделаете? «А что?» — те. «Да вы закончите, так мы начнем: трубу одну положить забыли!» Ха-ха! Так и вы!

Потом долго ходил из корпуса в корпус. Осматривал стеклянный молокопровод. Разбирался, как работает система навозоудаления.

Перед входом в помещение, с которого уже начинался собственно завод по обработке молока, в сепараторную, остановился, разговаривал сам с собой:

— Значит, здесь коровники, стало быть, деревня... а здесь,— кивал на сепараторную,— завод, стало быть, город. Хм...

— Ты с кем это, Иван? — окликнул его один из рабочих.

— Да вот смотрю: хитро получается! Все говорим: «Стирание граней между городом и деревней». А здесь вроде и порожка никакого нет, не то что грани! Куда, говорю, я прибыл?

— А ты не смейся!

— А я не смеюсь! Здорово все это придумано! Сурьезно говорю! Только не забудьте трубу-то! — засмеялся.

Выходил задумавшийся: сильное впечатление произвела на него строящаяся ферма-фабрика.

А вечером, когда стелился по речке туман, укрывал ее заботливо от берега до берега, отправилось семейство Шуры смотреть место для нового дома.

Отвели им его на краю села, по-над речкой, у самого леса. Стоял Иван, смотрел, как смотрит художник на чистый холст, прикидывал, где что у него будет. Хлестала веткой по своим голым ногам Галинка, хныкала:

— Мама, папа, домой! Комары!

— Домой! — усмехался Иван.— Вот наш дом! — И окидывал любовно будущую свою усадьбу.

— Березку не будем вырубать? — просила Шура.

— Не будем,— щедро соглашался Иван.

— И елочку вот эту оставим?

— Оставим.— И, обнимая жену, приговаривал: — Эх, Шурка, Шурка, подрезала ты, однако, мои крылышки!

После того неудачного своего сватовства Володя уехал из совхоза на другой же день. А Маша затаилась и от чужих, и от своих, жила незаметно, стараясь

ничем не привлекать к себе внимания. И сестры, не сговариваясь, не вспоминали о том дне, будто его и не было. А про себя тревожились: чего ждать от Маши? Чем все это кончится?

Тогда-то и вернулась Антонида Степановна к своей придумке: устроить Машу в хор через Григория Меньшикова, спасать надо девку, чисто баптистка стала — платок до глаз и все от людей подальше. А песня — великое дело. Кабы запела она, кабы почуяла душу песни, и горе не горе.

И однажды, когда сидели они в пышном разнотравье у летнего лагеря, ждали коров к дойке, Антонида Степановна и скажи:

— В город я надумала, девчонки, съездить.

Смотрели на нее Лида с Шурой, ждали, что дальше. Маша поодаль бродила, земляникой лакомилась.,

— Марее скажите — с ногами, мол, в больницу. Я быстрехонько, в день и обернусь.

И заторопилась уговорить, убедить сестер, мол, права она, что про хор придумала.

— Это, это ей теперь надо: новые люди, города разные... А она у нас и собой недурна, и голос...

— Да,— подтвердила Лида.— Красива, да не больно счастлива. Когда, говорят, счастье делили, спала крепко. А как до красоты дошло, тут и проснулась...

— Ну, рано так про нее: ее счастье все впереди. Дак как?

Для Шуры история нянькиной любви давно превратилась в красивую легенду, поэтому она слушала весь разговор, как продолжение ее, забыв, что и от нее ждут ответа.

— Что ж, съездить не помешает,— задумчиво сказала Лида.— Только не живут ведь они на месте-то.

Антонида Степановна развернула газету: «Концерт Григория Меньшикова»,— прочитали сестры.

— Вот к концерту и поспею,— невесело усмехалась Антонида Степановна.

И поднялась с травы молодо, и заторопилась от сестер.

— Надо же! — вздохнула Лида.— Помнит! Вырезки собирает...

— Лида, а правда было или мне приснилось: сватал няньку Константин Иваныч?

— Было. Их ведь всего двое и вернулось с войны, ее годков. Гринька да Костя. Ох, Тося, Тося, закипело, видно, сердце...

Как любопытная девчонка, смотрела вслед няньке Шура.

Не ошиблась Лида: закипело ретивое Антониды Степановны. Всю ночь уснуть не могла.

Сидела задумавшись, облокотившись на подоконник, засматривалась в сумерки черемушника в палисаднике.

Потом перебирала платья в старинном шкафу. Достала одно, крепдешиновое, с воланчиками, еще в те поры, видно, ношеное. Разглаживала воланчики: сколько с ним, с этим платье, связано!

Прикинула перед старинным же зеркалом на себя, усмехнулась, повесила в шкаф. Достала светлую строгую блузку, темную юбку.

Долго, задумчиво протирала мягкой тряпочкой туфли, блестящие лаком, тоже с тех пор ненадеванные.

Потом взялась за волосы. Распустила льняные с серебристыми прядями косы, потрепала ребрами ладоней, как треплют осенями лен, попробовала по-новому уложить.

Засмеялась, заплела косу, свернула калачиком на затылке. Пристально, впервые за много лет рассматривала лицо, провела пальцами по морщинкам.

Достала кринку из подполья, сняла слой сметаны, намазала ею густо лицо.

Взглянула в зеркало:

— Вот до чего дошло! Вот посмеялись бы надо мной бабы! — попробовала засмеяться над своей слабостью, да по белому слою сметаны на щеках побежали две светлые бороздки.

Еще не растаял над речкой туман и ничьей ногой не тронута была роса на траве, когда вышла Антонида Степановна из дому.

Шла по улице, принаряженная, строгая, красивая. Шла, как давно не хаживала: будто на свидание торопилась.

Смотрели ей вслед сонными окошками дома.

Приостановилась у недостроенного многоквартирного дома.

Тосковала среди груд кирпича по прежней своей усадьбе одинокая старая береза.

Висел на сухом суку нежилой скворечник.

Антонида Степановна притронулась к морщинистой коре, и вздрогнула береза благодарно безлистой своей кроной.

— Кланяйся хозяину своему,— шепнула березе Антонида Степановна.

Во всей улице только и увидела Ивана. Ни свет ни заря, а он трудился уже у сруба будущего своего дома, ловко орудовал топором, отесывал бока бревен, и лицо его при этом было вдохновенно.

— Бог в помощь! — пошутила Антонида Степановна.— Все тюкаешь, мураш?

— К автобусу, нянька? — вместо ответа, спросил Иван.

— К нему. Когда спишь-то? Ведь с зарей на поле!

— Выспимся, нянька!

И посмотрел ей вслед, пока отдыхали руки. Потом поплевал на ладони, взмахнул топориком.

— Тюк-тюк-тюк,— катилось торопливо глухое эхо по лесу.

Хорошо шагалось Антониде Степановне. Будто не один десяток лет с плеч свалился, как решилась на свидание с молодостью своей.

О прошлом напоминали ей и забытые, давно не хоженные, истоптанные другими тропинки. Во все стороны от проселочной дороги разбегались они к заветным еланям да опушкам.

И открывались навстречу озера белоголовника, дурманили, кружили голову.

И разгоралось степенно, неторопливо летнее небо, обещая людям добрый день.

И в окно автобуса Антонида Степановна смотрела так, будто впервые за много лет на природу вырвалась.

Белыми островами кружились ромашки.

Чахли от придорожной пыли кашки, склоняли в молчаливой покорности головы.

Умирали в валках скошенные клевера...

В городе ей удалось сесть в такси. Правда, оказалось, что нарушила она правило: не на остановке села.

В очереди у клетчатой таблички заволновались, замахали руками.

— Ладно,— осмелела она вдруг, сказала: — Мне не часто случается.

— Нездешняя? — спросил немолодой уже, ее возраста, таксист.

— Почему? — испугалась, что начнет катать по всему городу.— Здешняя. Да редко бывать дома приходится.— И брякнула: — Артистка я. Народного хора певица.

Таксист покосился на ее старомодную сумочку.

— Или не верится? — спросила Антонида Степановна и завела вдруг повыше:

Семеновна! Семеновна!

Таксист вздрогнул от неожиданности, машину качнуло.

Антонида Степановна ткнулась лбом в стекло.

Поверил таксист, разговорился:

— Вез я это однажды молодую парочку. Вот сидели они, целовались-миловались, душа глядеть на них радовалась. Вез бы и вез... Вдруг, смотрю, рассорились. Сидят по разным углам, друг на друга смотреть не желают... А куда, между прочим, едем? Товарищ певица?

— В центр,— продолжала играть придуманную роль Антонида Степановна.— Где остановиться, укажу.

Подозрительно покосился на нее шофер, продолжал рассказывать:

— Думаю: «Ну, как мне их помирить?» Придумал. Вижу впереди нырок порядочный. Эх, была не была! Как брякнул свою старушку в нырок этот! Они, конечно, в объятия друг к другу угодили от толчка этого. И уж больше по углам не разбежались, опять давай целоваться... Так куда прикажете?

«Артистка» давно уже беспокойно к домам присматривалась.

— Здесь,— выбрала один, старинный купеческий особняк.

Отсчитала серебро.

Таксист пересчитал монеты, проворчал разочарованно:

— Так и есть! Артистка!

Дом этот Антонида Степановна помнила, особенно балкон Грининой квартиры: один такой, наверно, во всем городе — со скворечником. Была как-то, вскоре после той счастливой встречи с ним, в городе на семинаре доярок, отыскала адрес, даже в дверь постучаться решилась. Да соседи объяснили: на гастролях, мол.

Сейчас она устроилась в скверике напротив так, чтобы не пропустить Гриню, как станет он домой возвращаться. Можно было бы в дом к нему зайти, и концерт его пока посмотреть по телевизору (цветной, поди-ка, уж имеют), да все эти годы чувствовала Антонида Степановна вину перед домом его, за ту единственную ночь чувствовала.

И так ей захотелось концерт Гринин послушать! Огляделась: нет ли поблизости клуба какого, там уж и телевизор быть должен.

Помог ей продавец газет в киоске, старичок аккуратненький такой, когда спросила его об этом.

— Вон в том доме видите крайнее окно? Там одна моя приятельница по преферансу живет. Она всегда дома. Идите к ней, скажите, я рекомендовал...

— Да, поди, неловко?

— Ловко, ловко! — подбодрил старичок.

— Вы, вероятно, по поводу обмена? — открыла ей дверь красивая, несмотря на годы, старушка. Реденькие, совершенно седые ее волосы были тщательно завиты и серебряным ореолом обрамляли лицо.

— Так меняться я не желаю! Это моя разлюбезная племянница решила прибрать к рукам и меня, и мою квартиру. Разумеется, объясняется это благородно: мол, годы, мол, нужен уход... А я, знаете, в няньки не желаю! Я так люблю свой двор, здесь у меня друзья...

— Да я,— едва пробилась сквозь эту тираду Антонида Степановна.— Вы уж меня простите, ради Христа! Меня к вам старичок из киоска...

— А-а,— кокетливо улыбнулась старушка и поправила локон,— Иван Ильич? Так что же?

— Мне бы передачу посмотреть, нездешняя я...

— Тэлевизионную передачу? А что за тэлепередача?

— Земляк мой петь будет, Меньшиков, Григорий...

— А-а, слышала! — включила старушка телевизор.— Так он ваш земляк? Как интересно!

— Возгудает уже! — выдохнула Антонида Степановна, когда вспыхнул экран, и подалась вся вперед, и замерла так до конца передачи.

А уж лучше бы и не смотреть. Если бы только пел Григорий, как раньше в нескольких передачах бывало. Слушала тогда его Антонида Степановна, а все никак поверить не могла, что это он, тот самый Гриня. В этот же раз он еще и на вопросы ведущей отвечал, как в артисты попал да почему, мол, народные песни петь любит.

Он и расскажи всю их историю. Была, говорит, в селе нашем певунья, редкого голоса, да и красоты редкой обладательница... Это с экрана-то, в глаза-то прямо ей глядючи. Она и дышать, кажется, перестала от волнения, а Гриня знай свое. Жаль, говорит, не пришлось Тосе, вместо матери тогда сестренкам осталась. А я, говорит, хоть и давно в городе живу, а село родное помню. И березу под окном, что еще дед отца, то есть прадед мой, сажал, тоже помню... Есть, говорит, у меня там местечко одно заветное.

Испугалась Антонида Степановна откровенности его, ладони к пылающим щекам прижала. Старушка хозяйка присмотрелась к ней, из комнаты деликатно вышла. А Гриня рассказывал, не жалея ее, не ведая, что сейчас с ней деется.

...И на фронте, говорит, о нем помнил и до сих пор во сне его вижу. Проулочек такой меж двумя огородами, неезженый, нехоженый. Гусят только там веснами пасли. Так вот этот проулочек покрывался золотыми гребешками, сплошь весь, одуванчиками они по-научному-то зовутся, цветочки эти простенькие. А как расцветут — ну ровно кто золото просыпал... Вот если у кого есть в сердце полянка такая, богатый, я считаю, тот человек!..

Так вон почему любил Гриня в тот переулочек захаживать. Идут они, бывало, с репетиции ли, или с поля, он Тосю за руку, поотстанут, поотстанут и — туда. Прислонится Гриня к пряслу, обнимет ее покрепче, шепнет: «Смотри!» Аж глаза, бывало, заломит — до чего щедро цвела полянка, свидетельница счастливых Тосиных дней.

Всю обратную дорогу корила себя Антонида Степановна: как же она решилась на такое! Машино горе

использовала, чтоб увидеться с ним! Ведь Машу-то, если согласна она, и с письмом к нему можно послать. Молодой да красивой помнит ее Гриня. А она бы и явилась к нему с руками-то вот эдакими, с головой-то седехонькой, с морщинами-то своими! Выжила, совсем из ума выжила, старая!

Дома ее ждала Маша. Кинулась на шею:

— Нянька! Измучила я тебя, нянька! Не хочу я ни в какой хор! Никуда я от вас не поеду! В институт поступлю заочно! Ты будешь гордиться мной, нянька!

— Институт — это хорошо, Маша,— опустилась устало на ступеньку крыльца Антонида Степановна, смотрела перед собой потухшими глазами.

— Плохо тебе, нянька? — встрепенулась Маша.

— Худо, сестричка!

И как раньше Машу успокаивала нянька, теперь так же Маша обняла ее, приговаривая: «Поплачь, нянька, поплачь, родимая моя!»

— Думала, состарюсь и успокоюсь наконец,— шептала Антонида Степановна себе ли, сестре ли.— А нет! Годы катятся, а сердцу нет угомону, рвется на части, свое просит... А телевизор я продам, вот что я сделаю! Или лучше ребятишкам в школу отдам, пусть разберут его на части, окаянного!

Вот он, тот проулочек, глухой, неезженый, нехоженый, среди огородов. Притаилась между двумя пряслами полянка. Бродили по ней гуси стайками.

А только как ни старалась Антонида Степановна отыскать взглядом хоть один золотой гребешок, не отыскала. Отцвела, отгорела полянка. Зато царствовали здесь пышноголовые недотроги-одуванчики.

Антонида Степановна сорвала один, дунула, как в детстве,— разлетелись пушинки.

— Куда лезете? Яжви-то вас! — кричала на гусят девчонка с длинной хворостинкой в руках.— Так в огород и норовят! Так и норовят!

А потом выпал снег. Он падал крупными хлопьями, заметая и эту полянку, и тропинки, отдаляя те события, которые произошли до него, до снега.

И казалось, что не снегом, а тишиной, покоем укрылось все село.

Но это только казалось, потому что со снегом начались в селе один за другим праздники. Открылась наконец и заработала в полную свою мощность молочная фабрика. Каждый день Иван гонял в город не по одному разу, увозил продукцию в красивых пакетах.

На Октябрьские справляли Петровы новоселье в новом доме Шуры, несколько дней пировали на радостях.

Девчушки росли у Лиды с Виктором здоровенькие.

Училась по ночам Маша: поступила-таки в институт.

Антониде Степановне будто некуда стало торопиться. Приотставала она после вечерних доек от товарок, любила побыть наедине с думами своими. «...Приехал бы ты, Гриня, посмотрел на нашу фабрику. По-городски совсем жить мы стали. Робить только пока некогда, делегация за делегацией едут к нам. Аркадий Евгеньевич все нас гостям и выпячивает: мол, гордость наша — сестры Петровы! А все и отличие наше, что вместе в животноводстве робим. Так это у нас в родове заведенье такое, от мамоньки пошло...

...А береза твоя, Гриня, засохла совсем. Срубили ее на дрова недавно. Ну, я кусочек коры приберегла. Мол, вздумает когда Гриня домой приехать, будет ему подарочек — кусочек коры от родной березы...»

ВАЛЕРИЙ ПОНОМАРЕВ

Валерий Иванович Пономарев родился в 1934 году в селе Арамашево Свердловской области. Очень рано остался без родителей, воспитывался у деда, тетки.

Шестнадцатилет н и м пареньком, после окончания Алапаевского ремесленного училища, пришел на Верх-Исетский завод. Работал слесарем, учился в вечерней школе, техникуме, педагогическом институте. После работал учителем, журналистом. Долго жил в сельской местности, поэтому труд хлеборобов, их заботы близки В. Пономареву. Об этом повесть «Нежданно-негаданно».

Два рассказа, включенные в сборник, — тоже о сельчанах; в них внимание автора сосредоточено на нравственной стороне поведения.

Рассказы В. Пономарева публиковались в периодике, в коллективных сборниках.

В настоящее время В. Пономарев — журналист на Обском Севере.

НЕЖДАННО-НЕГАДАННО

Повесть

I

Егору Кузьмичу было обидно: последнее время со здоровьем худо стало.

Особенно обидно и тяжело потому, что никогда он раньше не хварывал... «Конем не стоптать...» — часто говаривал, и вдруг на тебе... боли головные...

Он шибко переживал еще и из-за странностей, происходящих в нем: то ноги немеют и плохо слушаются, то в глазах зарябит и память теряется. Но Егор Кузьмич не сдавался, крепился и не признавался никому, думал, что пройдет. Так это, от беспокойства и переутомления случается: тут он грабли, вилы в малухе своей плотницкой делал, литовки отбивал — все дела... Знал, что Андрюха, сын его, председатель, ругался про себя, но перечить отцу не смел. Не может без работы Егор Кузьмич, житья без нее нет, и не представляет он, как это сидеть сложа руки,— ни за что не вынести так: сердце затоскует, изболится. А пока ноги ходят и руки шевелятся, он всегда у дела будет, без дела он не сможет...

Колхоз Егор Кузьмич детищем своим считает: в войну не дал ему развалиться. А сейчас отсиживаться станет? Нет!

И особенно ныла его душа, что здоровье не вовремя сдало, погодило бы чуток, колхоз-то на ноги только поднялся, оправился после всех невзгод,— теперь и жить-любоваться. А тут на тебе! Голову мутит, сознание вышибает, хоть бы помешкало немного... Вот сенокос, уборочная кончатся — тогда и похворать можно. Один-то раз ничего. А сейчас его совет нужен Андрюхе. Опять хлеба вымахали, и урожай, пожалуй, хорош будет. Ой не время хворать!.. Егор Кузьмич сидел на завалинке и ворошил это все в уме. Мысли лились и лились. Он полез в карман за кисетом, хотел свернуть цигарку. Не курит Егор Кузьмич папироски, привык к

своему самосаду. Но тут опять почувствовал то самое: начало кружить голову, плечи стали опускаться, руки тяжелеть, ног он совсем не чуял. «Хоть бы не свалиться, а то люди увидят и скажут: все... отработался Кузьмич... пенсионер...» А для него пенсионер — «нож в горло». Не хочет он, чтобы его «списывали», желает, чтобы считались с ним и за здорового, полноценного принимали. На пенсионеров, ему кажется, не смотрят уж так. Ну отработали свое и сидите, отдыхайте, в домино играйте, гуляйте...

Он хотел опереться на завалинку, но рук не почувствовал, испугался: «Неужели в самый разгар страды захворою? Что это со мной? Кабы паралич не шлепнул. Думать бы мéне надо. Да как не думать-то...»

Мысли начали путаться, он ощутил, что завалина из-под него исчезает и сам он повисает в воздухе и не падает,— все уходит куда-то вдаль, теряется, уплывает.

Он не помнит, сколько пролежал, завалившись в угол стены и палисадника, прилегающего к дому, очнулся, как после сна. А может, и спал он потом,— не знает. И сколько лежал — тоже не знает. Пустота во всем теле, в голове. Опять страшно стало: вспомнил все. Потянул к себе руку,— пальцы шевелятся, слава богу. Уперся ногами в землю,— слушаются. «Хоть бы не видел никто. Может, и дотяну. После уборочной в больницу пойду».

Солнышко уж низко клонилось у леса над рекой, и закат окраплял верхушки сосен и воду багряным цветом; тишина стояла над деревней, небо бирюзовое над головой повисло, комарье полезло за ворот косоворотки. Из садка смородиной пахло. Скотина тянулась по улице с пастбища, взбивая пыль копытами, гуси гоготали на поляне; от реки свежестью тянуло, прохладой. Егор Кузьмич пошел в избу, спать хотелось.

...Он проснулся, огляделся, встал, вышел босиком в сенки, сунул большие ноги в галоши, шагнул в ограду, поглядел на небо и подумал, что, наверное, где-то граница между ночью и утром: с заречной стороны от леса было темнее, от полей — светлее. Это было едва различимо, но Егор Кузьмич понял, что уже утро скоро. В это время скукарекал петух, стало быть, не ошибся Егор Кузьмич.

Он подумал, почему ему в этот год мало спится.

Все время так встает. Старость, что ли? Неужто? Почувствовал прохладу, забирающуюся под выпущенную из-под подштанников рубаху, зашел в сенки, надел пиджак.

Со стороны полей свет надвигался на тьму, теснил ее к лесу, небо вырисовывалось чистым, бирюзовым. Егор решил, что вёдро будет. Хорошо, сенокос закончат и хлеба уберут в пору.

Колхоз уж третий год в передовых, слава богу, ходит. Но Егор Кузьмич все чем-то недоволен. Он винит про себя Андрюху, что тот стал нерасторопен, успокоился вроде. Хотя сын его председательствует исправно и недостатков, кроме Егора, никто за ним не видит, в районе и в области хвалят только.

Пока топтался в ограде Егор, думал, уж туман от реки подниматься стал и зарделось над полями, заалело небо. «Солнышко взойдет скоро, а Андрюха, наверное, и не торопится. Я говорю, лениться стал. Кабы дело ладно было».

Егор Кузьмич знал, что Андрей заедет к нему утром и свозит его посмотреть поля, еще раз удостовериться, что все по путям идет, но старый почему-то этот год ворчлив стал, все в чем-нибудь сомневается или не верит.

Три дня назад Андрей возил его на поля, и он видел, что хлеба отличные,— так нет, как вроде забыл, сказал Андрею, что еще посмотреть хочет, чтобы с уборкой не проморгать. Везде он старается совет дать, все еще считает, что Андрюха проглядеть может. В этот год он даже стал нервничать, если что не так. Вот как наступило лето, так он и спать-то ладом не стал... И пока не «отстрадуются» и хлеба не уберут, сердце у него не успокоится. Он и поругивать станет Андрюху, а тот не сердится, нервы у него крепкие, не как у Егора Кузьмича.

Он знает: мужики его оком барометра называют, в шутку конечно. Егор Кузьмич действительно точно определяет, когда сеять пора наступит, когда жать. Все бы хорошо, но последнее время с головой у него все-таки неладно стало.

Это негодно. В больницу бы сходить надо, а он не идет, обойдется, думает. Ему все не верилось, что он заболеть может. Не представлял себе, что так поиздер-

жался. А что слабость чувствовал раньше — он на ранения сваливал. Голову у него слегка туманит после вчерашнего. Так это он считал потому, что не спится ему, и соглашаться, что здоровье сдает,— не хочет.

Мысли прервал гудок на улице. Он подумал: видно, Андрюха не проспал, молодец! Егор Кузьмич вышел за ворота.

— Здорово, отец. Я уж знаю, что тебе давно не спится. Поэтому и поспешил.

— Здравствуй. Я вперед петуха встал. Поехали, до завтрака сгоняем.

Егор Кузьмич открыл дверцу и стал садиться. Андрей засмеялся.

— Ты, отец, в кальсонах поедешь?

— Будь ты трою... Вот она спешка-то...

Он сходил в избу, натянул штаны, вернулся, залез, кряхтя, в машину, и она легко поплыла сквозь туман по зеленой деревенской улице, выкатила за околицу, миновала скотные дворы, силосную башню, выгон и остановилась на меже ржаного и пшеничного полей. Дверца отворилась, но долго никто не показывался. Потом грузно, неуклюже вывалилась угловатая, крупная фигура Егора Кузьмича.

— Что, отец, узкий проем для тебя? — смеясь, бросил Андрей, такой же плечистый, только поджарый.

— Еле выполз в эту щель. Отяжелел.

— Лишь бы нутро здоровое было, а прыткость в твои годы не нужна.

— На нутро не в обиде. Ты поезжай, Андрюха, на восьмое-то поле, а я тут побуду, посижу на меже. Солнышко вон как баско выглядывает. Шибко уж тут хорошо. Душа петухом поет,— хлеба какие вымахали!

— Добро. Я через часик вернусь.

— Можешь и боле. Чо тебе торопиться. Давай кати.

Андрей улыбнулся. Он знал, что отцу хочется побыть одному, полюбоваться хлебами, установившейся погодой и поворошить в голове всякие дела...

«Волга» поплыла меж хлебов и нырнула за густую стену ржи.

Егор Кузьмич подошел к полю вплотную, нагнул стебли, сорвал несколько ржаных колосьев, помял в шершавых больших руках, подул на них: «Скоро пора убирать». Потом подошел к кромке пшеничного поля,

сорвал бережно два колоса, хмыкнул довольно: «Хорошо набираются». Взглянул на бирюзовое небо, зажмурился от солнца: «А погодка как по заказу». Отошел обратно к меже, сел на нее, задумался.

...Не сразу колхоз таким стал, сколько мытарств было. Эх, война! Война! Да чего говорить — каждому понятно. Но особенно был он в обиде на перебежчиков, которые, видя худыми дела колхозные, после войны в город потянулись, смалодушничали, лучшей жизни искать кинулись. На начальство «великое» он еще и сейчас зол, как те безрассудно планы спускали... Спорил, боролся, в область ездил. Трудно было председательствовать. Ну, а когда вышло постановление об ограничении скота в деревне, тогда уж он так возмутился, что прямо в Москву написал, что рано еще к такому делу подходить, что необходимо колхозникам подсобное хозяйство. «Прислушиваться надо к народу, легче тогда державой править станет». Все это проплыло у него в мыслях. «А сейчас люди как зажили!..— Он улыбнулся, погладил широкую седую бороду.— Полдеревни уж в квартирах новых живет. Воду не таскать, дрова не понужать»,— проговорил он вслух. А вот он не желает из своей избы выезжать, хоть и давно уж зовет его Андрюха. Ему все мило в своей избе — и полати широченные, и голбец у печи, и лавки вдоль стен, а икон таких на божнице ни у кого нет. Приезжали как-то из города на уборку, так один привязался: «Сколь хочешь, дедушка, не пожалею вон за ту, крайнюю». Но Егор Кузьмич в достатке живет и не рехнулся еще, чтобы иконы продавать. Ты, сказал, парень, из ума, видно, выжился: бога торгуешь. Он усмехнулся, вспомнив. Но если станет Андрюха больно настаивать, он переедет, сын все-таки.

Солнышко уже пригревало хорошо, туман над рекой оседал, разливался молоком по низине, из-за него вырастали верхушки сосен, скалы в заречье. Тепло...

Егор Кузьмич видит колхоз еще богаче, у каждого колхозника машина своя, как у Андрюхи, дома все новые, а от коров люди отказываются, в колхоз их ведут. Всего, говорят, нам достаточно. Лучше в колхозе молока взять и мяса тоже, чем держать скот дома; и коров, и коз, и овец — всех в колхоз ведут. Животновод Зырянов руками разводит: «По одному,— говорит,— това-

рищи, по одному! Не успеваю я».— «А ты не записывай! — кричат ему.— Уходи с дороги — все это наше, общее, колхозное, не мешай!..»

— Отец? Уснул? Приморило на солнышке? — услышал Егор Кузьмич голос Андрея.— Вставай, поедем.

Егор открыл глаза, улыбнулся сыну:

— Ху ты, ребята. А я уж сон увидел, Андрюха.

— Какой?

— Да уж в коммунизме мы.

— Ну и хорошо! Садись!

Егор Кузьмич тяжело поднялся, в широких шароварах, в красной рубахе навыпуск, он казался еще больше, шире, грузнее.

Андрей подумал: «Не зря, видно, говорят, что наволочку от перины с пшеницей с места на место на спор в молодости перетаскивал. Была, видно, в нем сила».

Егор не спеша подошел к машине, влез.

— Однако центнеров по тридцать ныне опять будет, Андрюха.

— Пожалуй, отец.

У Андрея мысли сейчас были об отце... Председательствовал. Всю войну колхозом правил. Такой старик... А кто меня удержал, когда я после войны драпать из деревни хотел? Кто мне был всегда поддержкой и опорой, как председателем стал? Все он — отец...

А Егор, уронив голову на грудь, задумался. Перед ним начали мелькать отрезки жизни, оставившие неизгладимый след в душе.

Уходил в четырнадцатом году на германскую, в родительском доме восемь душ оставалось, все бабы да девки; земли не хватало, не считали бабу за человека, не было на нее надела.

Дрался с германцами, не щадя себя, ранили четыре раза, «Георгия» получил, думал бумагу писать, надела на землю просить, заслужил...

Но тут пошло... Большевики лозунги стали выкидывать: «Долой войну, помещиков, землю — крестьянам!..»

...И против царизма пошел, за который раньше тело дырявили, теперь уже не выпрашивать землю думал, а биться за нее.

...Завоевали свою власть народную, землю получили. Лучше зажили, трудись знай, не ленись. Семью свою завел.

...Тут Деникин поспел — опять винтовку в руки, опять дырявили пули Егора Кузьмича — еще три ранения. Намяли бока деникинцам — снова к земле вернулся. Как вол пахал, рубаха не просыхала. Выбился из нужды. Хватать хлеба стало...

В двадцать девятом обобществлять хозяйства начали. Долго мыкались те, которые мало-мало зажили, не хотели в общую артель идти. Но понял Егор, что опять большевики дельное предлагают, и шагнул в коллективное хозяйство. Двух лошадей вместе с упряжью привел. Потянулись за ним мужики. Сначала худовато было: всяк в свою сторону тянул. А потом поняли, добросовестно робить начали.

А как трактор пришел, так представление века было. И стар и млад на поле высыпали. Егор уж к тому времени председателем был. После зажили куда с добром. Окреп колхоз.

...Потом уж председателем грамотного мужика поставили, агронома. Пошло дело... А тут эта проклятая война. Повыхватывала она из деревни всех мужиков, бабы все на его пальцем тычут:

— Егора Кузьмича надо председателем ставить, хозяйственный и с головой.

Приступил... Еще с полей снег только согнало, а из района звонок за звонком.

— Сколько посеял, товарищ Дунаев? Как не начал? Рано? Под суд захотел? Фронту хлеб нужен. Немедленно начинать!

— Ладно.

Но Егор Кузьмич знал, что еще заморозки будут и после них родная землелька по-настоящему дышать начнет. Обманывал начальство, давал завышенные сводки посевной, тянул.

Потом замерзло все в полях у соседей, а у Егора Кузьмича всходы отличные. В газете пропечатали. «Вишь как! Вот и пойми ее, жизнь-то!»

А как рожь посеял осенью вместо яровой пшеницы (не рожала их земля по путям пшеницу-то), так сняли его с председателей за самовольство, да снова восстановили: некого больше ставить, только под суд посулили отдать, если урожай худой будет. А как народилась рожь, так из города людей привезли убирать помогать. Егора Кузьмича сфотографировали в областную

газету, написали: хозяйствовать с умом надо. Фронту хлеба больше всех дал колхоз «Красная новь», председатель Егор Кузьмич Дунаев...

Наплывало все новое и новое: осень, прошитая дождями белые мухи пролетают, а сил не хватает, картошка не выкопана, пшеница не убрана. Сверху приказ за приказом... В первую очередь пшеницу убирать. Хлеб... А картошку потом.

Но Егор Кузьмич сделал по-другому. Выкопали сначала картофель, только успели — закобенило землю, как камень стала. А потом и пшеницу убрали. В соседних колхозах картошка вся в земле осталась. Опять во всей области заговорили... орден дали. Слава «колдуна» поплыла по округе об Егоре Кузьмиче. Начальство за ручку здоровается...

...Стали приходить солдаты с фронта, хотя израненные, а все-таки мужики. А Егора Кузьмича не думают освобождать от председателей. Бабы слова никому не дают сказать. Да и мужики-фронтовики почитают его, наслышались о нем, знают Егора Кузьмича.

...Наступила уборочная, Егор Кузьмич всех людей на полевые станы вывез. Три километра от деревни, а все равно на стану живи. Некоторые вроде туда-сюда, дома в огороде убирать после работы надо. Но видят: стоит огород Егора Кузьмича целехонек, ни одного гнездышка не выкопано — образумились, давай изо всех силеночек копать на поле, чтобы дома успеть убрать. Управились до снега и в колхозе, и дома, а у других завалило.

— Ну как ты, Егор Кузьмич, успел, ведь в вашем колхозе сил еще меньше, чем у соседей! — допытывался председатель исполкома.

— Хоть станы и рядом с деревней, а разлеживаться некогда, полевые условия. Хочешь не хочешь, соскакивай на заре — поднимут. А дома из кровати не больно охота в эку рань вылезать, да ишшо баба под боком, а мужиков по три-четыре года дома не было. Покумекай-ко — это же скажешь.

— Ну хитер, умен,— смеясь, качал головой председатель исполкома.

— Жись знать надо,— только и сказал тогда Егор Кузьмич.

Вот стало перед глазами другое: внедрение квадрат-

но-гнездового способа посадки картофеля... всем так садить,— был отдан приказ. А людей не хватало, техники тоже. Маялись, маялись, не получается. А время уходит. «Давай, бабы, садить, как ране, через обуток». Он шагнул в борозду, показал расстояние. «Так нога-то у тебя, слава богу, наших две надо»,— засмеялись бабы.— «Садите через ваших два обутка». И пошла работа. Только отсеялись, дожди пошли, предчувствовал это Егор, знал по приметам. А другие пурхались в грязи, все дело комом пошло.

После дождей тепло ударило. У Егора всходы на ять. Осенью все сусеки картошкой завалили и с государством рассчитались сполна.

— Нет, ты нам расскажи еще раз, как это «через обуток»? — хохотали до слез в области.

«Эх, знать надо земельку родную, знать крестьянское дело, погоду знать»,— качал головой Егор.

А то появились мало-помалу деньжонки в колхозе, купил он два списанных трактора, танкисты-фронтовики отремонтировали, и пошла опять у Егора работа. Снова впереди всех...

Вспомнился случай в соседнем совхозе. Едет по улице с Андрюхой, а трактор новенький работает, гудит бедный, и никого нет. Вылез Егор из машины, ждал, ждал, выругался матерно, залез в кабину, выключил мотор. Вот оно как хозяйствуют. Никому дела нет... То и живут так: еле концы с концами сводят. Нет, у них с Андрюхой такого не было. Слава богу, все пока по путям идет.

Потом почему-то Егору подумалось, что никакой у него особой заслуги и нет, что любой хозяйственный мужик, который всю жизнь дело с землей имел, сначала в крестьянстве, потом в колхозе, на его месте так же бы вел дело, «с умом».

Он откинулся на спинку сиденья. «Хватит ворошить-то старое, и так с головой худо. Дом скоро, завтракать станем».

II

Дом Егора Кузьмича на окраине деревни, у поскотины; место широкое, привольное, елань все время зеленая, травка растет бойко. Из-за огородов теплый

ветерок наносит конопляный запах, там второй год коноплю сеют, нынче опять уродилась. Дом пятистенный, высокий, кругом черемухой оброс, она уже поспела и висит черными гроздьями.

Ребятишки деревенские, завидев машину, пососкакивали с заплота сзади дома, где они черемуху страдовали, и кинулись врассыпную, запрятались.

— Шельмы, хотя бы ели как следует, а то прямо прутьями ломают,— вслух проговорил Егор Кузьмич.

— Проволоку колючую натянуть надо,— ответил Андрей, смеясь.

— Придется.

Подъехали... Из открытого окна, загороженного огромным фикусом, вылетали слова:

— Не дам! Я те сказала не дам. И отступись. Пьянчужка, лежебока ты, вот кто! Трутень! Молчишь?! Додиганишься, выметет тебя Андрюха из колхоза. Чо развалился, выдавишь окольницу-то.

— Авдотья Григория, видно, опять песочит,— посмотрев на отца, тихо проговорил Андрей.

— Чо с ним делать. Совсем из колеи выбился. Сейчас поговорим, и будет. Сколько можно валандаться с ним, не ребенок ведь...

— Пожалуй ты прав, отец.

Авдотья, старшая дочь Егора Кузьмича, перед их приездом с час отбивалась от брата Григория, пришедшего просить опохмелиться. Наконец он вывел ее из терпения, и она начала его «пробирать».

Увидев входящих в дом Егора Кузьмича и Андрея, Григорий поднялся с места и потянулся к дверям.

— Сиди, Григорий, сиди. Чо это ты отца родного пужаешься. Раз пришел, и поедим вместе.

— Да неловко как-то, отец. На работу вот не пошел, голова разваливается.

— Неловко тебе и должно быть, коль не пошел. А если бы на работе был — все пòтом бы вышло. С пòтом все болезни выходят, не только похмелье.

Григорий потупил взгляд, уперся им в пол.

— Пятый десяток тебе, Григорий, идет. А ты с панталык сбиваешься. Андрюху подводишь. Народ на тебя пальцем тычет. Пьяницу, прогульщика в колхозе держат, мер не принимают. Не знаю, Григорий, как с тобой боле и говорить.

Вмешался Андрей.

— Это в последний раз, Григорий. Мне людям в глаза смотреть стыдно. Еще так сделаешь — выгоним из колхоза,— с горечью и злостью проговорил Андрей.

— А ты, Андрюха, нос больно-то не задирай. Как выбился в люди, так и на брата родного наплевать готов. Я постаре тебя. И помогал тебе, когда ты науки грыз. А счас — на тебе!.. К заднице льдинку приложи, остынь! — Потом сделал грустное лицо, проговорил тихо: — Никому я, выходит, не нужен!

— Ты, Григорий, не прикидывайся бедным Иванушкой, всеми покинутым,— проговорил строго Егор Кузьмич.— С тобой мы уж сколь раз говорили, все сулишь не делать боле так, а сам опять лыка не вяжешь. Хоть бы посовестился кукситься-то.

— А чо же я на одних условиях с бабами поставлен робить? Что они — то и я. Чо я, дурней тебя, Андрюха? Дурней?! Я на заводе мастером был, трактор и машину знаю. Механик я, понял! А ты меня разнорабочим ставишь, вместе с бабами, брата родного. Эх!..

— Да нельзя тебе доверять ни трактор, ни машину, Григорий. Ведь пробовал я тебе доверять. На машине ты пьяный на корову наехал. Ладно, на корову... А у трактора ты уснул, опять же пьяный, и он всю смену тарахтел зря, сапог ты сжег и сам чуть не сгорел. Было? Было! Молчишь? Нечего сказать?!

— Брошен я всеми,— выдавил Григорий,— единственная отрада — водка.

— Так ведь грешила она, грешила с тобой Надежда-то, Гришенька, и не вынесло ее сердце: гли-ко, каждый божий день ты хмельной. Да ишшо скандалишь,— выговаривала Авдотья, встревая в разговор.

— Скандалишь! — скривился в жалкой усмешке Григорий.— Гулящая она! А сердце у меня не каменное!..

— Я тебе говорил, Григорий, когда ты с войны вернулся: зачем берешь такую молодую девку за себя, а бабу, которая всю войну тебя ждала,— бросаешь. Ты не послушал... Теперь нечего зубами скрипеть.

— Выгоняйте! Никому я не нужен.— Григорий встал и, не глядя ни на кого, быстро вышел из избы, и направился вдоль по улице.

— Хоть и пилю, а жалко мне его,— вздохнула Авдотья,— зря он на Надежде женился. Ой зря!..

— Говорено было не раз. Сам большой... А тут расписался, на мужика не похож,— проговорил тихо Егор Кузьмич.

— Отец, все же придется попросить Григория из колхоза. От людей стыдно за него.

— Поглядим... Вон Авдотья всю жизнь колхозу отдала, Генку вместо матери воспитала. Году не было, от матери-то остался. Замуж из-за него не пошла. Воспитывала, да вот она не стонет, хоть и баба.

Авдотья не выдержала, заутиралась платком.

— Да и тебя он, Генка-то, отцом, тятя, считает. Сколь ты ему помогал, когда он учиться поступил.

— Ну ладно, ладно. И похвалить-то нельзя...— мягко проговорил Егор Кузьмич.

Авдотье вспомнилось, как растили Генку, еще грустнее стало. Мать от чахотки в голодный год умерла. Авдотья грудь ему свою давала... Пососет немного, а потом рожок с соской подсовывала и молока коровьего подливала. Поест и успокоится. А худенький рос. Все боялись, что кабы не заболел тоже туберкулезом-то. Мамой звал... Подрос когда, не захотела и говорить, что не мать, но все же сказала правду. Ой что было! Всю душу ему отдала, чтобы не чувствовал себя сироточкой. Вырос... Не хуже других... К себе зовет. Квартиру хорошую получил. Так и написал: приеду зимой и заберу. «И поеду. Сын ведь он мне. Тятя к Андрюхе собирается. Вот и все при месте будут». У Авдотьи даже на душе от таких думок полегчало, слезы от радости на глазах выступили. Она смахнула их и тут же стала собирать на стол.

Поели наскоро молока с хлебом, и Авдотья попросила отвезти ее на поле.

...Только Андрей с Авдотьей уехали, а Егор Кузьмич хотел идти в малуху и делать черенья к вилам,— дверь отворилась и зашла бабка Павла, соседка.

— Мир добрый, Кузьмич! Дома Егоровна-то?

— Уехала на поле с Андрюхой.

— Ой, никак не наробится. Ведь уж пора на отдых, а она все никак не угомонится, что ты же. Как будто без нее не управятся.

— Такой уж человек.

— Ныне в колхозе ведь что... Любо! Время вышло — пенсию получай. Не то что ране — робь, пока вперед ногами не понесут.

— Жизнь лучше стала. Знамо дело.

Егор Кузьмич встал.

— Да ты куда, посиди хоть.

— На куте вон орехи грецкие стоят, угощу тебя: Генка послал.

— Ой, уж у вас, Егор Кузьмич, не внучок, а золото. Письма пишет, посылочки шлет. Вырастила Авдотьюшка себе заменушку. Таких ныне немного. Все глядят, как от матери урвать.

— Не все ведь эки, Павла.

— Слов нет, не все. Вон у меня лиходей-то, слыхал, отчубучил?

— Нет не слыхал.— Егор Кузьмич сел.— Что опять?

— Еле упросила бригадира, чтобы мне поросеночка оставил. Мало было поросят-то. Ладно, говорит, бабка Павла, всю жизнь ты в колхозе проробила, ветеран ты у нас. Сколь тебе лет? Семьдесят пять, говорю, один Егор Кузьмич старе меня в деревне-то. Отдал он мне поросеночка. А Сашка мой сидит, что-то копается в углу. Поросеночек подошел и ткнул рыльцем радио его, транзистор. Он и свалился набок. Облеванец хвать каток с лавки да и огрел его по уху. Взвизгнул поросеночек и был таков. Я ругать... Он хоть бы глазом мигнул, нисколько личине его не стыдно. Я, говорит, мать, все равно свинину не ем. А станешь ворчать, так я в общежитие подамся — тебе хуже станет. Самой дрова колоть надо будет и воду носить, и по хозяйству управлять. Вот ведь сынок!

Егор Кузьмич поморщился:

— Подлец, неча говорить. Да, Павла, малые детки — малые бедки, большие детки — большие бедки.

— Вот так вот, Егор Кузьмич, и мучусь.

— Проучить его, подлеца, как-то надо.

— Надо. Надо. Новость-то не слышал? — не унималась Павла.

— Какую?

— Третьеводни племенной колхозный бык не вернулся на полевую ферму. Искали, искали целый день — не нашли. Всю тайгу покрестили... А вечером собрались мужики на ферме да судачат: чо делать... Ермил-

лесник с ружьем подошел, с обходу, видно. Глядят, бык-то и летит из острова, пена на губах, а на загривке у него медведь сидит. Мужики орут: «Стреляй, Ермил!» — а Ермила уж и след простыл, как в воду канул. Схватил Митрий Попов ружье да хлесть, потом в другоредь, да и свалил быка-то. А медведь ходу в лес. Сейчас с Митрия, судят, вычитать станут за быка. Вот ведь век прожила, такого не слыхивала... Притча. Я свою буренку все время в остров ране гоняла. Ведь это господь, видно, меня не забыл — миловал. Отвел медведя.

Егор Кузьмич засмеялся:

— Съели уж почти быка-то всего, Павла. К делу пошел. Никто с Митрия вычитать не станет, раз такой случай произошел, не на это ведь он ладил. А Ермил сиганул, говоришь. Друг ведь первый нашего Григория.

— Этот охальник чо! Всю жизнь людей смешит. Когда на него, видно, накинулись, как воротился, а он мелет: «Медведь этот мне давно мстит за то, что я его ножом полоснул». Но и все, кроме Митрия, за брюхо схватились, знают его боязливого. А он забрал ружье да и ходу. Обход, говорит, мне надо делать.

— Друг, друг он Григория. Водой их не разольешь. Спился вот Гришка у меня...

— Это он из-за Надежды, Егор Кузьмич, отойдет. Порастет все бурьяном, забудется и отойдет, и пить не станет.

— А тебе женить надо парня — остепенится.

— Али не сбивала. Я, говорит, не чокнутый, чтобы жениться. Вишь как? Ой, господь терпел и нам, видно, велел. Домаемся до смерти как-нибудь.

Егор Кузьмич не любил, когда говорили о смерти, отрезал:

— Ты, Павла, с таким словом лучше не приходи. Неча до время трястись.

Павла продолжала:

— Ну ладно, не стану больше, знаю, что не уважаешь ето.

— А парень твой образумится. Не век таким дураком станет жить.

— Да дай-то бог. Всегда ты добрым словом утешишь, Егор Кузьмич. Ладно, пойду, то охальник ись

скоро придет. Накормить надо. Хоть и подлец, а сын родной.

Павла ушла, забыв об орехах, запамятовал о них и Егор Кузьмич.

III

Григорий, уйдя из дома Егора Кузьмича, шел вдоль деревни, надеясь у кого-нибудь перехватить на похмелье.

За поворотом он заметил худощавую, долговязую фигуру лесника Ермила. С Ермилом их связывала толща времени. Вспомнилась молодость, буйная, безрассудная. Ермил задирался с молодыми парнями из соседних деревень, а Григорий, коренастый, крепкий на руку,— дрался. Сходились даже деревня на деревню. «Войском» руководил всегда Григорий, и когда начинали трещать огородные изгороди, жерди с них сниматься и колья вырываться, Ермил исчезал. А потом, в конце летней ночи, на рассвете, Ермил рассказывал, как двоим или троим головы проломил жердью или колом. Когда кто-нибудь его уличал в бегстве, он потихонечку, без споров отходил в сторону и помалкивал. Ермила не обижали, уважали и за то, что он хоть задираться умел и врать складно и весело.

«Пойду к нему, наверняка этот прощелыга найдет...» И тут же всплыли у Григория в памяти картины Ермиловых «чудачеств».

Не хотел как-то сдавать картофель по обложению Ермил, но не сказал, что не желает, а привез из-под дождя самой худой и мелкой картошки, да зеленчиков с ботвы туда подбросил.

— Ты что, Ермил, в глаза смеешься — такую картошку привез... И зачем ты зеленчиков нарвал? Совести у тебя, видно, нет! Не приму! — со злостью палил в него приемщик.

Ничего не ответил Ермил. Сгрузил картошку обратно в мешки и уехал. А назавтра привозит воз вареной. Толпа, толкавшаяся у колхозного склада, так и ахнула, увидев.

— Дурака валять вздумал! — закричал изумленный приемщик.

Ермил сотворил обидную физиономию и промолвил сквозь деланные слезы:

— Вы что над бедным Ермилом измываетесь — сырая не ладно, вареная не годно. Вам какую, сушеную надо?!

Долго об этом судачили в деревне. Ермила начали возить по больницам, исследовать, потом выдали справку такую, как в деревне выражались, что на него «находит», и попустились.

Припомнилось Григорию и другое: не захотел сдавать Ермил мясопоставки. Одно извещение приходит, другое, третье — молчит Ермил. Не является.

Пришли налоговый агент с участковым милиционером и, не добившись ни слова от Ермила, описали телку и наказали, чтобы мясопоставки через два дня были внесены.

Прошло это время, а от Ермила ни слуху ни духу. Явились к нему милиционер с агентом, спросили:

— Что не сдаешь мясопоставки, Ермил?

— Нечего сдавать, голубчики,— отвечает Ермил вежливо.

— Веди телка,— сурово приказал участковый.

— Нет телка, служивый,— опять тихонечко, вежливо Ермил отвечает.

— Где же он?

— Вы, голубчики, описали, а не кормите. А мне, бедному человеку, кормить чужую скотину невыгодно, да и нечем. Я заколол его.

Плюнули участковый с заготовителем, забирать Ермила нельзя — справка у него есть, что на него «находит»,— и ушли.

Вспомнил Григорий, как пробовали пристроить Ермила в пожарную... Загорелась колхозная сушилка, к Ермилу стучали, стучали, и пока дверь с петель не сняли и не сдернули его с нар, все он спал беспробудно или вид делал — кто знает...

А когда сообщили ему, что сушилка горит, он почесал затылок и произнес спокойнехонько:

— Счас покурим, дак поедем. Воды только я не припас...

Много можно припомнить Ермиловых выходок, но сейчас Григорию не до этого: в нутре у него жжет. Он прибавил шагу и, догоняя Ермила, глаз с него не спускал.

А Ермила поставили недавно вместо заболевшего

лесника, потому как он хорошо знал лес и просился на эту должность долго. Ермил так взялся за дело, что удивил всех. День и ночь в лесу — и спал там в избушке. Все видел, где что делается,— и дерева в лесу не пропадет.

Лес Ермил знал сызмальства, таскался по нему с собаками и со своей шомполкой, стволина длинная, говорят, что дальше его ружья ни одно в губернии не стреляло, и досталось оно ему еще от прадеда.

По душе Ермилу работа лесника пришлась...

Григорий увидел, что Ермил сворачивает домой, и поспешил за ним. Изба Ермила крайняя, изгородь огородная к самой реке подбегает. В половодье, когда река разливается, вода к Ермилу в огород заходит, а когда скатывается, то в лужах огородных, в низине, рыба остается. Ограды у Ермила никакой нет. Скотины летом и осенью дома тоже нет. Баба его, Агафья, на летнюю ферму на весь сезон уезжает и скотину свою забирает. А ферма на Ермиловом участке находится, избушка у него недалеко, и он ходит на ферму молоко пить, а то и верхом ездит — лошадь казенная есть.

Во дворе сидит на толстой цепи пес Дозор около своей будки и лениво лает на прохожих.

Григорий подумал, что, видно, давненько живет Ермил дома, он ведь Дозора с собой в лес берет, а как вернется обратно, то пес падает около будки от усталости, и Ермил его не привязывает.

А это что такое? У конюшни — раз, два, три... десять... пятнадцать — курицы на привязи ходят, которая за лапу, которая за крыло захвачена. Григорий так удивился, что остановился посреди двора в недоумении. А вон коза за шею привязана, задавится ведь...

В это время Ермил оглянулся, его тонкие губы растянулись в приветливой улыбке.

— Здравствуй, здравствуй, Гришенька! Чо ты среди двора, как чужой, и не здороваешься. Или в обиде на меня? Так не за чо.

— Мир добрый, Ермил,— спохватился Григорий и, подойдя, пожал руку.— На что же мне на друга сердиться. Я вот на куриц засмотрелся.

— Эге, эге,— замычал Ермил.

— Первый раз вижу, чтобы курицы на привязи ходили.

Григорий сел на завалинку, ему представилось, что Ермил опять какое-нибудь чудачество затеял.

— Вон, Гриша, видишь тот дом, знаешь чей?

— Знаю, тещи твоей.

— Так вот она меня все заставляет ограду загородить. Баит, что у меня двор — «поле без огороду», и куриц своих выгоняет без надзору. А они у меня грядки роют. Это негоже, Гриша, так. Негоже! Вот я и загнал их в конюшню и посадил на привязь. Придет вечером с работы, хватится. Она ворота польские сторожит, чтобы скот в поле не заходил. А в мой огород, видно, можно... Я уж три курицы у нее заколол, съел, да она, видно, внимания этому не придает или потому что счету не знает.

Григорий чуть не расхохотался, но стерпел, сохранил страдальческий вид, так как у него с Ермилом впереди должен быть разговор и сослаться надо будет на свое нутро больное, которое подлечить необходимо.

— А потом, Гриша, я долго не могу одно блюдо хлебать, приелся суп. Вот я и привязал их. Придет она с работы, увидит и меры примет. Коза тоже ее. Если бы зимой, то я бы ее зарезал, сейчас же мясо долго дюжить не будет, а соленое я не люблю.— Григорий молча слушал, усугубляя страдальческий вид.— А ты что это такой грустный да бледный? Аль прихворнулось?

— Нутро горит огнем, Ермил, выручи.

Ермилу для Григория не жалко было на опохмелку. Знал он, что если есть у Григория за душой, всегда поделится. Но сейчас у него не было ни денег, ни водки.

— Дома-то у меня нет ничего, Гриша.

— Да ведь недавно гнал, Ермил, знаю ведь.

— У Пушкаревых свадьба-то была... Привязались... Грех на душу взял — продал, Гриша. А остатки с Шабалдиным выпили. Мы теперь с ним «дружки».

— С милиционером-то с нашим, участковым? Слышал. И что он в козла стрелял — слышал, а пошто, бабы не сказали.

— Да вот все он ко мне придирался, Гриша. Хоть, говорит, Ермил Иванович, на тебя и «находит», но ты не отклоняйся от нормы нашего социалистического бытья. А в чем же я отклоняюсь, говорю ему, товарищ

Шабалдин? Самогон, говорит, ты гонишь. Люди сказывают. Нет, отвечаю, ошибка, товарищ Шабалдин. Чтобы доказать это — поймать надо, а потом и разговор вести. По закону-то, говорит, так, но это я для профилактики.

— То-то говорю.

Вот намедни затащил я аппарат в пристройчик у конюшни и цежу потихоньку, чтобы не тоскливо было, груздей соленых, да рыжиков принес, да кружечку. И совсем потом забылся — запел. В это время его черт по дороге нес, услышал он, видно, что я пою...

Григорию не ждалось, внутри действительно «черти плясали», тянуло, жгло, но выслушать хотелось, да и перебивать друга неловко — и он терпел.

А Ермил желал излиться перед дружком до конца.

— Подошел он к пристройчику, постучал тихонечко в дверь, сказал вежливо: «Ермил Иванович, песенки доносятся, может, на вас «нашло»?» И заходит каналья без спросу. Я отвечаю: петь никому не воспрещено, тем более я в собственном пристройке... сам складывал, лес выкупал, по закону все. Вижу, говорит. Сумку расстегнул, бумагу достает, протокол, видно, составлять. А я говорю, протокол успеете, товарищ Шабалдин, написать, а грибы я сейчас унесу, и первачок выдыхается, не такой уж потом у него будет вкус. Чудной, говорит, ты, Ермил Иванович. А у самого, вижу, слюнки на губах выступили. Подвинул я ему грибы и налил стаканчик, себе плеснул в кружку. Выпил он надух, крякнул, груздем закусил. Повторяли потом.

Все он допытывался, верно ли, что на меня «находит». Как он уходил, я уж плохо помню. Только сказал ему, что теща скоро придет и лучше бы вам, Геннадий Петрович, потихонечку...

Все было бы хорошо, если бы он наган-то в тот вечер не потерял. Прибегает ко мне назавтра и говорит: «Не шути, Ермил Иванович, отдай наган. За это меня в тюрьму могут».

И я перепужался. Дело-то сурьезное. И оказывается, совсем скандально дело-то вышло. Козел-от у нас блудный ходил, на людей кидался... Большущий... Вышел он да на козла-то и напоролся. Тот на него и кинулся. Ну а Шабалдин, видно, посчитал, что тот права такого не имеет на него бросаться. А козел есть козел.

Поддал ему сзади да и сбил. Вскочил Шабалдин, козел опять на него штурмом. Вот он выдернул наган-то да и бах в него. Три раза, говорят, стрелял — все мимо. Козла грохот, видимо, смущал на время. Стрелит он — и бежать, пока козел не одумается... Да и на забор Зыряновых вскарабкался, наган-от и выпал. Ну, козел, известно,— скотина, дальше пошел. Шабалдин слез — и тоже домой. Назавтра хватился — нет нагана. Он ко мне.

Не грешен, говорю, товарищ Шабалдин, я. Не печальтесь — найдется. Я вот, говорю, в лесу на пне зубы оставил, и то ребятишки нашли — принесли. А наган — это не зубы, принесут подавно. Так, говорит, кабы до начальства не дошло, не то снимут меня. Да нет, отвечаю, народ у нас в деревне не продажный. Говорим так, а зыряновские ребятишки и тащат наган-от.

«Дяденька Шабалдин,— щебечут,— у нас под черемухой он лежал, наган-то ваш, когда вы от козла забирались».

«Спасибо,— благодарит их,— соколики. Об этом вы никому ни слова, конфет вам принесу, поняли?!»

«Поняли»,— обрадовались те.

Сунул он наган в карман, ободрился, повеселел. А я говорю: ради такого случая, товарищ Шабалдин, не грешно и по одной. Не согласился боле, побоялся. Меру, говорит, знать надо, а то и до худого недалеко.

Слушать Ермила было забавно и на кур привязанных смотреть интересно, но внутренности Григория жгло наждаком, голова разваливалась, терпеть он больше не мог и взмолился:

— Ермилушко, милый, или дай мне на четушку, или вместе пойдем опохмелимся.

— Да деньги-то баба этой тигре отдала, теще. А она только вечером придет.— И, видя, как передернуло Григория от досады, проговорил:

— Найдем, Гриша. Пойдем, я акт составлю на Марину Миронову: столбики для палисадника без выкупа напилила и привезла.

Григорий смекнул и заторопился.

Ермил накинул на плечо брезентовую сумку, фуражку форменную надел, которую в лесничестве выдали, и они с Григорием двинулись ко двору Марины.

Ограда у Марины большая, плотная, курице про-

лезть некуда. По ограде кобель злющий черный носится. Ермил залез в садик перед окошками, пробрался между кустов малинника, нарвал мимоходом горсть и бросил ее в рот, постучал в окно.

— Кто там? — раздалось из избы.

— Я, лесник, Ермил Иванович, по делу. Отворяйте.

Марина остановилась среди избы, опешила, так для нее это было неожиданно. «Кто это доложил ему, черту». Вспомнила, как тихонько, глубокой ночью были привезены позавчера столбы. Не могла она понять, как он узнал.

Когда Марина пошла открывать ворота и увидела в окно Ермила с Григорием, то подумала, что лесник пришел с понятым,— дело пахнет судом. «Ведь судили же недавно Феклу за то, что лес кратче увезла. Вот беда-то». Ей полезло в голову, что могут так и принудработы дать, а то, чего доброго, посадить за государственный лес. А как ребятишки ее тогда, с кем останутся? Затряслась бабья душа, и слезы на глаза навернулись.

Она прихватила на цепь собаку, ворота открыла с баута. «Здравствуйте»,— сказала растерянно.

Ермил сделал напыщенный, строгий вид, выдавил сухо: «Здравствуйте», Григорий и совсем промолчал, больно уж у него тянуло нутро.

Мария от такой официальности еще больше напугалась. И столбы, как назло, тут в ограде лежат — не успела убрать.

— Пойдемте в избу,— важно сказал Ермил.— И вы тоже, Григорий Егорович.

Зайдя в дом, Ермил снял фуражку форменную, положил ее на середину стола, достал бумаги из сумки, взглянул строго на Марину и проговорил сердито:

— Дело-то, Марина Евлампьевна, уголовное, кража государственного леса. Я-то бы и не стал, может быть, акт составлять и отдавать куда следует, но вот люди... Языки длинные...

Он достал химический карандаш, послюнявил его и на чистом листе написал крупно: АКТ.

— Может, как и без суда можно обойтись, Ермил Иванович, дети ведь... безотцовщина... куда их...— Марина всхлипнула.— Штрафом, может, можно обойтись? Сжалься.

— Люди!.. пальцем тычут...— развел руками Ермил.
В разговор вмешался Григорий:
— По-моему, Ермил Иванович, женщину одинокую упекать нет никакой надобности. Первый раз она провинилась?
— Первый и последний, Григорий Егорович. Это все шофер шалапутный Аркашка виноват. Никто, говорит, не узнает. А самому выпить захотелось... А я-то по бабьей дурости и поддалась на удочку,— завсхлипывала Марина.
— Так она баба дисциплинированная, самостоятельная, все билет выкупала,— вставил Ермил.
— Ох! — сделал страдальческое лицо Григорий.— Я пойду, Ермил Иванович.
— Что с вами, Григорий Егорович?
— Да вчера именинник я был. Похмелье мучит.
— Так, может, не возражаете — принесу... Покупала позавчера две. Одна-то осталась...
— Ему можно, а я на службе,— сказал Ермил.
Марина мигом поставила на стол графин, груздей соленых принесла и два стаканчика налила.
— Ну, не обессудьте,— произнес Григорий со вздохом облегчения, беря стопку.— Давай, Ермил Иванович.
— Ну, разве полрюмочки...
«Слава богу»,— пронеслось у Марины. Она знала, что когда они хватят по стаканчику, заговорят повеселее, захотят по другому, а потом уж пойдет — известно, мужики... Ей уже почему-то казалось дело сделанным. Она уж прикидывала, куда их положить спать, если в случае чего...
Григорий с Ермилом сначала и верно выпили степенно, важно, Ермил даже не допил стопку. Вторую пили побойчее, и Ермил выдержал всю. А потом пошло, как предполагала Марина.
Они еле вышли из-за стола, обоих пошатывало. Ермил сказал Марине, что замнет дело и штрафовать ее из-за жалости к детям не станет.
— Ты билет, смотри, на столбы выкупи и чтобы это было в первый и последний раз. Я ведь тоже рискую, Маринушка,— закончил он внушительно. Выходя из дверей, Ермил стукнулся о верхний косяк, ойкнул, фуражка форменная слетела и покатилась по полу, упала в чашку, из которой лакала молоко кошка, кош-

ка фыркнула и бросилась в подполье, а Ермил щупал на голове шишку.

— Ой, зашибся, батюшко Ермил Иванович.

— Ничо, ничо!

Из сумки у Ермила торчало горлышко бутылки, сунутой Мариной. Григорий заметил и утолкнул бутылку глубже, чтобы не видно было.

Когда вышли из Марининых ворот, остановились.

— Пойдем ко мне, здесь ближе,— молвил Ермил.

Григорию было уже хорошо, боль в нутре прошла, да и бутылка лежит в сумке — чего еще надо!

— А Шабалдин похаживал к Марине, Гриша, еще мужик у нее жив был, шибко баска она была ране-то.

— Стерьва! — перебил Григорий.— Кабы знал, пить бы у ней не стал. Стерьва!

Ему сразу вспомнилась Надежда, как он ее дружка дома застал. Потом ссоры, дележ.

— На баб ты, Григорий, не будь в обиде. Они разные бывают.— Ермил смекнул, что растревожило Григория.

Вспомнил свою жизнь, сам на второй женат. Этот раз женился шутя, а вот прожил пятнадцать лет, и живут душа в душу.

Григорий же жизнь свою считает отравленной... Уход Надежды он очень переживал: любил он ее, от жены ушел...

— Ты думаешь, что Надежда ушла от тебя, Гриша, потому, что моложе тебя? Нет! Не поэтому. Меня ведь вот баба тоже моложе на пятнадцать годов, а я уверен, что она и не загуляет и не уйдет, хоть и невзрачный я мужичишко и «находит» на меня. Потому, что человек она самостоятельный, не гулящая. А Надежда твоя — гулящая! И не потому, что ты мужик плохой или там бракован в чем, а такой она человек. Кровь такая. И не жалей. В жены она никакому мужику не годится. Ты иди к старой бабе, та у тебя самостоятельная, примет.

Григорию было тяжело слышать Ермила, но он не перебивал. Вспомнил Марфу, неплохо ведь с ней жил. Ласковая, заботливая, работящая. Всегда сыт, одет чисто. Совсем добро жили. Нет, подвернулась эта, Надежда. Зажгло сердце, любовью горячей обдала, захватила, а у нее этой любви-то, оказывается, на всех хватает!

А Марфа и сейчас честь-честью живет, никто плохого слова не скажет. Даже вот «чудак» Ермил и тот говорит, что молодец она. Но у Григория не лежит к ней сердце. Что ты будешь делать?! Ему жаль Надежду. Пьет... А она, говорят, уж Петьку-тракториста с панталык сбивает. Тяжело ему!.. Но придется вырвать из сердца. Жить надо. Пить он бросит. Жить охота...

Наплыло другое: ведь он считался лучшим механиком в колхозе. После войны спасовал, не поверил, что колхоз может подняться, на завод уехал. Лучше жил, чем любой колхозник. Даже денег Андрюхе посылал, когда тот учился. Отцу посылал. Не брал только отец — гордый! Обиделся, что из колхоза удрал. Он надеялся, что поднимется колхоз, а вот Григорий не верил: больно бедно было. Квартиру получил... Тут с Надеждой сошелся. Сначала все хорошо было, потом пошла карусель... Запил... Уволили... Опять потянуло к родным местам... Приехал, в колхоз приняли... теперь вот и отсюда гонят... Докатился... Хватит! А колхозники зажили. Андрюха говорит, что привези полсотни «Волг» и разберут. Авторитет! В Англии был, на Кубе. Вишь как!

Ермил не мешал думать Григорию, потом ему надоело, водка подогревала кровь, и он заговорил:

— Вот я тебе о бабах зачал, Гриша. Первая-то моя даже старе меня была. Заметил я за ней это дело, что погуливать она начала... Подкараулил. Никакого скандала не поднял. Спросил у нее назавтра. Ты, говорю, скажи мне напоследок: видно, я плохой мужик, что гулять зачала... А баба, ведь известно, никогда не признается, выкручиваться станет, пока надежду на совместную жизнь имеет. Это уж я знаю точно. Отвез я ее в свой дом по-хорошему. Гуляй, говорю, теперь сколь хочешь. Приходит она ко мне недельки через две снова полюбиться.

Что же ты, спрашиваю. Кровь, говорит, у меня, Ермилушка, такая. И если кровь у бабы такая, и заметишь, что гульнула, пусть клянется не клянется, что не будет боле, не верь. Все равно гулять станет. Лучше рви, пока не поздно, как со мной поступил. Вот так чистосердечно и призналась. И у твоей Надежды кровь такая. Глядишь, я тебя и просветил. А вообще, самостоятельных баб боле, Гриша...

— Ты мудрый, Ермил, хоть в деревне тебя и за тронутого люди считают,— сказал в раздумье Григорий.

— А на меня, Гриша, и в самом деле «находит». Не люблю притеснений всяких, что против моей воли,— тогда я бесшабашный...

При произнесении слова «бесшабашный» Григорий улыбнулся:

— А душу ты всегда развеселишь, Ермил.

— Да ведь я тебя, Гриша, люблю. Годок ты мне. Другим-то я и слова не скажу. Это я только с тобой на особицу — душу свою изливаю. Другие-то пусть меня, как ты выразился, «тронутым» считают, а я смеюсь над ними в душе-то. Вот счас я тебе расскажу, как я тещу свою сварливую, глупую проучил, как она печь свою заливала.

— Потом, Ермил, расскажешь. Домой я пойду. Что-то на душе у меня тяжело стало. Бутылку-то на похмелье оставим. Не пойду уж я в избу.

— Так у ворот и отгостил.

— Поговорили славно и выпили хорошо.

— Ну гляди не обижайся.

Григорий пожал руку Ермила и пошел по деревне. На душе у него было тяжело, но он не видел пока никакого выхода, к Марфе идти не хотел, не тянуло...

IV

Егор Кузьмич собирался на сенокос. Он решил, что и тут помощь большую окажет. Пошел к бригадиру Антону Фролову.

Заросший щетиной, обычно хмурый, Антон Фролов встретил Егора Кузьмича приветливо.

В ушах у Антона еще сейчас звенели слова Андрея: «Придет отец на сенокос проситься — не бери. Здоровье у него сдавать стало».

Но Антон был назначен ответственным за сенокос, и Егор Кузьмич ему нужен «позарез». Да и знал он, что скажет Егор Кузьмич про Андреевы слова: «Если для дела лучше лажу, а он перечит, то не дам я ему над собой распоряжаться».

Егор Кузьмич с порога заговорил:

— Погодка-то, Антоха, какая, а! Здорово живем!

— Здравствуй, Егор Кузьмич! — Антон умышленно не спросил о здоровье, знал, отмахнется Егор Кузьмич и скажет: «Пока дюжу, не жалуюсь».

— А я по делу пришел. Сенокосилками всю траву не скосите. По маленьким еланушкам да возле кустов самая лучшая трава растет — пырей да клевер, визиль... Надо сколотить бригаду из баб, а я у них литовки отбивать стану, ну и сам мало-мало потюкаю, в общем, организую прикоску.

— Я согласен, но Андрей Егорович зашумит на меня, что взял.

— Да у него что, головы на плечах нет. Я ведь лажу как лучше, чтобы управиться скорей с сенокосом, а там уборка на носу... Я ведь кабы дело-то ладно было. А Андрюхе я больно командовать над собой не дам. Я сам себе пока хозяин. Сенокос, уборку закончим, там и отдыхать стану. Да я ему сам скажу.

Антон знал, что Егор Кузьмич все равно поедет и лучше его дело на прикоске никто не поставит. Согласился вроде неохотно, а в душе радовался: «Пойдет работа!»

...Сколько ни приезжал Егор Кузьмич на сенокос, каждый раз его радовала эта пора.

На большой поляне у толстой сосны разбили общий стан. Пахнет травой, прелыми листьями, смородинником. Механизаторы расположились у березничка, возятся с машинами, считают, что они тут главная ударная сила. Повара хлопочут у костра, натягивают палатку, таскают туда продукты. Бабы с литовками разбивают стан в тени под соснами, у речки, кричат Егора Кузьмича.

— Давай, Егор Кузьмич, ждем, ты у нас один на поглядочку. Смотри поворачивайся! Плохо будешь работать, спуску не дадим.

— Всех ублаговолить должен! — кричит отчаянная вдова Федорка Юрьева.

— Постараюсь,— отшучивается Егор Кузьмич.

Механизаторы перемигиваются, думают совсем о другом, нежели Федорка, окликают ее:

— В случае чего нас позови, как-нибудь сладим.

— Да что вы сделаете, ни один тюкнуть по литовке не умеет, только на технику и надеетесь. А раз смелые, так ну! — кто отобьет?

— Чем расплачиваться станешь,— зубоскалят мужики.— Ежели... то можно.

— Хоть чем, кто смелый, подходи.

Мужики мнутся, гогочут, литовка не по их части. У них — техника.

— Но-о, шельма! — качает головой Егор Кузьмич. Он вбивает обухом топора наковаленку, заостренную с другого конца как шило, в сосновую чурку, отпиленную тут же, черенок у литовки подвешивает веревочкой за березовый сук, лезвие кладет на наковаленку, ударяет молоточком, и по лесу раздается ту-ю, ту-ю.

На стану зашевелились. У поваров задымил костер, запахло жильем. Женщины разбрелись по кустам, и послышалось отовсюду над речкой: вжик, вжи-ик, — косят!

А в другом конце зашумели тракторы, глуша литовочное вж-ик и ту-ю, ту-ю.

Но тракторы вскоре разбрелись, как неуклюжие жуки, по дальним полянам, унося с собой рокот моторов. Женщины, то одна, то другая, подходят к Егору Кузьмичу.

— Мне пооттяни, Егор Кузьмич.

— У меня что-то плохо идет.

— Храбастит, а не косит.

— Наверное, неправильно насажена.

— Много что-то хватает.

— Ну погодите, у вас больше работы, а мне тюк-тюк и готово,— басит здоровенная баба Агриппина.

И опять тую-ту-ю плывет над речкой, дудя и оглашая утро началом трудового дня.

А Егор Кузьмич уже весь в поту, рубаха выпущена из-под штанов, чтобы продувало, ворот расстегнут.

Он отбивать успевает, и пересаживать, и построгать. А бабье «Егор Кузьмич» перекликается по кустам.

Но вот утро, умытое росой, пообветрилось, пообсохло. Солнышко уже золотит начавшие краснеть осиновые листочки и ползет вверх, в синеву, отражаясь в запрудье речки Чернушки. Когда оно поднимется вполнеба, бабы вытрут платками и подолами взмокшие лица, придут к стану и бухнутся под кусты, приедут обязательно измазанные в масле или солидоле механизаторы, начнут мыться, плеща воду друг на друга, потом все сядут за длинный, сколоченный из тесаных

плах стол хлебать горячее варево; кто-то прямо с блюдом залезет под куст, станут говорить, что хорошо покосили и трава нынче хорошая, погода бы постояла.

А парни поманят девок на Чернушку, чтобы понырять, поиграть, побаловаться.

Егор Кузьмич будет любоваться этим расшевелившимся ульем, и радостно ему будет глядеть, как спорится работа и веселится, балагурит народ.

Вечером придут все усталые, отужинают и полезут в балаганы. И луна круглая, как коврига, будет висеть над станом, высвечивая на сучьях лезвия кос.

Только в молодежном балагане долго не смолкнут шумок, возня, хихиканье. Но в полночь и там все тихнет.

А утром зашевелится стан, загомонит, дым от костра поплывет понизу, прижатый туманом, потом прорвется вверх и ту-ю, ту-ю раздастся над поляной...

И вздохнет Егор Кузьмич радостно, когда вся трава будет скошена.

...Прошло четыре дня. На покосе еще большее оживление: гребь в полном разгаре. Бороздят тракторы поляны, таская грабли, а на Чернушке в кустах опять слышно бабье разноголосье и видно мельканье разноцветных платков.

Мужики мечут зароды, а Егор Кузьмич подготовляет место под главный стог, потом он подскажет где-то завершить зарод, кому-то заменит вилы, починит грабли — работы невпроворот.

Но вот за Чернушкой запогромыхивало, за дальним лесом стали сгущаться облака, показалась сине-черная каемочка тучи, подул ветер, зашевелил сено, волосы на головах мужиков. Все запоглядывали в ту сторону, где темнело, заторопились, «успеть бы дометать»,— думал каждый.

Егор Кузьмич схватил вилы, хоть и обещал Андрюхе не метать, где уж там... полез на крайний стог, на котором один бригадир орудовал, «кабы дело ладно было, не вымочило сено-то». Тут уж Егора Кузьмича не удержишь, да и Антон рад, что подмога подоспела, туча-то рядом.

Мужики, увидя Егора Кузьмича, забравшегося на стог, его разлохмаченную ветром бороду, волосы на голове, принялись ожесточенно орудовать вилами.

А гремит уже совсем рядом, почти над головой. Ветер, как назло, торопит тучу, гонит ее на метателей. Яркие кривые линии кромсают ее, она кажется еще страшнее.

Люди бегают,— все кружится, шевелится, «кипит», как вроде и усталости никакой не бывало.

Еле успели завершить зароды — хлынул дождь. Бабы бросились к балаганам, мокрые от пота и дождя. Егор Кузьмич слез с зарода по шесту, поданному кем-то, проговорил:

— Ну, вот и ладно дело-то вышло... с сеном будем.— И пошел в окружении мужиков к главному шатру. Он знает, сейчас бригадир достанет откуда-то припрятанную бутылку с белой головкой, подаст мужикам по стопке, после по второй, закусят, появится приготовленное горячее варево,— и пойдут несмолкаемые разговоры о хороших нынче травах, об окончании сенокоса, о наступающей уборке... А вечером опустеет стан, останутся одни колья от балаганов да палаток, и грустно даже немножко станет. Люди поедут в деревню, по домам, где они сходят в баню, смоют сенную труху с тела и будут настраиваться на уборочную.

...А Егор Кузьмич не успокоится, пока не начнут уборку, погода, по приметам, меняться ладит. Он уже сходил к Андрюхе и, только когда тот сказал ему, что через день приступают, угомонился малость.

Утром, когда выкатилось из-за дальней горы солнышко и шаловливо бросило свои первые лучи по серебряным колосьям ржи, а легкий ветерок досушил их от росы и ночной сырости,— в поле зашумели комбайны. И когда могучая техника полностью навалилась на поля, то машины еле успевали возить хлеб на сушильные агрегаты.

И радостно было у Егора на душе, глядя на эту уборочную страду. Но не зря Егор Кузьмич волновался, предчувствовал. Ночью пошел дождь, колосья намокли.

Егор Кузьмич посоветовал не прекращать уборку, а скашивать хлеба в валки, которые продует ветром, потом уж молотить.

Сушилки не успевали справляться с поступающим от комбайнов зерном. Соорудили зерноток. У Егора Кузьмича рукава рубахи по локоть закатаны, то он

там сует руки в зерно, то тут, проверяет, чтоб не грелось. А как остановились моторы, которые гнали воздух вентиляции, так за Гришкой турнул парня-помощника.

Григорий возился с мотором, а Егор Кузьмич с бабами ворочал зерно лопатами. Некогда уж тут на старость сваливать, кабы не сгорело зерно, такой урожай, да не собрать. Старайся, шевелись...

И только когда поздно вечером заработали механизмы и погнали воздух, Егор бросил лопату и вышел на улицу.

Потемки заволакивали деревню, звезды проклюнулись в небе, и луна народилась. А фары комбайнов резали темень, секли ее лучами и радовали хлеборобов.

И вспомнилась Егору Кузьмичу одна уборка: немец рвется в глубь страны, в деревне ни одного мужика. Снег пролетает, а бабы жнут серпами оставшееся поле. Да так и не дожали, засыпало снегом. Уж по весне колосьями собирали...

А комбайны шумят и шумят, немного не достают лучами фар до Егора, бодрят его, и уходят грустные воспоминания, теряются.

...Хоть вот и техника, и механизировано все, а везде хозяйский глаз нужен. Следующей ночью поднялся ветер, завыл в трубах, а перед утром еще дождь пошел. Егор Кузьмич заторопился на зерноток — все в порядке вроде, пошевелил кое-где зерно, не греется. Зашел в сушилку, там и объект-то не его, увидел — зияет проем в крыше, оторвало ветром два листа шифера, и зерно лежит мокнет, а поставленный досматривать мужик спит на рогожке. Так влетело от Егора Кузьмича, что, наверное, век помнить станет.

Дело двигалось к концу.

Егору Кузьмичу уже виделось, как не сегодня-завтра закончат они уборку ржи, а он отдохнет немного, поокрепнет и уж не прогагарит, когда поспеют яровые. Там он опять подстегнет зазевавшегося Андрюху, подготовятся, и пойдут дела полным ходом. При такой технике неделя-две — и закончат уборку, не проморгают, не дождутся белых мух.

Егор Кузьмич видит уже, как день и ночь шумят комбайны на пшеничных полях; а не будут успевать

сушилки принимать зерно, так у них зерноток есть, еще построят, если потребуется.

Овес ныне полег в некоторых местах, так Гришка подсказал механизаторам приспособление: крючья из проволоки, которые подхватывают колосья, а потом уже срезаются они. Еще в прошлом году ладно получалось. Соображение есть у мужика. Эх, если бы не пил! Егор Кузьмич вздохнул тяжело. Он так ушел в свое, что видит: уже щетинятся пшеничные поля, сжаты, а комбайны ушли овес дожинать. У Егора Кузьмича полный зерноток пшеницы. Механизмы работают слаженно, продувают воздухом зерно, не дают ему греться, не то что ране, греби лопатой с места на место. А Егор Кузьмич только ходит досматривает за всем. Вот уже и овес убрали. Все, кончена уборка! Отдыхай, Егор Кузьмич, посиживай на завалинке. Не забудь и в больницу сходить, подлечат пусть...

Егор Кузьмич вздохнул, улыбнулся воображаемому, пошел на зерноток.

Сегодня последний день уборки, устал все-таки он. Перед яровыми перерыв будет, отдохнет.

Вечером Егор Кузьмич проверял зерно, шевелил его руками, вдруг зерноток от него стал уходить кру́гом, кру́гом — и он опустился прямо в рожь.

Очнулся дома. У койки Андрей, доктор, в двери заходят и выходят люди, вспомнил все.

— Ух ты, ребята, что это со мной было?

— Ну как, отец? — встревожился Андрей.

— Да ничего вроде,— начал подниматься Егор Кузьмич,— приустал, видно, немножко. Закончили все?

— Закончили. Больше, отец, работать тебе не дадим, вот и врач так сказала.

— Да, да, отдохнуть вам пора, и болеть не будете,— заговорила врачиха.

— Я как лучше для дела, Андрюха.

— У нас все в порядке, отдыхай давай.

Врач сказала Андрею, что Егор Кузьмич переутомился, ничего нет страшного. Люди стали расходиться, Андрей уехал в поле. Егор Кузьмич чувствовал себя не худо, долго разговаривал на завалинке с Авдотьей, соседкой Павлой, потом захотел идти в избу, полежать. Авдотья ушла на поскотину за скотиной, а Павла домой.

V

Оставшись один, Егор Кузьмич почувствовал себя опять плохо. В голову полезли думы: все пристроены, Авдотья к Генке уедет, раз зовет, я к Андрею уйду, а вот Григорий спился, веру в себя потерял... Жалко его. Какой палец ни отрежь — больно. Что придумать?.. К Марфе не идет.

Егору стало хуже, в глазах сизо сделалось: он прилег на диван, но заснуть не смог, почувствовал жар, бросившийся в голову. «Что это опять? На улицу надо выйти, на свежий воздух — полегчает, может».

Он поднялся, вышел пошатываясь в сенки, сел на ступеньку. Отпустило вроде. Зачем-то пришла мысль о соседском Федотовом сыне. Мирное время, а парень погинул... Позавчера бумагу принесли. Что им надо, этим китайцам... Вроде досыта пороху нанюхались. Надо бы попроведать Федота, старик все-таки, да вот сам еле сижу. Только подумал, опять начало накатывать. «На воздух надо». Выйдя в ограду, Егор Кузьмич почувствовал, как у него набухают виски, давит на них, ноги немеют. «Что это екое, ей-богу». Потом в висок кольнуло сильно, он схватился за косяк, еще толкнуло, голову сжало со страшной силой, и ограда пошла кругом. Он присел на приступышек крыльца. Ограда медленно остановилась... отпустило немного... Егор хотел встать, пойти лечь. Сидеть ему было тяжело, но почувствовал, что левая нога не слушается — чужая, и рука левая тоже. «Вот ладно! Вот добро. Достукался». Он навалился на косяк. «Все, видно! Все! Отходил. Да, может, пройдет!» — начал успокаивать сам себя. Егор Кузьмич знал, что это такое. «Хоть ладно не шибко. Соображаю». Он попробовал говорить вслух: «Андрей, Андрей». Язык слушался, но был тяжелый и мешал во рту, а слова получались.

Потом опять нахлынули думы.

«Все сделал. Они доделают. Справятся. Фундамент крепкий заложен... Андрюха справится...» Вспомнил о жене Андрея Галине, внучонке Юрке. «Хоть бы успели приехать. На курорте хорошо, но со стариком увидеться надо. На курорт бы не в это время ездить, не в уборочную... Ну, да сами большие...» В памяти всплыл внук Генка. «Надо, пожалуй, телеграмму дать — при-

едет. Дома-то с четырнадцати лет не живет. Скиталец! Боевой! Этот не пропадет. Но и слава богу. По мере возможностей все время ему посылал, пока учился. Благодарил. А приезжал редко. Вся деревня скитальцем считает. И сейчас непонятен он нашим деревенским. Ездит все. Пишет чо-то... А я все верил, что из него человек выйдет. Башковитый. Вспомнил, как последний раз приезжал, слова старые записывал. Надо, говорит. Вишь как?! А вел себя просто, как мужик деревенский».

Егор Кузьмич оперся на правую руку, начал подниматься, встал на правой ноге, левая болталась, как плеть, не чувствовала ничего и рука тоже...

...Андрей возвращался с поля, увидел на улице пьяного Григория, посадил его, чтобы завести домой, но прежде решил завернуть к отцу. Подъехал к воротам, остановился, вылез из машины. В противоположную дверцу вывалился Григорий и, шатаясь, бормоча что-то, поплелся за Андреем. Они увидели, как Егор Кузьмич, держась за стену, пытается шагнуть, но не может, нога не слушается.

Андрей подбежал, взял отца под руку, Григорий подошел, еще не понимая, в чем дело.

— Что с тобой, отец? — почти выкрикнул Андрей.

— Ничего, Андрюха, ничего... Стукнуло легонько.

С Григория хмель, как наждаком, сняло.

— Прости меня, отец. Прости.

Егор Кузьмич погладил здоровой рукой голову Григория, прижал ее к себе и сказал тихо:

— Прощу, сынок, прощу. Выбрось из головы Надежду. Вот тебе мой наказ. Легче тогда будет, и пить не станешь.

Егор Кузьмич почувствовал тяжесть, тело становилось грузным, свинцовым.

— Ведите меня в избу, на кровать. Не могу я.

Григорий вскочил, подхватил отца с другой стороны, и они занесли его в дом, положили.

— Ты, Андрюха, линию так и держи. Люди должны верить в тебя, в дело и как в своем собственном хозяйстве робить должны. Агроному не препятствуй, пусть науку свою двигает. Башковитый! А если чо не так, прямо в область пиши — не бойся. Хозяйствовать с умом надо. Не по-верхоглядски. Так, чтобы дело ладно

было... Генке телеграмму дай, пусть приезжает: проститься хочу с ним — скитальцем.

— Да, дам. Сегодня же, отец. Да ты еще поживешь, мало ли чего не бывает.

— Я не умираю, но повидаться надо.

Егору вспомнилось, как ударило сторожиху Агафью два раза подряд и преставилась она через день. А сыновья не приехали... На работе задержали. Сыновья... псы, а не сыновья. На что мой Гришка, пьяница, да он на брюхе бы приполз, про Андрюху я уж не говорю.

От мыслей о бабке Агафье ему опять стало хуже. Вспомнились ее мордастые сыновья — оба, лица их начали перед ним кружиться, вертеться, ржать во все горло, а во рту у обоих зубы стальные, и глаза блестят. «Ха-ха-ха»,— раскрывают они рты. Потом рожи исчезли. Его начало приподнимать вверх, руки заводить за спину, голову сдавило. В избу вошла во всем белом Авдотья, кланяется, улыбается. «Сейчас Генушка зайдет»,— говорит. Забегает Генка, Егор Кузьмич протягивает руки, но Генка не идет, улыбается и не идет. Мотает в стороны головой, смеется. «Гена, внучок, что же ты не подходишь ко мне, боишься, забыл старика...» Генка исчезает, темно стало...

Андрей и Григорий увидели, как отца вытянуло на кровати и нижнюю часть лица повело в сторону. Он издал непонятный звук.

«Второй раз ударило»,— пронеслось у Андрея.

— Отец! Отец! Ты меня слышишь? — наклонился он.

Но в это время Егор Кузьмич ничего не слышал и не видел. Страшная сила сдавила ему голову.

Григорий стоял и плакал. Андрею стало страшно, что отец уходит, он выскочил на улицу, бросился к машине, успев крикнуть Григорию:

— Я за врачихой!

...Андрей привез врачиху, она посмотрела на Егора Кузьмича, покачала головой. «Покой ему нужен»,— сказала, а после в сенях говорила Андрею, что паралич почти убил старика намертво — не отойдет!

...Егор Кузьмич не мог ни звука произнести, ни пальцем шевельнуть, даже век поднять, но он улавливал обрывками, как уже все соседи приходили прощаться. Авдотья причитала у изголовья. Сознание от обиды и

немощи снова терялось, тяжелы ему были эти панихидные прощания. Только один Ермил, хоть и тронутым его считают, а лучше других молвил. «Навестить пришел, Гришенька, батюшку твоего, но прощаться я не стану. Вижу, что он еще чувствует нас православных, да он, может, еще выживет,— не так легко наповал-то его свалить... станем надеяться на поправку. Не обессудь, Егор Кузьмич»,— сказал, словно сил влил.

Назавтра тяжесть начала медленно сползать, к ногам откатываться, голове легче стало, он почувствовал себя, избу, приподнял веки, свет увидел, людей.

«Да что это мы, ослы такие! — взбесился внутренне, дежуривший у койки Григорий,— отец в чувстве, смотрит, а тут прощаются с ним, куксятся».

— Отец, дорогой, лучше тебе?

Егор Кузьмич прикрыл веки и открыл снова, значит, «да» сказал. Григорий, радуясь, бросился целовать отца. В это время влетел в дверь Геннадий, в шляпе, туфлях не наших, сбросил одежду на лавку у порога, «здравствуйте» сказал, поцеловал Авдотью, подошел к койке, склонился к Егору Кузьмичу.

— Деда, здравствуй. Я приехал по твоему зову. Я Геннадий. Я тебя всегда помнил,— он поцеловал Егора Кузьмича.

Егор Кузьмич узнал Геннадия, открыл и закрыл несколько раз глаза, мигнув веками. Хорошо, мол, что приехал. Он словно только и ждал Геннадия. У него потянулись мысли, что он всех увидел. Вот и Геннадий внук к нему примчался, и сыновья рядом. Все хорошо, не как у старухи Агафьи: хоронить некому... При этой мысли стало где-то больно, а где, он не мог определить, на глаза начала наплывать какая-то синева, голову сдавило, веки закрылись. Немощь!..

...Геннадию вспомнилось сейчас почему-то, как после окончания института он с партией в тайгу уехал, а вернувшись, сразу послал деду перевод, приятное хотел сделать. А Егор Кузьмич отписал, чтобы больше не посылал, что живут они с Авдотьей в достатке, и деньги назад отослал, и писал, чтобы не обижался, на себя больше заводил да на еду не жалел... Вот он какой дед-то — гордый! Или добрый?

Милый и дорогой ему человек уходит, правда, у Геннадия есть и дяди, но он «чужак» какой-то, отвык

от них. Если с дедом что случится, он больше не приедет сюда — не тянет его, заберет Авдотью и уедет.

Тяжесть опять отвалила. До Егора Кузьмича слова то долетали, то терялись. Голове посвободнее стало, мысли потянулись обрывками. «...Хотел Генке наказать... Авдотью...— Мысль порвалась, потерялась, снова появилась: — Авдотью чтобы не бросал...» Опять все поплыло, но у него хватило сил не отпустить... Веки открылись, показались мутные глаза, не его глаза, не Егора Кузьмича... взгляд ничего не выражал, бессмысленный взгляд. Но все встрепенулись. Очнулся! Он пошевелил губами, невнятно вышло:

— Ген...ено...

Геннадий наклонился к нему:

— Вот я, дедо, вот!

— Дотью...— пошевелил губами Егор Кузьмич.

Авдотья подошла, нагнулась:

— Вот я, тятенька.

— Смотри... Дотью не... не брос...ай...— пошевелил опять губами Егор, веки его опять закрылись.

Но Геннадий, Авдотья, все поняли, о чем говорил отец — «Геннадий, не бросай Авдотью».

— Нет, нет, дедо. Со мной будет жить, успокойся.— Геннадий обнял Авдотью.

Глаза Егора Кузьмича открылись и закрылись, мигнули. Понял, мол. Все облегченно вздохнули, услышали родной голос, проблеск жизни увидели...

Сознание его снова уплыло куда-то, потом он услышал разговоры, всхлипывания Авдотьи, его толкнуло сильно в виски, и тяжесть навалилась, придавила, тело немело, а голову все стискивало и стискивало, потом разом все отхлынуло. «Слава богу, отпустило — поживу еще». И вдруг опять начало наваливаться это тяжелое на все тело разом. «Только бы не сейчас. Погодило бы»,— мелькнуло туманно и где-то отдаленно; вот он начал куда-то проваливаться, падать; он хотел позвать кого-нибудь, хотя бы Авдотью, но его потянуло в сторону, язык набухал, немел, и вот он уже и подумать не может — бессилие,— все это произошло быстро.

Его вытянуло, низ лица скосило сильнее, выдохнулся как-то с шумом воздух, сознание потерялось... Это заметили все. Авдотья упала на кровать, запричитала: **«Ой, да пошто ты уходишь, родимый наш батюшко!..»**

Геннадий начал успокаивать ее:

— Не надо, мама, не надо, этим не поможешь.

Григорий толкнул в рот папиросу не тем концом, выбросил, сунул другую, зажег и выскочил в ограду.

Бабка Павла, оказавшаяся тут, заголосила и потряслась на улицу.

Вскоре у ворот, в ограде стали собираться люди. Кто-то сказал, что уже умер... Людей прибавилось. Заходили в избу, выходили обратно, говорили, что еще жив, но скоро, видно, преставится, худо место... Курили, говорили, жалели, уходили, приходили другие, третьи, кучка людей у ворот все время держалась.

Григорий сказал, что ему не в мощь: отец при смерти, перехватил у кого-то на поллитру и сбегал в магазин, ушел в малуху, один стакан он выпил сразу, без закуски, а остатки поставил на верстак в стружки. «За отца пью. Никто не осудит. Вот-вот отца-то не будет. За отца да не выпить. Плевал я на всех!» — заходила в нем водочка по жилам.

Один Андрей не пошевелился с места, сидел угрюмо, смотрел влажными глазами на отца не мигая. Теперь он остро почувствовал, что отец уходит, безвозвратно, навечно. Он увидел себя четырнадцатилетним мальчишкой, уже работающим в колхозе. Послевоенное время... Гуртом валил народ из колхоза... А отец справки не давал... Собирал собрания... Спорил... Мысли перекинулись куда-то далеко вперед. Он увидел какой-то общественный гараж, люди приходят и берут машины, и его «Волга» там стоит. А деревню свою он узнать не может: старых домов нет, а отец раздает эти машины. И дома все кирпичные, квартиры — как в городе. Вот оно как! «Тьфу ты, черт! Что это я!» — очнулся он.

А Григорию, подзахмелевшему, почему-то вклинился в память Колька — сын старика Федота, который третьего дня приходил к нему и плакал: погиб Колька... бумагу прислали... И отец эту бумагу видел, и ему Федот показывал. Может, это на отца подействовало...

В дверях раздался голос бабки Павлы:

— Андрей, идите в ограду, там Григорий ругается на чем божий свет стоит. И Шабалдин там.

Андрей с Геннадием, Авдотья и сосед Прохор, сидевший на пороге, вышли. На завалинке сидели мужики и

слушали, как Григорий матерился, а Шабалдин унимал его. Григорий увидел вышедших.

— Вот ты, Андрюха, всю Западную Европу проехал, как турист, по путевкам,— продолжал он запальчиво.— А я ее пешком прошел, в сапогах солдатских, они сейчас у меня в чулане стоят...

— Григорий, Григорий, потом расскажешь,— перебила Авдотья.

— Отец еще жив, а ты уже набрался,— мрачно проговорил Андрей.

— Ты меня не перебивай и не упрекай, не на твое выпил, за отца мне никто ничего не скажет.

— Нехорошо, хватит митинговать, Григорий,— уже зло сказал Андрей.

— Нет не хватит. Ты меня не унимай.

— Ты пьян!

— Ну и пусть. Я за отца... За его жизнь. Для меня он вечно жить станет.

— Но и будет.

Григорий повернулся и, ни на кого не глядя, пошел к пригону.

...Андрей, Геннадий и Авдотья восприняли, что Егора Кузьмича ударило втретьи, но его не ударило, ему только стало хуже, свело всего и вытянуло на кровати. А паралича не было. Нет.

Сейчас к Егору откуда-то издалека шепот то приближался, то снова уходил. О себе не было никаких мыслей. Он даже себя не чувствовал — полная немощь, еле шаявшим угольком теплилась где-то далеко-далеко, в глубине, жизнь, даже веки не поднимались, чтобы глазами еще раз взглянуть на свет божий. Только тоненьким волоском тянувшееся сознание улавливало говор, переходящий в шепот, а говорили у самой кровати: шепот порой превращался в какой-то шум, потом в глухие, как из-под земли, звуки — слова. Это слабеющее сознание не удивилось, не возмутилось: как это очутился тут Ермил, корчащий рожи.

«Крепись, Егор Кузьмич, крепись! — говорил приглушенно Ермил.— Не такое пережили, трудней было. Сейчас жить надо».

Сознание уже не улавливало, что дальше говорил Ермил, все провалилось, зашумело где-то далеко и потерялось, но покоя вечного не наступило...

Вдруг изнутри дохнула какая-то сила, и Егор Кузьмич опять услышал звуки — слова Ермила. «Загнал ты себя, Егор, загнал, как лошадь. Спалил. А что ты этим достиг? И без тебя бы колхозы на ноги встали. Знал я это. Вот и хитрил, сохранил себя для лучшей жизни. Теперь поживу... И работаю, видишь, в полную силушку. А ты вот и не дотянул... Хе-хе-хе»,— скрипел он, как ржавый гвоздь из стены вытаскивал.

...Бабка Павла загоняла в ограду корову и гусей. Несколько мужчин сидели на завалинке и судачили о случившемся несчастье с Егором Кузьмичом, курили.

Григорий увидел на завалинке Шабалдина, позвал его, завел в малуху.

— Давай, Геннадий Петрович, за моего отца выпьем.— Григорий полез за верстак, разгреб стружки, достал начатую бутылку.

— Я на работе, Григорий Егорович. Не могу.

— Ты за отца моего выпить не хочешь, рыло воротишь? Да и день рабочий уж кончился...

Шабалдин смолчал, вышел на улицу.

Григорий допил водку, закусил хлебом и луком, потом поплелся по ограде, выбросил в огород бутылку.

На пригонные ворота взлетела курица и запела.

«Не к добру поет, дурацкая птица».

— Дай, Геннадий Петрович, наган, я пристрелю ее! — крикнул Григорий.

— Не могу, Гриша. У меня патроны казенные и со счету.

Григорий швырнул в курицу поленом, она закудахтала и слетела внутрь пригона. «Начальство из себя гнешь»,— пробурчал Шабалдину Григорий и зашагал в избу. Егор Кузьмич был в прежнем состоянии. Вскоре Григорий заснул, на пороге сидя.

VI

Егор Кузьмич не говорит и не шевелится вот уже две недели, но веки он поднимать может, смотрит и людей узнавать начинает, понимает разговоры...

Григорий все это время пил, а сейчас вот второй день ему никто не дает денег, и Ермил в лесу, не помогают и слова: «За отца... тяжело...» Вчера бабка Павла прямо в глаза сказала:

— Может, и не умрет отец-то. Что ты заладил: тяжело да тяжело. Вон у Мишуриных старуха два года эк-ту вылежала, а Егор могутнее старухи-то...

Погода начинала меняться, из-за заречной стороны выплывали серые лоскутки туч, порой они побрызгивали на поля, ветер тянул холодный: осень дохнула на деревню, а позавчера иней выпал, приморозив мелкое в огородах, вот-вот жди дождей да заморозков.

Андрей мотался по полям, торопился с уборкой, к отцу заскакивал только вечерами. Он видел, что отцу стало лучше, не поборола его болезнь, и врачиха сказала, что сейчас уж выдюжит и жить станет, если втретьи не ударит.

На Григория Андрей рассердился всерьез, собрал правление и добился исключения старшего брата из колхоза.

Григорий устроился в соседний леспромхоз, который вечно не выполнял план, заработки были плохие, и рабочих не хватало. Работающих в леспромхозе из деревни в лесосеки на машине возили, обратно тоже. А Григорию там еще лучше стало: можно не каждый день на работу ходить, когда с большого похмелья,— здесь не выгонят, дружков тут таких достаточно, прижилися они.

С Егором Кузьмичом все время находилась Авдотья, она уже не работала, радостно ей было, что дело у отца на поправку пошло. Она решила, что до конца за отцом ходить станет, у ней уже мыслей не было ехать к Геннадию, хоть и звал шибко. Как это родного отца бросить?! Самой, может, так придется — «на веку, как на долгом волоку». И она, как могла, старалась, ухаживала за отцом.

Еще через неделю Егор Кузьмич почувствовал, что легче ему становится, тяжесть с головы сползла и с тела скатилась куда-то к ногам, а потом и с ног ушла. Он ощутил правую руку и ногу тоже, пальцы почувствовал, пошевелил ими — двигаются, руку согнул, лицо пощупал. «Слава богу, отхожу. Кому из-под меня возить охота, да и не по нутру мне эк». Правую ногу в колене согнул, потрогал рукой, язык ощутил — шевелится. «Надо позвать Авдотью», но получилось: «Адо-Адо». Тяжелый, толстый язык заплетается, мало ему места во рту, но хоть маячить рукой можно, показать...

Авдотья была на кухне, услышала звуки, вышла торопко, увидела: отец рукой ей маячит, на ногу показывает и произносит: «Во-во», сгибает ногу и руку тоже, отходят, мол.

Вечером заехал Андрей, увидел, что отец осиливает болезнь, на душе легче стало. Назавтра Егор Кузьмич позвал Авдотью, выговорил слово «стать» и рукой ей помаячил — помоги, дескать.

Авдотья и обрадовалась, и испугалась.

— Рано, тятенька, наверно. Тожно повременил бы.

Егор Кузьмич замахал рукой. «Не»,— повторил.

Авдотья не посмела противиться, подхватила его за спину, потянула. Егор, упираясь правой рукой, помогал ей. Сел. «Ну! Ну!» — сказал, большой палец показал, хорошо!

У Авдотьи слезы на глазах выступили. Егор Кузьмич заметил, неприятно ему стало, замахал рукой: «Не, не» — не надо, значит.

Авдотья обложила его подушками, посидел, квасу попил, потом лег... доволен... легче.

Вскоре Егор Кузьмич уже сам вставал, пил, ел потихоньку самостоятельно, выговаривал простые, легкопроизносимые слова, что не мог сказать — рукой показывал или на бумаге калякал,— понять можно было.

...Через месяц Егор Кузьмич уже передвигался с костылем по избе и в ограду «выползал».

Уборку закончили, Андрей стал посылать Авдотью к Геннадию:

— Сейчас свободнее стало, отец уже на ногах, у меня станет жить — поезжай! Да вот-вот жена Галина с сыном Юркой приедут.

Авдотья не соглашалась, не могла осмелиться, потом ответила:

— Как отец скажет — так и будет. Как ведь ему приглянется еще наше намерение.

Когда Андрей стал звать отца к себе и сказал, что надо бы отпустить Авдотью к Геннадию, Егор Кузьмич даже обрадовался.

— Пусть, хорошо, ладно совсем.— А Авдотье говорил: — Еть, еть, так надо. Ладно.

Авдотью проводили. Егор Кузьмич говорил: «Эк, эк, ладно».

Андрей перевез отца к себе.

17 Заказ 682

А тут вскоре и Галина с Юркой приехали, к бабушке на Волгу заезжали, вот и припоздали. Пришли они домой, когда Андрей был в поле, даже телеграмму не дали, неожиданно любит приезжать Галина.

Егор Кузьмич сидел перед домом на скамеечке, увидал их, вскочил, костыль свой забыл, чуть не упал, подобрал костыль, руки от радости затряслись, слезы на глазах: внучонка увидел, прижал его дрожащей рукой, целует, Галину обнял, поцеловал.

— Вот видишь, Юрок, и гости у нас. А что с костылем, дедо?

Письмо Андрея не застало Галину, она уже была на Волге.

— Э-э. Так... немного... пройдет...

Галина поняла, что с Егором Кузьмичом что-то неладно, но виду не подала.

— Пройдет, конечно, пройдет.

Егор Кузьмич все улыбался, гладил по головке Юрку.

— А где наш папа, дедо? — продолжала Галина.

— Поле, поле, там,— махнул рукой Егор Кузьмич, показывая в поля, сияя, радуясь приезду.

— А дедо давно у нас? — спросила, тоже все еще улыбаясь, Галина.

— Живу, живу, уехала Дотья.

Улыбка Галины стала какой-то растерянной.

Обостренная после болезни чувствительность Егора Кузьмича легко уловила перемену в Галине.

Нервы его стали очень болезненны, обидчивость как у маленького, вот слезинка на глаза навернулась, он смахнул ее. Галина это почувствовала.

— Пойдемте в дом, что же стоять,— улыбнулась она.

— Дедо, мы яблок привезли, груш. Я на будущий год в школу пойду.

— Но, но, хорошо,— старик опять погладил дрожащей рукой беленькую головку внучонка.

— Счас угостим деда, Юрок. Пойдемте, дедо.

Мыслей у Егора Кузьмича никаких не было, обида захватила его, он только поддакивал:

— Да-да, но-но...

В квартире Галина раскрыла чемодан, достала фрукты.

— На, угости деду, сынок.

Мальчик протянул Егору Кузьмичу яблоко и грушу. Егор Кузьмич взял все той же дрожащей рукой, погладил опять внука по головке, улыбнулся.

А Галина была в недоумении, что и как случилось со стариком, почему он здесь, почему уехала Авдотья?

Она решила пойти в правление, подождать Андрея и все выяснить.

Зачем это он будет жить здесь у них, когда Авдотье пора на пенсию. Пусть она за ним и ходит, делать ей больше нечего, а они оба работают, и ходить за стариком некому. Странно, прямо! Придумали!

— Ну, пойдем встретим папу, сынок. А вы, дедо, не скучайте, кушайте фрукты, мы скоро вернемся.

— Ну, ну, хорошо, идите.

Когда Галина ушла, обида начала расти еще сильнее, хотя Егор Кузьмич знал, что Андрюха его защитит, не позволит никому обижать отца и Галину пресекет, если она ерепениться станет. Внутренняя нервная вспышка быстро утомила Егора Кузьмича, вдруг потянуло на сон, он подошел к кровати, лег, но уснуть почему-то не мог, вышел во двор, сел на скамеечку у окна — на воздухе лучше.

Галина пришла удачно, Андрей только что приехал с поля. Увидев их в окно, он выскочил, схватил Юрку, ее, закружил вокруг себя.

— Ну как отдохнули, что долго? Поправились! Молодцы. Заезжали на Волгу? Великолепно! Как там родители? Здоровы? Ну и хорошо! — Потом потускнел: — А с отцом у нас несчастье, Галя.

— Я знаю, видела, что случилось?

— Паралич. Два раза подряд.

— Вот несчастье-то...

— Приезжал Геннадий, звал очень Авдотью. Мы посоветовались по-семейному, решили, что пусть едет, отдыхает, наработалась уж досыта. Отец одобрил, даже рад.

— Конечно, какой разговор.

...Хотя Галине и не хотелось, чтобы отец Андрея жил с ними, но она старалась не показывать этого. Галина старательно ухаживала за Егором Кузьмичом. Ее радовало и то, что Юрка был привязан к деду. «Водой не разольешь их»,— говорила Галина. «Деда,

расскажи про японцев, германцев»,— ворковал внучок; а то вдруг ему захочется подробно узнать, как коней обучают. Все вроде бы в житье-бытье шло так, что и лучше не надо. Но Егор Кузьмич вскоре стал замечать, что чашку его Галина моет отдельно и стирает ему на особицу ото всех.

В этот же вечер Егор Кузьмич встретил Андрея после работы у ворот и запросился к Григорию.

— Да что тебе, отец, у нас плохо, что ли?

— Гришке, Гришке,— настаивал отец.

— Ты обидишь меня, отец, да и Галину тоже, если уйдешь.

— Нет, нет,— повторял Егор Кузьмич.

— Галя! — крикнул Андрей. Жена вышла на улицу.— Отец к Григорию просится, не знаю, как и отговаривать. Чем ему плохо у нас?

— Да вы что, папа, выдумали? Действительно, чем мы не угодили? Григорий пьет, вам хуже там станет.— Видя, что старик непреклонен, Галина продолжала: — Юрка к вам привык так... придет из садика и спросит: деда где? Мы вас не отпустим.

— При-д-ет в гости.— Слезы закапали из глаз старика. Вот он уж весь содрогается, расплакался, как ребенок, и шепчет: — Гришке, Гришке!

Андрей решил, что может случиться что-нибудь плохое, нервы старика совсем худы стали. Он посадил его в машину,— тогда Егор Кузьмич немного стал успокаиваться,— и повез к Григорию, думая, что когда отойдет, потом и уговорит его вернуться.

Григорий оказался дома, выпивши, на работу не уехал, он и удивился и обрадовался, увидев подъехавших к дому, подумал, что Андрей мораль читать станет, так зачем при отце?

Нет, тут что-то другое...

Зайдя в избу, Егор Кузьмич обнял Григория и заплакал.

— Ты что, отец? Тебе лучше, а ты плакать, ты что? Да ну, брось, скоро совсем здоров станешь.

— Ладно, ладно.

— Да что с ним, Андрей?

Андрей не вытерпел, закурил, мигнул Григорию на дверь.

— Ну, садись, отец, садись,— Григорий помог сесть

старику.— Я сейчас огурцов принесу, окрошку сделаем. Одну минуточку.— Вышел.

Егор Кузьмич облокотился на стол, успокоился, повернулся к Андрею, поманил его рукой, погладил по голове, поцеловал.

— Ты живи с той, живи, надо. У вас Юрка. А я здесь.

У Андрея сдавило горло, но он крепился, не подал виду, не хотел он сейчас тревожить отца.

— Как лучше тебе, отец, так и сделаем. Я пойду заглушу мотор.

Андрей вышел на улицу, закурил опять, сказал Григорию, что, видимо, отец обиделся в чем-то на Галину, но не признается. Григорий вскипел:

— Пришла к тебе, юбка худа была, задница чуть не гола, а сейчас заелась! Никому отца не отдам. Как лошадь упираться буду и пить не стану. У меня отец в покое будет!

— Да ты успокойся, Григорий. Я съезжу, все выясню, не думаю, что Галина обидела намеренно отца.

— Отец сам туда не пойдет. Не сможет он. Ты что, его не знаешь. Сейчас он совсем как ребенок — уморить его, чо ли, желаешь. Не пойдет. Да и не отдам я его твоей бабе на съедение.

— За что же ты так, Григорий, на нее. Еще ничего неизвестно.

— Подвидная она у тебя, двуличная! И не надо ей отца. Знаю по ней.

Григорий достал портсигар, толкнул «беломорину» в рот, прижег, затянулся глубоко, несколько раз подряд, заплюнул папиросу, зашел в избу, начал делать окрошку. Поели все втроем, и Андрей, попрощавшись, уехал.

...В это время пришел из садика Юрка, и сразу же с порога спросил:

— Мама, где деда?

— Деда, сынок, захотел жить у дяди Гриши. Папа его туда отвез.

— Почему! Я хочу, чтобы деда жил у нас, мама. Мне с ним хорошо.

— Мы с папой тоже его уговаривали. Он не послушал. Видимо, ему там лучше.

Мальчик резко повернулся и выбежал на улицу.

— Сынок, куда ты, куда? — закричала вслед мать, выбегая за ним.

— К деду я, привезу его. Вот!

— Не смей говорить деду об этом, он обидится.

Прибежав к Григорию, Юрка бросился к сидящему деду на шею, ткнулся личиком в широкую его бороду.

— Дедо, я за тобой пришел.

Егор Кузьмич гладил большими шершавыми руками стриженую головку внучонка, говорил:

— Потом, потом.

— Когда выздоровеешь, снова к нам придешь?

— Приду, приду, — приговаривал дед, лаская внучонка.

В этот день парнишка уснул у Григория.

...Галина, захватив голову руками, задумалась. Она знала, что если поймет Андрей причину ухода Егора Кузьмича, то не простит ей этого. Пошатнется вера мужа в нее. И ей до слез было досадно от того, что случилось. Надо бы делать все тоньше, незаметнее. Она и так старалась, Андрей ведь не заметил ничего, а старик почувствовал, увидел. Сейчас Галина злилась на самое себя за допущенную неосторожность. Ведь она любит Андрея. Только счастье настоящее с ним и увидела. Вспомнилось сразу, как росла в многодетной семье, без отца. Мать днями на работе. А она кормила, обстирывала пятерых младших братишек. Когда подросли они, закончила с грехом пополам курсы бухгалтеров да и сразу замуж «выскочила». Стала помогать деньгами братьям своим. Муж недоволен был всегда, хотя работал шофером и сам хорошо зарабатывал. А поговорить ни с каким мужчиной нельзя было, даже по работе. Вечно ревности, даже, случалось, и побои. Помучилась, помучилась — и ушла. Потом устроилась в колхозе бухгалтером. Полюбили с Андреем друг друга. Поженились. Только по-настоящему и жизнь-то увидела...

...Андрей остановил машину возле правления колхоза. Домой ехать не хотелось. Он считал, что случилось что-то мерзкое, жена его в чем-то обманывает. Андрею было больно думать об этом. А ведь он любит эту женщину, всегда и во всем верил ей — и вдруг такое. Нет — это страшно. Что же предпринять? Решения никакого в голову не приходило. Что скажут люди?

Гришка пьяница, разгильдяй, а отец решил жить у него.

Андрей выбросил изо рта папиросу и погнал машину домой.

Галина, увидя в окно подъехавшую машину, выбежала за ворота.

— Ну как там отец, Андрюша?

— Нервничает. Почему он ушел от нас, Галя?

— Уму непостижимо. Я относилась к нему всей душой. Больной он, мнительный, Андрюша. Подумал что-нибудь свое, я ни в чем себя виноватой не считаю,— оправдывалась Галина.

Андрей сунул в рот папиросу, прикурил. Больше он жену ни о чем не спрашивал. Он знал, что отец чем-то обижен, но уверился окончательно, что Галина не признается.

Галина чувствовала теперь, что нет у Андрея прежней веры в нее, а у нее не будет прежней надежды на доверчивость Андрея. Она несколько раз порывалась сказать мужу о том, что ненамеренно такое отношение к отцу вышло, бессознательно, не подумав, твердила себе: «Нет, не скажу. Пусть лучше сомневается, предполагает, чем точно узнает. Ни за что не скажу. И отец не скажет, знаю по нему. Он тоже хочет, чтобы у нас была семья».

После они несколько раз ходили к отцу и просили его перейти к ним, но он был непреклонен, остался у Григория.

Вскоре Андрея направили на курсы до весны. Галина с Юркой часто навещали Егора Кузьмича, подолгу говорили с ним, как вроде и не случалось ничего, все было забыто.

Только Григорий при посещении Галиной их дома уходил куда-нибудь: или на кухню, или в огород и скрипел зубами.

У старшего сына Егор Кузьмич чувствовал себя свободно. Утром Григорий вставал рано, готовил завтрак и обед для отца, ел и уезжал на работу. Егор Кузьмич выходил за ворота и ждал случая поговорить с кем-нибудь.

Место, где Григорьев дом,— весело, на бугре, напро-

тив, через лог, скала высокая, белая, под скалой речка Смородинка плещется о камни, с другой стороны речки почти от самой воды взбегают на косогор сосны и дальше взбираются на скалы; заречная сторона дикая, скалистая, неприступная для хлебороба, а эта, здешняя, желтеет кругом щетиной скошенных и убранных хлебов, глазам любо,— и так по всей речной долине; а на белой скале с полгектара места ровного, зеленой травой поросшего, и стоит тут, возвышается над селом церковь белокаменная с четырьмя куполами, в пятом же, самом главном и высоком — колокол был, и помнит его Егор Кузьмич, как ударят раньше в этот колокол, то во всех соседних деревнях слыхать, и тянутся люди к заутрене. Сейчас колокола нет, убрали его по какой-то надобности, а кресты сияют, переливаются на солнце; народу мало стало в церковь ходить, говорят, что прикрыть ее собираются.

Напротив, за скалой, санаторий строят, нашли, что воздух тут шибко полезный; и машины оттуда снуют через Смородинку по деревянному мосту, дорогу ровную делают, как в городе,— асфальт. Все это занимает Егора Кузьмича, и время скорее проходит, а там, глядишь, и рука с ногой отойдут и язык пообтешется, слова выговаривать станет,— Егор Кузьмич надеется, живет этим.

А скоро Григорий с работы приедет, отужинает, лягут, и говорить он с ним долго станет, так и сон незаметно наступит. Вон агроном Иван Кузовников едет, ране все про землю, семена да погоду расспрашивал. А сейчас бумагу какую-то написал, премию, Григорий говорит, большую получил. На машине боле ездит, чем пешком ходит. В гости все сулится. Вишь как!..

...Но вот завьюжило... задуло, завалило деревню снегом, и Егору Кузьмичу совсем неподручно стало на улице двигаться, только дома у него и место,— загрустил он, заскучал, заныло на душе, осунулся. Не веселят его посещения соседей, Галины, даже Юрки.

Григорий, видя перемену в отце, беспокоился, обнадеживал, что весной он обязательно ходить станет, так врачиха сказала.

И Егор Кузьмич ждал теперь с нетерпением весну, а вместе с ней надежду на выздоровление.

Перед весной Ермил в отпуск вышел и часто к ним

заходить стал, но водку с Григорием не распивали, так разве, втихую, чтобы Егор Кузьмич не замечал. Ермил и без Григория заходил, говорил с Егором Кузьмичом подолгу, что весна вот-вот проснется, весело станет и он глухаря огромного в гостинец Егору Кузьмичу принесет, жаркое есть будут, Егор Кузьмич ходить потихоньку начнет, разминаться,— и пойдет дело. Говорил он это все как-то по-особому, не как все — внушительно.

Раньше Егор Кузьмич Ермила-то и за человека порядочного не считал. Ненормальный, говорили, а теперь вот Егор ничего ненормального в Ермиле не видит, по путям тот разговаривает, как все люди, да еще утешает его, уверенность вселяет.

Другого человека теперь видел в нем Егор Кузьмич и подумывать уж начал, что в Ермиле, видно, два человека: один — тот, который с Григорием и с ним, а другой — там, на людях. Удивлялся, хмыкал Егор Кузьмич, как это два человека в одном живут, его это так заинтересовало, что он спросил у Григория:

— Ермил два, два, хм. Два люди?..

Григорий сначала не мог понять, испугался даже: с отцом, видно, опять неладно стает.

— Чего два, отец? — в недоумении спрашивал он.

— С нами один — люди другой. Картошку сыро, сыро.

— А-а! — засмеялся Григорий, поняв наконец.— Он, отец, считал, что притесняли шибко колхозников в те времена налогами, бунтовал он. Псих-одиночка, нынче говорят. А сейчас он хорошо работает — хвалят его.

— Но, но,— качал головой Егор Кузьмич.— Псих! — рассмеялся даже.

Григорию легче стало, что он развеселил отца разговорами об Ермиле.

...Когда загомонились по улицам ручьи, и с косогоров потоки покатились к реке, а с крыш падали, ухая, на землю глыбы снега, и сосульки росли чуть не до земли, и солнце глядело целый день в окошко, играя на стенах зайчиками,— Егор Кузьмич повеселел, начал прилаживать поудобнее костыль свой. И только стали просыхать тропинки, он уже ковылял по улице, подзывал прохожих, показывал на ногу, говорил: «Пойдет, пойдет!» Люди кивали ему, повторяли: «Пойдет, конеч-

но, пойдет», подбадривали Егора Кузьмича. Он подолгу засиживался с Юркой на завалинке, они развлекали друг друга как могли.

В Григории Егор Кузьмич увидел теперь тоже другого человека.

Но вот везде уже высохло, и травка зеленая проклюнулась. А Егору Кузьмичу обидно, что не слушаются рука и нога, еле с костылем ходит, забеспокоился. Он уже подумал, что не отойдет, видно. Угнетение начало давить его,— так продолжалось неделю, а потом пришли те нехорошие мысли: зачем маяться так... Они приставали к нему каждый день, порой он силился их отогнать, злился даже, но не мог, через некоторое время они приходили снова.

И началась в Егоре тяжелая внутренняя борьба, которая терзала, изводила его, он начал худеть, таять на глазах, совсем почти перестал есть, стал раздражительным, нервным еще больше. Уговоры Григория, Галины, соседей, что полегчает ему, не действовали на него — не верил... Григорий заметил перемену в отце еще раньше, но что с ним происходит — понять не мог, а отец отмалчивался, ни в чем не признавался, говорил: «Пройдет, пройдет...»

Как-то, совсем обессиленный этими терзаниями, Егор плюнул на землю, торопясь, заковылял к амбару, открыл, достал веревку. «Хватит, натерпелся. Там спокойнее...» Он уже шагнул под веревку, откинул костыль, но тут пронзила его мысль: «Три войны прошел. От пуль не погиб. Всякое пережил... А теперь на себя руки наложить? Нет!» Он со злостью отбросил веревку в сторону, схватил костыль и заковылял в дом. Мысли и думы куда-то ушли, осталась только боль, и голову разламывало.

Григорий пошел за пилой в амбар и увидел валяющуюся на полу веревку с удавкой на конце.

От мысли, что это работа отца,— похолодел. Что его заставило? Надо поговорить с ним... Но как? Раз старик надумал, то хорошего не жди. Эти думы от него не отвяжутся. Начну говорить — разнервничается, расплачется. Как к нему и подступиться?.. Потом осенило другое: надо посоветоваться с Ермилом... тот лучше это сделает, он спец на душевные темы, хитрец...

Григорий зашел в дом.

— Отец, пойдем-ка к Ермилу, прогуляемся, а то совсем ты засиделся, поговорите опять с ним.

Егор Кузьмич обрадовался даже такому предложению. Вышли на улицу, Григорий сообразил по-своему:

— А лучше, отец, ты посиди на завалинке, а я за ним схожу, ведь тяжело тебе идти-то.

Егор Кузьмич закивал головой: «Эк, эк», подумал: вот жалеет его Григорий, за Ермилом пошел, для него,— на душе потеплее стало.

Григорий рассказал Ермилу о тайной затее отца. Ермил не удивился.

— Худо, Гриша, дело... Я поговорю, все силы приложу, но раз окаянный начал его под бока тыкать, то не отстанет. Помяни меня. Хоть сердись не сердись, а так.

— Ну ладно, не паникуй, ты пособляй давай.

— Пойдем, Гриша, пойдем. Я всем сердцем.

Они подошли, когда Егор Кузьмич дремал на завалинке, припекло его солнышком, но при подходе услышал их, открыл глаза, заулыбался.

— Ну, вот-вот, два, два!

— Здравствуем, Егор Кузьмич, вишь и тепло наступило, весело жить-то стало, живи не тужи.

— Эк, эк,— отвечал Егор Кузьмич.

— Вот ведь, Егор Кузьмич, жизнь-то в колхозе наступила — не то что ране,— только и жить, любоваться! — присаживаясь на завалинку, не унимался Ермил.

— Так, так,— кивал Егор Кузьмич.

И тут, наверное, Ермил поторопился:

— А ране-то чо, всего хлебнули. Я уж, было, подумывал и жить наплевать. Но образумился, нет, говорю, грех человеку окаянному в колени садиться, в аду кипеть вечно станешь — и навсегда эти думки отогнал... Да вот до какой жизни дожил! А сейчас бы еще один век жил. Так, Егор Кузьмич, я говорю.

— Эк, эк.— Но Егор почувствовал что-то не такое, как всегда, в голосе Ермила, не так раньше Ермил разговаривал и про то самое заговорил не от сердца как-то, и Григорий улыбается, а у самого рука с папиросой вздрагивает; Егор Кузьмич забеспокоился, вспомнил про веревку, удавку на конце не размотнул; Гришка, наверное, увидел, за Ермилом сходил, вот они оба не такие какие-то опять,— другие, таких он их еще

не видел. Ему не захотелось больше сидеть на завалинке: догадались! Руки у него вздрагивали.

— Тебе что, отец, холодно? — спросил Григорий, пристально следивший за Егором.

— Нет, нет, голова, спать...

— Ну иди поспи.

Егор Кузьмич, пошатываясь, ушел в избу.

— Почувствовал он, Гриша. Больные-то такие, они ведь шибко чуют...

— Да ты сразу и приступил к этому самому, по́тихоньку как-нибудь надо было.

— Старался, Гриша, как умею.

...Назавтра Григорий собрал в ограде всю проволоку, веревки и запер на замок амбар, а за отцом наказал присматривать бабке Павле и уехал на работу.

Бабка Павла то и дело мельтешила в ограде, то ей ведро надо, то лопата дома сломалась.

Егора Кузьмича терзали думы, что сейчас ему доверять совсем не станут, следить начнут, а он в руки не собирается больше брать ту поганую веревку.

А тут крутится эта старуха Павла, наверное, считает, что он рехнулся, ему уж глядеть на нее противно стало. Когда понадобиться, так никакая Павла не укараулит.

Егор Кузьмич смотрел в окно вниз на реку, и снова его захватили эти «дьявольские» мысли: все равно уж он не отойдет, за ребенка его считают... А мысли все лезли и лезли в голову, не отставали, но вдруг он вспомнил нищего старика Евсея, как тот в войну утопился, и не знал бы никто, да вынесло его наверх и к скале прибило,— черный весь, вздулся,— так же вот и он вздуется, почернеет, даже не помянут, тоже окаянная смерть... Нет, нет, нет! Он вскочил на ноги и хотел идти на улицу, так ему сделалось нехорошо, но навалилась усталость и повалила его на койку.

...Все. Хватит, даже встать ладом не могу, какой я жилец? Пусть не вспоминают... Он еле-еле поднялся, а идти трудно, но он заковылял, опираясь на костыль, выбрался из избы, дверь закрыл на закладку и побрел вниз к реке. И тут выскочила сторожиха Павла.

— Ты куда, Егор Кузьмич, потопал, далеко?

— Да вон на бугорок, на травку зелененькую.

— Ну, посиди, посиди, а то засиделся дома-то.

Вот и настерегла! Не бралась бы не за свое дело. Никто его не укараулит, раз он все-таки решился. Наплевать ему теперь на все. Хватит! Егор добрел до бугорка, сел, отдохнул, огляделся, никого нет, встал и заторопился к воде, скорей, скорей!

— Егор Кузьмич, Егор, куда ты! — заголосила на бугре Павла.— Мужики, держите его! — закричала она кому-то.

А вон с горы и мужики бегут, кричат: «Стой!»

Но никто не удержит теперь его, уж все!.. Он упал с обрыва, вода закружила его, завертела, замелькали скалы, церковь, сосны, он наклоняет голову вниз, но его выталкивает течением, а мужики уж к воде подбегают. Вон первый Иван Кузовников летит с обрыва в воду. А Егора нанесло на камень, стукнуло. Он проснулся, весь в поту, на полу. «Как это я свалился. Ху ты, господи. И во сне уж начало сниться это. Выбросить надо из головы эти поганые думы. Вот сеять начнут со дня на день, Андрюха с курсов приедет, на поля с Гришкой меня возить будут — полегчает...»

Егор Кузьмич так внушал себе опять надежду на выздоровление в связи с севом, что и в самом деле вроде лучше сделалось. Об этом он начал говорить Григорию, тот радовался, поддерживал отца:

— Конечно, возить на поля станем, отец. Какой разговор. Дело-то и на поправку пойдет.

...Андрей подъехал к дому Григория спозаранку.

Утро выдалось теплым, мягким. Весной пахло, солнышко еще не выползло из-за леса, но там было светлее, ярче, верхушки сосен на скалах казались зеленее; роса еще держалась на траве, свежестью от земли веяло, от реки — прохладой.

Егор Кузьмич сидел у окошка и ждал. Как сказал ему Григорий, что завтра на сев поедут, так он и места себе все утро не находит. Весной, когда сеять начинают, всегда у него волнение возникает. Как-то все дружно, как муравьи, за это дело берутся, на душе любо. Не то что ране, когда в крестьянстве единолично жили, там вся надежда на себя, не жди ни от кого подмоги... А тут нет — другое. Сообща никакое горе не страшно... справятся. Колхоз за каждого колхозника в заботе, государство — за колхоз,— вот она куда тянется цепочка-то. Не порвется небось, ладно все.

Как увидал Андрюхину машину, схватил костыль, заковылял на улицу, торопится. А куда бы торопиться, зачем? Так, видно, по привычке.

— Готов, отец? — молвил Андрей, обнимая отца.

— Давно уж. Поехали.

Егор Кузьмич сел рядом с Андреем, впереди, Григорий сзади, и «Волга» покатилась в поля. Только выехали за околицу, Егор Кузьмич спросил:

— Чо это там, Андрюха, народу столь на ближнем поле.

— Сев торжественно начинать станем, отец.— Андрей подрулил к меже.

А вон Антон Фролов, лучший тракторист, слово берет.

— Егор Кузьмич, все мы порешили, что сев начинать ты станешь, тебе доверяем опустить первое зернышко в землю.

Руки Егора Кузьмича тряслись от волнения, слезы на глаза выступили, а Андрей уже вкладывает в его дрожащую руку горсть зерна и говорит ласково:

— Давай, отец.

Егор Кузьмич как-то боком подковылял к пашне, наклонился и опустил зерно во взрыхленную землю. А люди уже окружили его, шумели, говорили вразнобой, подбадривали.

— Раз Егор Кузьмич сев открыл — урожай будет.

— Егор Кузьмич знает.

— Тепло началось, всходы появятся, веселее жизнь будет.

— А рука с ногой отойдут...

— Не унывай, Егор Кузьмич, пойдет нога.

Егор Кузьмич кивал всем и повторял:

— Пойдет, пойдет. Чо обо мне... Лишь бы у вас дело ладно было.

Первый луч солнца вырвался из-за леса, полоснул по заречной стороне, по скалам, скользнул по широкой бороде Егора Кузьмича, по его крупному лицу, задержался на горбинке носа, остановился у краешка глаза.

Егор Кузьмич, жмурясь и радуясь солнцу, весне, севу, шел к меже и разбрасывал по земле зерна, и виделась ему жизнь вечной, как эта земля.

МОЙ ДЕДУШКА

Рассказ

Радуга опустилась за домик на крутояре и пила из реки. А дальше, по отлогому в рытвинах склону, наговаривая и шумя, крутясь и прыгая с откоса, неслись мутные ручьи. Лес умылся дочиста, на нем ни пылинки, а оставшиеся капли дождя поблескивали в лучах выглянувшего солнца и казались хрустальным бисером, рассыпанным по кустам и деревьям. Косая полоса дождя ушла за деревню, и теперь его потоки обрушились на гороховое поле.

Держа в одной руке стоптанные обутки, сшитые дедушкой, в другой — новый суконный пиджак, купленный им же, а теперь вымокший и вымазанный грязью, брел я с полными глазами слез, босыми ногами по лужам, не зная, как оправдаться перед дедом, хотя знал, что он и ругать-то меня совсем не станет.

Маму свою я не помню. Скосил ее тиф, волной прошедший по нашим местам и смывший половину жителей деревни. Отец погиб на третьем году войны, и теперь дедушка для меня — и отец, и мать. Жалеет он меня. Говорит, что я молока материнского не успел наесться досыта. Может, оно и хуже, что жалеет. Но я люблю дедушку, и ослушаться его мне не хочется. Все в деревне уважают дедушку, и у нас все время народ. А когда нет дедушки дома, люди идут в колхозную конюховку: дедушка после войны и шорник, и конюх, и чеботарь.

Женщины несут ему — кто валенки подшить, кто обутки, кто сапоги подправить...

Бывало, колхозной работы невпроворот, к утру три хомута да несколько седелок починить надо, а тут приходит тетка Агафья, у которой детишек семеро и мужа на войне убили, и приносит две пары валенок подшить.

— Утром ребятам в школу не в чем идти,— говорит.— Уж выручи, дедушка Степан.

Дедушка хмурится, кивает в угол, на хомуты и

седелки показывает, говорит степенно, вежливо, чтобы не обидеть тетку Агафью.

— Вот к утру надо сделать, а то лошади на работу не выйдут.

Тетка Агафья морщится, шмыгает острым носиком, нижняя губа у нее подергивается, на темных глазах слезы выступают.

— Оставляй,— говорит задумчиво дедушка.

«Куда вас денешь горемык,— думает.— Эх, война!..»

Губа тетки Агафьи дрожать перестает, она радостно глядит на дедушку.

— Спасибо большущее, дедушка Степан. Если бы не ты — голопятом ходили. Не знаю, как и отблагодарю.

— Ладно,— отмахивается дедушка.— Ничего не надо.

Тетка Агафья, довольная, уходит. И еще придут женщины две или три, дедушка и у них возьмет, и станет сидеть всю ночь напролет, починит хомуты, седелки и тетке Агафье валенки подошьет.

А утром раньше всех придет дедушка Тимофей, который всю войну был председателем нашего колхоза. И начнут они с моим дедушкой говорить, как с японцами воевали, с германцами, с Деникиным.

Дедушке Тимофею хорошо: плечи у него широкие, он сильный был, три креста у него. А мой дедушка тонкий и роста небольшого, и силы у него немного, и крестов он не мог заслужить.

У дедушки Тимофея руки большие, заскорузлые, узловатые, пальцы толстые, а вот не умеет он хомуты и седелки чинить. А у моего дедушки руки маленькие, пальцы короткие, на ладонях трещинки и, от того, что он все время дратву тянет,— вмятинки. Когда он закуривает, табачок просыпается в эти трещинки и вмятинки, и от рук им долго и приятно пахнет.

Потом они оба высокое начальство бранят, что колхозу мало внимания уделяют, моего отца и других убитых вспоминают и Гитлера ругают.

Так поговорят немножко, покурят, и дедушка Тимофей поедет на работу, а мой дедушка за свое дело — сбрую ремонтировать, а после обувь чинить жителям нашей деревни.

Это зимой...

А сейчас, летом,— работы еще больше.

И дедушка вырвался из конюховки первый раз, баню он топит сегодня. Дом наш на отшибе от деревни, на крутояре, а рядом, в низине, огород, земля черная, плодородная. Сзади дома лес сосновый, спереди — река, а в садике перед окнами растет большущий кедр, нынче на нем шишек много. Сбоку, ближе к лесу, банька наша, дымок из нее ниточкой вьется, уже протапливается. Сначала вымоюсь я, дедушка спинку мне потрет мочалкой свеженькой, от нее еще рекой пахнет, там она мокла, прежде чем в баньку попасть. Потом слезу с полка́ и таз с холодной водой рядом поставлю, а дедушка плеснет в каменку ковшик воды, зашипит там чугун раскаленный, и паром дохнет каменка, клубы его толкнутся в двери, откроют их, свежий воздух ворвется, мне дышать приятнее. Дедушка закроет двери на крючок, снова плеснет в каменку, раз, два, три — в баньке ничего не видно — сизо. Дедушка наденет вачиги, шапку, чтобы не жгло уши и пальцы, залезет на полок и начинает париться. Я макну голову в холодную воду, слезу в угол под полок, уходить из баньки мне не хочется. А дедушка вверху хоть бы что, он кряхтит и парится, по бане расплывается запах смородины. У дедушки сегодня праздник, так как его отпустили в баню, по праздникам он парится веником из смородинника, ароматно и приятно в бане. А дедушка еще плеснет в каменку, но уже не парится, положит веник под голову и лежит греется, ноги к потолку поднял, ему надо греться: у него простуда от двух войн осталась. У дедушки Тимофея кресты да ранения, а у моего дедушки — простуда. Потом он смоет прилипшие к телу листочки смородинника теплой водичкой, меня обкатит такой же, и мы пойдем в избу, поставим самовар и станем чай пить с малиной. Дедушка начнет мне рассказывать про Порт-Артур, про царских генералов, изменниками называть их станет; интересно слушать и хорошо мне у дедушки. А потом он даст мне чистую рубаху и штаны, и мы пойдем в конюховку, там мне тоже нравится: хомутами, сбруей разной пахнет, и сплю я тоже на топчане, как большой.

...А вот сейчас я ходил за молоком в деревню, упал и разлил весь бидон и новый суконный пиджак вымазал,— обидно мне и перед дедушкой стыдно. Взять бы

переждать, пока дождь совсем стихнет,— так нет. Интересно, когда лужи пузырятся. Ну вот и хуже получилось.

Я вышел на поляну и иду по сырой траве к дому, а травушка холодит ноги, приятно так; и лес, и река блестят на солнышке — ой как красиво у нас! Даже дом наш блестит! Он на самом хорошем месте стоит. И рыбачь тут, и ягоды и грибы собирай — все рядом. Я вчера на животь три окуня поймал, как лапти. Хвалил меня дедушка. Сегодня и уха у нас есть, и пирог.

Трусливо подхожу к дому, открываю двери, хныкаю, а слезы сами на глаза навертываются. Дедушка смотрит на меня совсем не зло, один глаз чуть прищурил, и в нем искорка бегает поярче, чем в другом, обнимает меня, гладит рукой по голове стриженой и говорит ласково:

— Ну, полно, полно! Не на это ведь ты ладил... Выстираем.

Я тычусь лицом в широкую дедушкину бороду, успокаиваюсь. А дедушка треплет меня легонько и продолжает:

— В баньку скоро с тобой пойдем. Веничком смородинниковым тебя попарю. Будешь?

— Бу-ду-у-у! — отвечаю я, все еще тихонько всхлипываю.

Дедушка начинает собираться в баню.

...Так бы и жили мы с дедушкой, если б не этот проклятый пожар.

В эту ночь мне снился сладкий, приятный сон. Будто бы кончилась война, мужики деревенские домой возвращаются; мы с дедушкой стоим на мосту и ждем моего отца. Водополица в самом разгаре; внизу река наша взбеленилась, ломает, ворочает полутораметровую толщу льда, а солнышко так славно греет и плавит снега, гонит вешние воды на подмогу реке, чтобы поскорее она взломала оковы свои и вырвалась на свободу. Мост привязан толстыми веревками к лиственничным столбам, вкопанным в землю, чтобы не унесло его; а льдины уже напирают, стремятся столкнуть наш ветхий деревянный мостишко, веревки натянуты, как струны, дедушка тащит меня за рукав на берег, улыбается, и я тоже, мы всегда рады весне,

дедушка вздыхает полной грудью и говорит облегченно: «Перезимовали».

Вот на реке затрещало, застонало, заскрипело, загудело, заухало, напрягла она последние силенки — и тронулся лед; льдины лезут одна на другую, шарахаются, мост содрогается ветхим телом своим, силится устоять, но я чувствую, что не выдюжить ему, унесет его.

— Как попадет на нашу сторону отец? — беспокоюсь я.

— Всех солдат будут перевозить на лодке после ледохода, не волнуйся,— успокаивает меня дедушка.

А вот и они показались: высокий, светлый впереди — это мой отец.

Я прыгаю ему на шею, он начинает целовать меня, дедушку, говорит: «Какой ты уже большой!» И хорошо нам всем троим...

Я проснулся от шума, крика, оцепенел от неожиданности от ярко ослепляющего света, который то врывался через окно в конюховку, то убегал и скользил по надворью, где стояли телеги, валялись старые оглобли, дуги, тяжи, колеса, дровни. По ограде бегали, сновали люди, размахивали руками, кричали.

Я выскочил на улицу, увидел, как дедушка выводит лошадей, а женщины теснят их подальше от горящего конного двора, прихватывают к изгороди. Я побежал во двор, но дедушка выпроводил меня.

— А ну отсель!.. Чтобы духу твоего тут не было.

Потом все бабы бросились выгонять коней и уже не привязывали. Прибежал запыхавшийся дедушка Тимофей.

— Притча-то не по лесу ходит, а по людям...— Стал помогать спасать лошадей. А ветер уже таскал огонь по всему конному двору, раздувал его. Вот пламя жадно набросилось на сухие смолистые ворота, бабы все с криком вываливались наружу, а моего дедушки и дедушки Тимофея все нет, бабы говорят, что они выгоняют с дальнего стойла мерина Снежка, который плохо ходит.

«Сгорит мой дедушка!» Я побежал во двор, но тетка Агриппина, бригадир, схватила меня в беремя и не пускает.

— Ошалел, сгоришь ведь!

— Пусти меня, пусти, рябая! — кричу и вырываюсь я.

Но вот из ворот вышел дедушка Тимофей и, как маленького, вынес на руках моего дедушку.

— Стропилина перегоревшая упала,— сказал он бабам.— Тащите Жданкову сбрую.

Женщины заутирались платками, одни начали из ведер плескать на дедушку Тимофея и на моего дедушку, одежда на них дымилась, кое-где горела, другие побежали за сбруей, начали запрягать.

Жданко у нас единственная лошадь, которая может бегать рысью, остальные только шагом: исхудали.

Я обнимал дедушку, целовал, плакал. Он был в сознании, но подняться не мог, видно, шибко его ударило.

— Не плачь, Генушко. Вот в больнице укол мне поставят, и я выздоровлю,— успокаивал он меня.

Я верил, думал, что так и будет.

Дедушка Тимофей повез моего дедушку за десять километров в больницу, в соседнее большое село, а со мной велел побыть тетке Агриппине.

Длинное старое здание конного двора уже рухнуло, но огонь не успокаивался, съедал последние бревна.

А моему воспаленному воображению представлялось, что дедушка после укола скоро вернется домой, я раньше времени пойду в школу, выучусь на председателя и построим конный двор из кирпича, как наш деревенский магазин, и лошадей новых заведем, в ту пору уж и война кончится; а может, и мой отец жив окажется, всякое ведь бывает,— тогда уж мы заживем, тогда уж никакой пожар не страшен.

...Ждать дедушку мне пришлось долго. Через три недели дедушка Тимофей вез меня в ходочке на станцию, а рядом сидел воспитатель детдома.

Я покидал родную деревню, дедушку, который меня вырастил. Плакал. Но воспитатель говорил, что потом я приеду, когда дедушка окончательно выздоровеет, и встречусь с ним. Я надеялся.

Тогда я еще не знал, что судьба начнет меня водить по дорогам страны нашей и в родную деревню мне долго не будет возможности приехать, а главное, никогда уже не увидеть своего родного дедушку, которого не стало накануне моего отъезда.

ФЕДОРИНО СЕМЕЙСТВО

Рассказ

I

Вечер над деревней стоял душный. Солнце уходило за лес у поворота реки, и закат полыхал, багря воду и сосняки, взбегавшие по угору; прохладой от реки не веяло на деревню, не потягивала она даже до ближних изб, не хватало силы, давил ее нагретый за день воздух, прижимал к земле.

Федора сидела на толстом сосновом бревне против дома на поляне, молила:

— Хоть бы дожжа господь послал, чо же пекет как.

Бревно, на котором она сидела, запрело, сосновый запах плыл по заулку.

— Привезли дерево и ошкурить даже не могли. Тожно самой придется. Вот эко-то забуровить, дак нечо будет, ладно,— наговаривала Федора.

Кряж этот привезли Федоре подводить под дом.

— Скособенило рыло-то у избы,— недовольствовала старуха.— Поднимать надо.

Федора сама сходила в лес, выбрала лесину, выкупила и наняла двух мужиков, чтобы спилили и привезли, срядилась, чтобы они под избу подвели. Плотники уронили дерево, притащили на тракторе, а под дом подводить отказались, передумали, больно неподручное, в два обхвата, грыжу получить можно.

Федора ругала их про себя:

— Нашто сулиться было. Не ладно так...

«Звать надо Леонида домой, нечего одной надсажаться. Изба на дорогу пошла, крыша прохудилась, два прясла в огородной изгороди вывалилось — самой не одолеть...»

Федоре было уже семьдесят, но силы еще держались в ней, и слабой она себя не считала, а дело в том, что не бабьи это все дела: и крыша, и изба, и изгородь — мужскую руку надо. И что ей Федоре печься под старость лет, когда Леонид, племянник, которого она вместо матери родной вырастила, по первому зову

ее пригонит, в чем она была уверена. Приедет — и все починит. Да она и уговорит его дома остаться — насовсем. Федора и в школе уж узнавала, надо учителей-то, и Леонида, сказали, примут. Надоело одной хребтину гнуть. Федоре обидно стало за себя: всю жизнь она бегом, всегда ей некогда. Раньше и сена накосить успевала, и дров нарубить, и за клюквой сходить — все могла. То, видно, и болит теперь каждое место: и руки, и ноги, и спина, и поясница — вся изнадцедилась. А за что? Боле всех вечно надо. Чтобы просить кого-то, так ведь платить надо, а платить жаль, другой раз и нечем. То мужики ломаться начнут, рядиться, Федора повернется и пошла. Все, видно, потому, что силу чувствовала, справлялась...

А когда Леонид работать стал, к себе звал, там бы сиди у окошечка, посматривай, на базар сходи, если тоскливо станет, в магазин. Но разве Федора уедет из родной деревни, да никакая сила ее отсюда не выдворит. На день-два пригонит в город к Леониду, так дождаться не может возвращения домой. И совсем не потому, что плохо ей у него, шибко привечает он ее,— а уж такая у нее душа беспокойная. То она думает, что со скотиной вовремя не управятся соседи, то племянница Нинка заронит искру где-нибудь и пожар наделает,— недоверчивая Федора.

Потому ей стало думаться, как заживут они, когда Леонид приедет. Хватка у него ее, Федорина. Вся их порода бандуринская — жадная до работы. Кабы интеллигенцию, «дыморылку» какую не привез. Эта уж с крестьянским делом и хозяйством связываться не станет. Вот Марина Петрова, бригадир, хоть и молода еще, а вон баба какая хозяйственная, не согнется, небось, под коромыслом-то. Баба так баба. А ведь привез из города Яшка Рыкунов — так что? Идет с водой — шатает, ноги — будто веретенца. Боле сам воду таскает и дрова — не дело это. А она сидит, как кукла, губы краской вымазала.

Что же это, зачем люди уезжают на чужую сторону? Но кто, ученый — ладно. А наш брат зачем? Да Федора свое Осокино ни на какой город не променяет, не то что на деревню. Куда за какой ягодой идти — знает, и где трава лучше, и лес хороший — ей ведомо. Приедешь ведь на новое-то место, так все сызнова

начинать надо. Недаром говорят, на одном месте камушек обрастает. Она вот тридцать годов в сельской больнице проработала — и грамоту дали, и значок, и медаль. Почет и уважение ей. А другие с места на место скачут, как кузнечики по траве, так кто же их уважать станет.

Леонид вот все любовь какую-то ищет. А что надо, если баба рассудительная попадет, как та же, к примеру, Марина: получает хорошо, он трудиться станет, все бы завели, не хуже людей бы жили. Что хоть и у ней никаких учебных заведений не пройдено, лишь бы копеечку умела хранить да экономная была.

Нет, не умеет Леонид жить, нет у него смекалки житейской, не заживет он богато. Все на путь наставлять надо. Ну, приедет, так ладно будет, Федора все досмотрит. Хоть и неродной, а душа болит о нем, как своего кормила. От матери-то грудной остался, вынянчила, уберегла. А потом уже поильца, кормильца видела в Леониде. Недоедала порой сама, все для него оставляла, старалась, чтобы выжил он, слабый был. Потом любовалась: слава богу, подрос, а тут эта проклятая война... Как сейчас помнит, вот такой же жаркий день стоял, прибегает соседка Агриппина и ревет: германцы седни утрем напали, бомбы сбрасывают.

Скоро опустела мужиками деревня. На втором году войны уж одни бабы, старики да ребятишки остались. Она видит своего босоногого Леньку с холщовой сумкой, снующего по картофельному полю, собирающего прошлогоднюю мороженую картошку, которую выпахивал дряхлый старик Евсей на колхозном быке Пестряе. Стряпала из этой картошки лепешки, кормила его, постреленка, сама впроголодь жила.

То вставало перед глазами, как он летом за большого работал, траву на силос возил на том же Пестряе. На ногах обутки все испочиненные, рубаху из шали сшила, вспомнить — так слезы сами на глаза навертываются. Видно, бог веку дал — выжил. Ну, да что было, то уплыло, быльем поросло.

Ей опять стало думаться о том, как наперед жить станут. Воображению рисовалось: Леонид приедет домой, послушается ее, женится на Марине Петровой — и деньги у них есть, и трудодни, и хлебушко. Хозяйство на ноги поставили, коровушка лоснится ухожен-

ная, молочко всегда свое, а Федора посиживает на завалинке да подсказывает молодым, как жить.

Перво-наперво, как денег подкопят, надо мотоцикл с коляской купить. Вон Яшка Рыкунов пирует все — и то имеет. А они неужели без мотоцикла станут жить, куда нынче без машины-то. Хоть за вениками, допустим, завели, сели, тр-р-р — и там, в колках, ломай, бросай в люльку сколько хочешь, увезет, хоть топчи. А Федора любит в баньке свежим веничком попариться — все болезни проходят. Недаром ране мужики лечились баней, водкой да работой. Хоть и за ягодами или грибами ехать — на всю зиму можно обеспечиться, пешком-то недалеко ускочишь. А на покос? Склали литовки, грабли, еду, сами сели — и айда пошел. Нет уж, что хочешь говори, а мотоцикл ирбитский с коляской она заставит купить, не отступится.

Хозяйство свое, там копеечка всегда держаться станет, да и деткам молочко всегда свеженькое, пойдут ведь они, от этого никуда не уйдешь. Правда, ныне много не плодят, все боятся чего-то, ну один-два все равно надо, на поглядочку, для продолжения рода бандуринского.

Да и не обошел господь Бандуриных вовсе. Монет-то золотых привалило — чуть не целый горшок, но она их расходовать не станет. Зачем баловать Леонида. Пусть сам повкалывает, узнает, почем фунт лиха, поймет жизнь да к работе привыкнет по-настоящему. Научится хозяйство вести, поокрепнет умом, тогда и монеты показать можно, не разбазарит уж. А попробуй-ка сейчас, вмиг все растрясет. А будут жить в достатке, так она и не скажет ему о них, пусть на черный день лежат. В жизни-то от сумы да тюрьмы никак не зарекайся. Все может случиться. А копеечка — она все пробьет. Да если бы не Леонид, так и не нашла бы она эти монеты. Попросила денег на покупку кирпича, чтобы печь перекласть, слова не сказал — сразу выслал. Пошла в подполье разгребать землю под фундамент новый, стала рыть возле стойки да и наткнулась на горшок-то. Трое суток после этого уснуть не могла. Богатство ведь. Через месяц одну монету хотела в городе сдать, узнать, сколько денег дадут, да побоялась: еще начнутся расспросы — где взяла, откуда, то да се.

Она долго колебалась. Много раз спускалась в под-

полье, прислонялась щекой к стойке и раздумывала. Но потом решила окончательно: нет, пусть уж пока лежат, она посоветуется с Леонидом, и все как надо сделают, по уму.

Да, звать надо Леонида, невмоготу боле одной. Письмо писать стану, а там увидим.

II

Перед глазами Леонида прыгают, вертятся написанные теткой строчки: «...Стара стала. Никудышно дело. Валится все. Пора бы тебе в гнездо родное прилететь. Отпиши мне, ждать али нет тебя. Или тело мое чужие люди стащат на могильник, как сдохну, и разорят все в доме, как воронье на падаль слетятся...»

Не хотелось Леониду ехать к тетке, и в то же время чувство обязанности перед ней... Да и прирос он душой к местам, где родился, тянуло туда. Но жить постоянно вместе с теткой — пугало его: как они сживутся? Смогут ли? Но ведь вырастила она его, выучила...

Вспомнилось Леониду.

Они с теткой живут в дедовском доме. Что он остался двухмесячным от матери и трехлетним от отца (убили на фронте) и что тетка его воспитывает, он знал давно, как помнил себя. И что у него есть неродная мать и сестренка Нинка, по отцу родная, которые живут рядом во флигеле.

Ленька знал: тетка сердится на Ефросинью, мать Нинки, что дедовский дом им достался. Но он любил Нинку, а Ефросинью даже мамой звал. А тетку ненавидел за ее жадность.

Когда Ефросинья, еле сводившая концы с концами (не больно хорошо бабам после войны в колхозе было), вышла замуж за Максима, заезжего, отсидевшего сколько-то в колонии за драку, как говорили, Ленька почему-то озлился на неродную мать. Замелькали в воображении слова тетки: много нажила, быстро забыла отца твоего. Дом получила в наследство и завертела хвостом. Мужик понадобился.

Ленька понимал, что трудно Ефросинье, но зачем же так скоро замуж-то выходить, память отца осквернять. Но смирился бы он, а тут дележ: захотели Максим с мачехой у них полконюшни отрезать. Два, гово-

рит он, ребеночка осталось от отца — все поровну должно быть.

Ну ладно бы сама мать, а то этот пришелец задумал вмешиваться. Это взбесило тетку, да и Леньке неприятно, тяжело было слышать ежедневную матершинную ругань между Максимом и теткой. Ленька плакал, переживал, иногда злился на них.

Жалко ему было только мать неродную свою, она стояла всегда в сторонке, маленькая, худенькая, не ввязывалась в спор, уговаривала их обоих. Максиму говорила: «Отступись от греха подале. На што тебе понадобилась эта конюшня. Свою срубим».

И тут же вставала перед глазами тетка, высокая, широкая, сильная, кричала твердым голосом, размахивая руками: «Сука ты, сука, привела кобеля, вишь как верность-то старому мужу хранишь. Не отдам я вам ни бревнышка!»

Ругань доходила до того, что маленький, приземистый Максим хватал топор, выкрикивал нехорошие слова и бросался на Федору, крича:

— Я те, падла...

«Пусть только на бабу замахнется. Пусть! Тогда и огреть по хребтине можно разок», — думала Федора, хватая в руки лом, и грозно шла навстречу, говоря:

— А ну, давай!

И выставляла вперед лом, как пику.— Проткну насквозь, пестик корявый.

Ефросинья крестилась, плакала.

А Максим не выдерживал, трусил, бросал топор и отступал, крича Федоре:

— Чокнутая, чокнутая!

— Ты сам чеканутый,— коверкала Федора услышанное слово.

Ленька плакал, кричал:

— Не надо, не надо!

Ему в этот момент было жалко и Ефросинью, и Федору, не жалел он только Максима. И Нинка того не любила, отцом звать не хотела, дядей навеличивала.

Конюшню так и отстояла Федора.

Максим скоро «ушел с головой» в работу, сколотил бригаду плотников-халтурщиков, строили скотные дворы, рубили дома — трудился дотемна, но стоило ему выпить только стопку, как он говорил «с устатку», то

веселье затягивалось на неделю, а то и больше. Он пропивал заработанные деньги, просил в долг, когда ему отказывали, клянчил у Ефросиньи; если она не давала,— да и не было у нее лишних,— тогда Максим крал что-нибудь в доме, продавал и снова пил, пока не проходил запой.

Ефросинья выговаривала:

— Сколь можно, Максим. Так мы и по миру можем пойти. У меня ведь ребенок. Вышла за тебя, думала: мужик в доме, полегче будет. А ты смотри-ко чо. Оставь уж нас. Мы одни как-нибудь. Пойди со Христом.

Максим начинал ругаться, материться, потом бросался бить Ефросинью.

Нинка, ревя, бежала к Федоре, голосила:

— Тетушка, дядя Максим маму бьет.

Федора злорадствовала:

— Вот... От старого-то мужа слова ругательского не слыхивала, жила как у Христа за пазухой... Мужика захотелось. На теперь... Мало тебе. Кнопка тонконогая.

А Ленька срывался с места, летел в избу Нинки и кричал:

— Отпусти, гад, мать! Отпусти! — Налетал на Максима и вис у него на руке, пытаясь колотить его.

Максим отступал, выговаривая зло:

— Вон, щенок, из моего дому!

...Однажды прибежав, Нинка вопила:

— Дядя Максим пьяный, с топором за мамкой!

Ленька, схватив со стены отцовское ружье, бросился в Нинкин дом.

Вокруг печи бегала мать, а за ней с топором Максим.

— Убью! Застрелю, тюремщик, на месте! — Ленька щелкнул курками.

Горячность мгновенно слетела с Максима. Он остановился в нерешительности, наверное, ударило его в голову: «И в самом деле пульнет малец, какой с него спрос».

Ленька тоже опомнился и соображал, что он станет делать, если Максим на него пойдет, ружье-то незаряженное.

Максим, постояв немного, швырнул под лавку топор и, матерясь, пошел из избы.

В тот вечер Максим «подналакался» так, как он никогда не напивался, конюх Ефрем привез его вечером на телеге и свалил около ворот. Утром стала Ефросинья будить его на работу, взяла за руку, а она окоченела уже...

— Сгорел с водки,— сказал однорукий фельдшер Никита.

А вскоре и Ефросинья надорвалась на работе, промучилась неделю и умерла.

— Не долго нажила в чужом-то доме,— гундосила про себя Федора. Дом она на себя переписала. Разрешили только до Нинкиного совершеннолетия. Федора злилась на Нинку, а на людях ласкала:

— Сиротиночка моя, круглая, несчастная,— и слезы вытирала платком.

В памяти его отчетливо встает другое: старуха Анисья, соседка, дальняя родственница Федоры. Как сейчас видит: сидит она к кровати прикованная — отказались ноги ходить. Федора взяла над ней покровительство. Но пока старуха была в своем разуме, она заставила ее сделать завещание дома своего Федоре, так как та обязалась допоить-докормить Анисью.

В доме Ленька часто слышал слова: «Хоть бы сдохла скорее». Эти слова корежили Леньку, неловко ему делалось. Ну зачем ей столько домов. В дедушкином живет, материн переписала и вот Анисьин еще понадобился. И ходит ведь она за старухой, чтобы дом ей достался.

То вдруг новое наплывало. «Страдуют» они на покосе крадче, угодий сенокосных тогда не давали. Все ушли из леса, а Федора гонит и гонит Леньку, всегда прокос за ним шла. Его уже шатает от усталости, еле литовкой машет — не пожалеет... И метал через силу, пока грыжу не заработал, надорвался все-таки.

А на людях жалела она его:

— Сиротка, молока материнского не едал. Ах уж, бабы, жалко мне его. Уж так жалко, пуще матери родной,— возьмет и заплачет и вроде не притворяется.

Больно ему стало, что так «жалела» она его. Он даже выкрикивал иногда: «Хватит», не в состоянии сдержаться, когда она особенно наговаривала кому-нибудь о своей любви к нему и жалости.

Нес он как-то чашку с чаем на блюдце тетке, си-

девшей в ограде и со старушками разговаривающей, запнулся босой ногой за камень, сорвал ноготь, кровь пошла, больно, чашка соскользнула с блюдца и разбилась.

— Ой-ой, чашку каку хорошу разбил,— застонала Федора.

Сначала ему очень обидно сделалось, потом свирепость нашла, он и блюдце треснул о камень и убежал, заплакав.

— Ишь своевольный какой. Была бы мать, так спустила бы харавину-то. А то не мать, вот и не смешь. Скажут, чужого-то не жалко, лупит,— распалялась тетка.

А случай с кумом тетки, Ефремом, совсем потряс Леньку. Авдей-плотник, друг Ефрема, перекрывал на их завозне крышу. И когда разнеслось по деревне, что умер Ефрем, Авдей слез с крыши и начал собираться к покойному дружку. Надо было делать гроб и копать могилу. Федора прослезилась перед ним, говорила:

— Какой мужик умер, ой как жаль. Слова плохого ведь от него никто не слыхал.— Только Авдей вышел из ограды, она тут же, смахнув слезу, промолвила: — Не мог умереть ране или позже. Подет вот дож, вымочит куделю-то в завозне.

Ленька не стерпел, выкрикнул:

— Вруша, боле никто! Крыша тебе дороже...

Сверкнула Федора глазами, сказала зло:

— Кабы знала, что экой будешь, малого бы растоптала, на свет божий не пустила.

Ленька плохо помнил себя тогда.

— Не твой я, топтать меня. Поняла? Жадюга! Я все про тебя знаю. Перед людьми только доброй желашь стать.

Федору взбесило.

— Ну, погоди, напорю я тебя,— она бросилась к Леньке, но он перемахнул через изгородь, крикнув:

— Удеру я, задень спробуй!

...Грустно сделалось, мысли потерялись, сбились, потом прошлое начало мелькать кусками, обрывками.

Снова тетка, и уже не такая, другим боком... деньги ему посылала, когда учился, из последних сил выбивалась, родным называла. И он брал эти деньги, благодарил. Приезжал к ней в деревню на каникулы...

А сейчас решает: ехать или не ехать... плохой ее считает. Да она его вырастила, выучила, пусть и двуличная... Болела, бывало, а учила. Сейчас, пишет, тяжело ей, зовет. Подлецом надо быть, чтобы не ехать. И он твердо решил, что быть там он должен, обязан даже.

Когда Леонид вышел из вагона и увидел внизу, в долине, серебристую речку, играющую на порогах, скалы, громоздящиеся куда-то к востоку, сосны, карабкающиеся по уступам и убегающие к выползавшему из-за утесов оранжевому солнышку, перед ним всплыло все детство: и прыгающие на перекатах ельцы за кузнечиками на рыболовном крючке, и ревущие осенью на утесах самцы диких коз, и ягоды, и грибы, и поездки в ночное, где его каждый раз мазали ночью сажей, и многое, многое другое из детства: так ему сделалось хорошо, так ясно все встало перед глазами, что вроде он никуда и не уезжал.

III

Приезд Леонида несказанно обрадовал Федору.

«Ну, слава богу, приехал». Но не забыла и выговорить:

— Думала, очи мои некому закрыть будет. Вспоила, вскормила...

— Хватит, тетушка, хватит,— ласково проговорил Леонид, обнимая ее.

Леониду казалось теперь, что старухе покой нужен, все-таки семьдесят первый идет. Сиди дома, отдыхай. Не послевоенное время: поесть, надеть — есть что.

Он считал, что нет у нее того, что было, нажилась без него досыта — теперь осталась одна покойная старость, доброта. И кому, как не ему, быть возле нее. Нинка в институт на будущий год поступать хочет.

А Федора, оглядывая племянника, думала о своем: шире стал, окреп, хоть и учитель, а вон руки какие, стосковались небось по работе. Но ничего, здесь просты не будут. А то, пожалуй, там, в городе, и брюхо бы растить начал, отбился бы от земли. Обленился в казенных домах. Попривык подоле, так уж не заставить бы робить-то. Вовремя спохватилась.

Ей сейчас думалось, что елань за огородом в первую очередь изгородью обнести его заставить надо, потом вскопать. Что земле пропадать... С эким рукам да столь земли терять.

Потом надо перейти в Анисьин дом, поболе он. Дрова не покупать: дают учителям, домой привозят.

Нинку надо прижать, чтобы не крутила хвостом,— ехать куда-то собралась. Зачем? Доярки-то вон зарабатывают, по полтораста рублей и боле. Вот и пусть идет, чем с ребятишкам там возиться, за такую малую плату. Поговорим ужо...

Вбежала Нинка.

— Леня, дорогой,— она бросилась к нему на шею, заплакала.

— Ну, полно, Нина, полно.— У него у самого заблестели глаза от радости. Вот Нинка какая стала, высокая, стройная, в отца, невеста!

— Жить приехал?

— Жить, в школе работать стану. В институт тебе помогу готовиться.

Он увидел, как переменилась почему-то в лице Нина. Плакать она сразу перестала. Федора заворчала:

— Жалобиться счас начнет, Леня. Согрешила я с ней. Пошла пионервожатой робить. День-деньской там. За бесценок торчит. Учиться собралась ехать, меня одну оставить... Ныне не отпустила, а напрок сказала все равно уедет.

— Но я же приехал совсем.

Но тетка говорила свое:

— Давайте вот обморокуем это дело-то.

— Давайте,— рассмеялся Леонид, все еще обнимая Нинку.— Я бы, пожалуй, в городе и не узнал. Такая вымахала. Невеста! — шутил он.

— Так вот, Леня, скажи, сколь она учительницей получать станет?

— Это он нагрузки зависит. А зачем это вам?

— Как зачем? На учительницу ладит учиться поступать. Вот ты писал, что сто двадцать получал. Так ты мужик, а она ведь мене будет. Пусть дояркой лучше идет.

— Если только ставку вести, тогда меньше.

— Вот вишь... Да пять годов голову ломать, да помогать ей. Тебя учила, в нитку вытянулась.

— Я буду посылать, тетушка...

Леонид заметил, как губы Нинки вздрагивают.

— Где твоих сто двадцать хватит? Крышу вон надо перекрывать, пригон падает. Избу повело. Коровенку купим, мужик здоровый дома, да без коровы станем, чо ли?

Леонид не осуждал ее крестьянскую прижимистость, воспринимал как должное, закономерное, но он почувствовал и другое: как тяжело Нинке с теткой, поговорить надо будет.

Леонид помнит, как Нинка ему писала, что детей любит, возиться с ними ей нравится, по душе. Не случайно, значит, в педагогический хочет. А тут сто двадцать... «мене»... коровы, доярки... Конечно, и это нужное дело, но кому что, у кого к чему душа лежит. Он вот тоже в педагогический пошел, не кается. И ладится у него с ребятишками, любят они его. Знать надо душу ребят, уметь... не каждый сможет... И Нинку, видимо, это тянет. Но как это все объяснить Федоре?

— Дело, тетушка, не только в оплате. Меня вот хоть золотом осыпь, а ветеринаром, например, я не пойду, хотя это нужная профессия. Так и она...

Но тетка поняла по-своему, перебила:

— А чо ветелинар, думашь, хуже, чем учитель? Вон Перфирий Степанович по сто восемьдесят получат. Все ему кланяемся, как со скотиной кака притча или болет. Всегда мужик пособит, не задирает нос. Так что ты, Ленид, не смейся и не хай эту работу, она не хуже вашей для нас, деревенских.

— Я разве, тетя, говорю, что эта работа плохая. Я же сказал, что каждому свое нравится.

— Нас вот ране не спрашивали, чо глянется, чо нет. Куда пошлют, так бегом бежишь, подол в зубы. Прихожу как-то с поля, в горнице мужики сидят. Родитель говорит: «Вот, Федорка, твой муж Силантий, за его пойдешь», а сами уж пьяненькие. И пошла, некогда было крутить хвостом.

— Так и прожили ведь один месяц,— обронил Леонид.

— А это уж виноват характер мой непокорный. А ведь все-таки вышла.

— Вот и у Нины свой характер и стремление свое — и мы должны прислушиваться.

— Больно урослива она. Хоть пожалуюсь тебе, Леня. Чуть чо не по ей — в слезы и подбородок трясется, так ведь не долго и уродом сделаться.

— Видно, вы ее обижали, тетушка.

— Вот и дождалась советчика. Думала, хоть ты поможешь, а он по ее же,— заутиралась платком Федора.— Теперь вскормлена, выучена. Чо добры люди скажут, меня бросит...

— Всегда, Леня, так она. По людям ходит с этими разговорами. Люди осуждают меня...

— Зачем же, тетушка. Я с вами остаюсь. После учебы и она домой вернется.

— Я уж, может, и не доживу до той поры. Не два века мне дано. Пусть едет, если преждевременной моей кончины желает.

— Поступить сначала надо, потом и говорить.

— Да хоть бы ничего не вышло... услышал бы господь меня...

Нина побледнела, ничего не сказав, выбежала на улицу.

— Начну говорить, на путь наставлять, она слушат, слушат, заплачет и убежит. А то ишшо чеканить начнет. Я уж к Елизавете-моргунье хожу, наговариваю на нее. Чо-то неладно с ей. Скажу тебе по секрету,— Федора наклонилась к самому уху Леонида.— Мочиться ночью стала.— И многозначительно покачала головой.— Скрываю, но ведь шило в мешке не утаишь...

Но Леонид уже не слушал последних слов тетки. «На путь наставлять... мочиться стала...» — завертелось в голове. И злоба, ярость нахлынули на него. Но Леонид ничем не выказал это, а совсем тихо промолвил, еле сдерживая себя:

— Не надо с ней так жестоко обращаться, тетя. Загубите девчонку,— и пошел, шатаясь, к койке. В голове стучало.

Федора поджала губы. Так делала она часто, когда недовольна чем-нибудь, кем-нибудь.

«Своевольный какой! В ребятишках еще таким слыл.— Подумав, заключила: — Да и отец-то у них экой был». Она вспомнила, как сама после трех недель замужества ездила с мужем по солому (за богатого выдана была): ведет лошадь в поводу, мужик на возу сидит. Дорога шибко плохая была, как она ни стара-

лась, а все-таки раскатила сани, и воз набок — мужика как не бывало.

«Такая мать, куда смотрела,— донеслось до нее.— Иди отваливай».

Бросила она повод и пошла домой, оскорбилась.

— Куда!..— посыпались сзади матерки.— Домой не приходи, если уйдешь.

— И не приду! — крикнула она.— Оставайся со своим домом, карауль.

— Вожжами исстегаю,— гремел сзади голос мужа.

— Руки коротки.

И не вернулась. Все это пронеслось перед ней. «Ох, видно, вся наша порода бандуринская такая крутая, непокорная. Как мы жить вместе станем, не знаю»,— подумала Федора и пошла управляться по дому.

А Нина, выбежав во двор, плакала. Когда же вернулась в дом, она вошла в свою комнату, но уснуть не могла. В памяти почему-то воскресло, как в прошлом году тетка ходила по деревне и ныла: «Вот, выкормила себе заменушку. А она — дырка свист. В город захотела, а Федора одна оставайся». Слушать Нинкины доводы не хотела, говорила свое.

— Почему ты, тетушка, меня выслушать не хочешь, ругаешься только? — спрашивала Нина.

— Перед своим дерьмом да кланяться, считаться,— отвечала Федора.— Не больно грамотна еще учить меня. Ране без грамоты, да не хуже вас жили.

От всего этого у Нины становилось тошно на душе.

Федора думала, что нисколько не лучше сейчас Леонид, хоть и учителем стал, такой же твердолобый. Но она во что бы то ни стало решила переломить его, склонить на свою сторону и пришпилить Нинку. «Чтоб покрепче сидела, не егозилась».

— Давай уйдем от нее, Нинка,— зло проговорил Леонид.

— Жалко мне ее, Леня, бывает. Расплачется она порой, старенькая, слезинки ныряют в морщинках... Не раз рассказывала, как тебя выхаживала, легкие у тебя слабые были, болел ты часто маленький. И как последнее продавала да к врачам в город тебя возила, недоедала, недосыпала, все лучшее для тебя оставляла. Вот так говорит и плачет... А потом рассказывала, как последнее тебе посылала, когда ты учился, заболела

даже. В больницу ее клали. Я у чужих людей жила. Вот подумаю об этом, и жалко мне ее, прощаю все, хоть она и жестокая бывает.

...Федора, выйдя за ворота, увидела идущего по улице пьяненького Логу-конюха. Лога в любое время года ходил в старых галифе и шлеме. Он говорил, что шлем ему подарил Ворошилов. Жители деревни нарочно поддакивали ему, подзадоривали, что ободряло Логу, и он выдумывал новые истории. После работы в конюховке всегда собирался народ послушать новые Логины побасенки. Рассказывал он на разные темы. Однажды он пустил по деревне слух, что Сталин дарил ему трубку, но он не посмел ее взять, постеснялся. Потом он стал рассказывать про свои приключения на рыбалке и в ночном. Но вот теперь, когда прошло несколько лет, он опять стал утверждать, что шлем у него от Ворошилова и трубку Сталин ему все-таки предлагал.

Логе нравилось, когда ему удавалось развеселить собеседников, тогда он считал, что роль его очень нужная, первостепенной важности и уважаемее его человека в деревне нет.

И как-то выработалось, что большинство людей при встрече с ним приподнимали руку и произносили: «Логантию Перфильичу!»

У кого есть время, тот останавливался и выслушивал очередную Логину побасенку, у кого нет — шел дальше.

Вранье его почему-то всегда сопровождалось улыбками, смехом. Скажи эти же самые слова другой — пожалуй, и смеяться никто не стал бы.

Вот этого-то Логу и увидела Федора, обрадовалась: «Хоть можно будет душу отвести».

Лога тоже повеселел, узрев Федору: может, удастся стаканчик браги выманить, опохмелиться. Да Лога и знал, что если он расскажет что-нибудь доброе, угодит Федоре, то она и не откажет.

— Яй, яй, яй! Дорогая, уважаемая Федора Матвеевна, красно солнышко. Здравствуем, здравствуем!

— Логантию Перфильичу доброго здоровья,— поклонилась Федора, приготовившись слушать.

— Ты, может, и забыла уж, Дорушка, а ведь мы с твоим братцем, Иваном Матвеевичем, были закадычные друзья. Бывало, на масленку запрягу Воронка, по-

зову брата твоего, давай, Иван Матвеевич, дадим копоти — и по деревне пошел! Вихрь сзади. А бабы жмутся к воротам, шушукаются: это Лога с Иваном. Я шлем одену...

При последних словах Федора не выдержала, тонкие губы ее растянулись в улыбке. Она знала, что никакого Воронка Лога не держал — безлошадные они были.

Лога же заметил, что угодил Федоре, и чутье ему подсказало, что она еще желала бы послушать, молвил:

— Ведь вот с хорошим человеком и поговорить-то некогда. Сказала моя скупердяйка, если не придешь к шести часам, и опохмелиться не получишь. А я на именинах у дочери был вчера, Дорушка.

Федора знает, что никаких именин не было, дочь Логи давно уже в деревне не живет и не приезжала.

— Счас я тебя опохмелю, Логантий Перфильич, для доброго человека не жалко, уж всегда словом утешишь.

Федора зашла в ограду, спустилась в погреб, налила из бутылки кружку браги, вынесла Логе.

— Помянем, Федора Матвеевна, Иван-дружка. Башковитый был. Когда приехал после учебы и стал потом начальником электростанции, меня все звал к себе монтером, подучу, говорит, тебя, Логантий Перфильич, и будешь электричество к домам проводить. Да я побоялся: убьет ишшо током-то. Побоялся, признаюсь. Но будем здоровы.— Он залпом выпил кружку, крякнул: — Бражка у тебя сама лучша в деревне, никто у нас таку не умеет делать.

При упоминании Логой Ивана тот встал перед Федорой как живой. Вот он приехал после учебы в тридцать шестом году в село. Электростанцию узловую построили. Ивана начальником поставили. К домам электричество стали подводить. По округе Иван первым человеком стал. Федору даже завидки брали. Он вот поехал учиться. А она, может, всю жизнь медсестрой в больнице проработает. Завертела головой, не хотела ране учиться. Иван в отцову породу, прав Лога, башковитый. А ей только упрямство одно от той породы досталось. Сказала, не будет дальше учиться — и не стала, сказала, с мужиком жить не будет — и ушла. Такая она своенравная. А Леонид в отцову породу.

Вишь, педагогом стал, так ее, Федору, поучать задумал, как ей с Нинкой распорядиться. «Интеллигенция чахлая! Настою на своем, и никуда не уедет. Неча мотаться... Сам мотался, мотался да девку с пути сбивает. Сказала, и по-моему будет».

Лога, видя, что Федора задумалась о чем-то своем, стал прощаться.

— Ну, ладно, Федора Матвеевна, спасибо за бражку, подлечила.

Федора опомнилась.

— Не за что.

— Племянничек приехал? — опять завел разговор Лога, вспомнив о Леониде.

— Приехал,— неохотно ответила Федора.

— Видел его на горе (в центре села), обходительный, вежливый. За ручку поздоровался. Как, говорит, здоровье, Логантий Перфильевич, по имю-отчеству величат. Да поговорить-то нам не дали, директор школы его позвал. На другой раз, говорит, потолкуем. Молодчина парень!

Федора ничего не ответила.

— Ну, до свиданья, Федора Матвеевна, идти надо. Климентий Ефремович в письмах все интересовался про здоровье. Да вот вперед меня преставился, царство ему небесное,— Лога перекрестился.— Человек был. Справедлив.

Федора давно считала Логу «умом набекрень», как она выражалась, и сейчас только поддакивала.

— Слышала, что на похороны-то председатель не отпустил. Вызов, говорят, был.

— Был, Федорушка. Да здоровье подвело. Захворал.

— Так, так,— качала головой Федора, насмехаясь в душе над Логой. Передразнить или посмеяться над кем-то в деревне лучше ее никто не умел.

— Ну, пошел я, до свиданья,— в третий раз начал прощаться Лога.

Только сейчас Федора заметила, что штаны у Логи на левой стороне. Она сначала ухмыльнулась про себя, а потом крикнула:

— Логантий, штаны-то на левую сторону ты надел! — и захохотала громко.

— Это, Федора Матвеевна, чтобы не отгорали. Шта-

ны у меня из шибко хорошего сукна. На правой стороне я их только по праздникам ношу. До свиданьица.

«Чтоб не отгорали. Дурак, так дурак и есть»,— усмехнулась Федора и пошла в ограду.

Зайдя, она долго размышляла, как ей быть. Она знала, что если совет их с племянником не возьмет, Леонид жить вместе не станет, чувствовала: такие уж они, Бандурины. Она и сама уже сейчас, пожалуй, не согласна вместе-то жить, видя, что найдет у них «коса на камень», никто не захочет уступить.

Но удержало Федору другое: прослышала она, что привезут на базу шифер и учителям по разнарядке продавать станут. Так, может, не продадут ли Леониду, денежки у него есть. Да и, говорит, сотни полторы зарабатывать станет. А если достанет шифера, так закроет крышу, да дом поднять пособит,— тогда и порознь жить можно. И поэтому она решила не спорить пока с Леонидом и о Нинке помолчать.

Разногласий больше у Бандуриных в семье не было. Федора вроде примирилась с тем, что Нинка учиться будет. А про себя думала: «Никуда она не уедет. Как она в людях-то спать станет или в общежитии. Молодая, не подумала об этом, а егозится. Раз уж случилась беда, так привязана к дому. Как ране-то мне в голову не пришло, и спорить нечего было. Потом, напоследок, как ехать — скажу...»

...Леонид шел из школы и услышал, что кто-то его окликнул, он обернулся.

От магазина, прихрамывая, шел Лога.

— Левонид, Левонидушко, здравствуй!

— Здравствуйте, Логантий Перфильевич! — улыбнулся Леонид, зная, что Лога уже что-нибудь приготовил.

— Твой батюшка, Левонидушко, откровенный, прямой человек был. Сказал, помню, мне: тебе, как другу, Логантий, первому электрическо проведу — и сделал. Первая лампочка на селе в моем доме зажглась. Хозяин был своему слову, а тетка твоя, паря, не эка, Левонидушко.

— А что?

— Я с лошадям вожусь, сам знаешь, как мне набор на уздечку нужен. А у нее ведь полно его. Я видел.

И посулила, не скажу, что нет. Пришел я, она выняла узду из завозни, вся в наборе, у меня ноги от радости задрожали и подкосились, сел я на порожек. А только посмотреть и пришлось, даже подержать не дала. Ты, говорит, Логантий Перфильич, чо мне за это сделаешь? Огород хоть спаши весной. Спашу, спашу, говорю, Федорушка. Вот спашешь, тогда и отдам.

Осердился я, что не доверяет она мне, и огород не пошел пахать. А сам, грех был, дружку в Москву написал, что не сдала она сбрую в колхоз и многое другое утаила. Ответил он мне: смотрите там на месте, сами решайте, как быть, вам виднее.

Но ладно, батюшко твой дружок мне был — умолчал... А тетка твоя все нет-нет да вспомнит, потрясет уздечкой, хороша, говорит. А уздечка-то прогнила уж вся, и набор ржаветь начал, пропадет и он, я ей молвил об этом, а она свое: огород, говорит, ждет тебя, Логантий Перфильич. Натурная, то и жила все одна. По секрету тебе скажу: боятся ее в деревне мужики. Сгложет... А девку-то Ефросиньину она ведь заела. Молодица на выданье, а говорят, со здоровьем худо, и...— Лога запнулся и стал мять в руках свой шлем.

После этих слов Логи в груди Леонида заныло, загорело.

— Пойдем, Логантий Перфильич,— Леонид кивнул на двери чайной.— Я вас, как друга моего отца, угощу.— Нашел заделье Леонид. Они зашли, подошли к буфету, он заказал два стакана вина, один подал Логе, второй выпил сам залпом. Полегче вроде стало. Больше не стал говорить с Логой, попрощался и ушел. А Лога долго потом хвалился по деревне, что Леонид к нему, как к родному, приходил и хорошим вином угощал. Не забывает, дескать, лучшего дружка отца своего.

IV

Последнее время Федора «дохожий промысел», как выражалась, себе сыскала. Увидела она в городе у церкви венки продают — и сами венки понравились, красивые, как живые цветы, и денежки те, кто делает их, зашибают.

Загорелась Федора желанием делать цветы бумаж-

ные, а из них венки. Попробовала — получаться стало. Узнали люди, даже окрест Осокино отбоя от заказов Федоре нет. Бумагу она ездила в город покупать, сколь хочешь ее там, разной расцветки, а вот проволоки мягкой, тонкой нигде не достанешь. А тут за околицей свалился, видно, с машины какой-то целый толстущий моток. Заприметила это Федора, и тревога, что вернутся за проволокой, заставила ее тащить этот моток на гору встречь деревни. Можно было сходить бы за Леонидом — помог, но нет, не хочет кланяться, просить даже его Федора и волочит по земле моток, жилы в руках вытягиваются, в пояснице хрустит, но не бросит: сколь тут венков выйдет, пожалуй, на целую сотню: лучше брюху лопнуть, чем добру пропадать — было любимым изречением Федоры. Приволокла еле и в конюшне запрятала, чтобы люди не осудили да и Леонид. А вечером заломило поясницу, заворочалось, заурчало в животе — покоя не находит себе Федора. И лекарства, какие дала вызванная врачиха, не помогают. Ночью послала она Нинку за Секлетией-правильщицей. Сколько ни разглаживала та ей живот, а лучше не было.

— Сорвала брюхо-то,— молвила напоследок Секлетия.

Потом на время отпускать стало. Навертывалось нехорошее, тревожное: а вдруг опять начнет и не выжить ей.

Начала думать о себе, ворошить прошлое.

Ради чего вот умирает, на что понадобилось целый виток тащить, и без него бы обошлось. Не для себя она жила, все для Леонида. Сколь мужиков хороших замуж сватали — одной ей известно. Не пошла ради его. Что он знает, Леонид-то? Видит только то, что сверху лежит. А сколь раз она его выхаживала, от смерти выручала, то не знает. Что где хорошее перепадало, сама не ела, все ему, птенцу своему, тащила... Худо ли, хорошо ли — вырастила, выучила, хорошим человеком сделала. Сейчас только и звание — Леонид Иванович. А что не этак, не по-ученому делала — теперь сам большой, как надо, так и поступай.

Она видела, что не любит он ее, а просто долг свой соблюдает — вот и приехал. И обидно Федоре до слез делалось, что умрет она, не понятая Леонидом. Ране

все хотела поговорить, да гордость мешала, все она его за сопляка считала. Вот и теперь, хоть и учитель, а что, больше Федоры жизнь понимает? Нет. В ее глазах и сейчас Ленька — сопливый, неопытный. Нет чтобы поговорить, совета попросить, поучиться, как жить-то,— так нет, гнет себе умника какого-то. А что такой стал — сама испотачила, жалела в ребятишках: сиротка. Что попросит — все исполняла. Какую покупку надо — брала, если по силам. Вот и испортился. Построже надо было держать.

Потом опять стала думать о себе. Прожила жизнь не хуже людей, никто не осудит. Не просидела, не пролежала.

Что она, сама Федора, в детстве своем видела? В семье четыре девки было. А девку да бабу за человека не считали. Тятю как взяли на действительную, потом японская, после германская, да десять годочков дома-то и не было. Только и слышала: Федорка туда, Федорка сюда, то подай, другое принеси. А что не так — схватит маменька покойная за косу да крутанет вокруг себя, не знаешь, куда и голову приклонить, да не обижались на нее — не перечили, а тут смотри-ко: то не скажи, то не укажи — кто им волю такую ныне дал...

А она, Федора, росла в нужде да заботе. Восьми годочков уже верхом на лошадь садили. Как сейчас видит: пахали ране деревянной сохой, лошадей запрягали гусем, робить начинали, как мало-мало развидняет, чтобы не жарко было. Посадят Федору на переднюю лошадь, пашут, а голова ее на грудь клонится, клонится... Так и засыпает. Услышит щелчок хлыста и выкрик дяди: чо, ворона, не видишь, куда едешь, уснула! Строгий был. Вот и качаешься в седле, пока солнце печь не станет. А если не развидняет, выдастся серый день, так на вершне до потемочек. Ссадят вечером с седла, сама-то уж слезть не может, измоталась, встанет на землю, а ноги не держат, одеревенели, чужие. Попробуй пожалуйся — еще и подзатыльник получишь. А ныне вишь как поговаривают. Обидно Федоре сделалось.

Воспоминания наплывали и наплывали, бередили душу. Жать стали брать десяти годов, свяжет сноп, а поднять, чтобы в суслон стащить,— не может, подлезет

под него на четвереньках, встанет потом на ноги, в глазах темно, а нести надо. Одна мать работница в семье-то, да она вторая по старшинству, а там еще четыре рта — кто робить станет. А зимой того тошнее. Пойдет маменька к попу молотилку вымаливать, чтобы урожай в порядочек произвести...

— А девка поробит недельки две у меня, так уступлю,— пробурчит тот.

И вот трещит мороз, а Федора гнет спину, коленки тряпицами обмотаны, чтобы не обморозить. Спину не один раз знобила, без штанов ране ходили и робили так, не из чего было штаны-то сшить, а покупать не на что. Мать пожалела, видно, и сшила из холста. А пожаловалась, что колет, так оплеуху получила, содрала с нее мать штаны. «Раз... колет — ходи так» — и отдала младшей сестре. А попробуй возрази — такую затрещину получишь, что забудешь жаловаться.

И странно, и непонятно Федоре казалось, как это Леонид с Нинкой, которых она на свет божий выпустила, так с ней разговаривают, вроде, что хотим, то и делаем, не обидно ли?

То вспомнила, как сшила ей маменька рубаху из скатерки, она выбежала на улицу довольнехонька, а поп говорит: «Вот Советская власть до чего довела, рубахи из скатерок шьют».

А Советская власть ее, Федорку, человеком сделала. Хоть и малограмотная была, а на курсы медсестер направили, не хватало медиков. Осилила еле-еле со слезами эти курсы. Да вот всю жизнь медсестрой и проработала — почет и уважение. А Леонид чего больно задается, думает небось, что работу какую уж шибко важную делает. Она не хуже его была, людей лечила. Все в деревне почитали. Но после уж, как с образованием стало людей хватать, так заменили ее, и то в яслях воспитательницей доработала до пенсии.

Федора всегда чувствовала себя главнее деревенских баб. Всегда они к ней за помощью обращались, а не она к ним. Почти у всех женщин в деревне она роды принимала. Только и звания было — крестная наша, Федора Матвеевна.

И здоровьем бог в молодости не обидел. Как поедут на больничный покос, так ни один мужик соперничать с ней не мог. Оберушники такой ширины никто не

ходил. А вот теперь, видно, все: износилась, отробилась.

Самой большой ее радостью было, как Леонид в институт поступил. «В нитку вытянусь, а выучу, человеком сделаю. Не забудет, может, добра-то»,— говорила она. Гордилась им. А на каникулы приезжал, так любо было посмотреть, чистый да опрятный. Люди завидовали, а у Федоры радости было... Леонида на ладный путь наставила. А он знает, как ей это давалось, учить-то его? По две смены вкалывала, по двое суток глаз не смыкала. Да тут еще хозяйство, корова. Одна она из медсестер деревенская-то была, с курсами. Остальные все из города да с образованием, родители состоятельные. Надо какой домой в город: «Проработаете за меня, Федора Матвеевна?» — «Пороблю».

Они уже вызнали, кому куда надо,— Федора не откажет. А зачем ей все это надо? Для себя? Нет! Все для него, для Леонида деньги скапливала, хотела, чтобы не хуже других там ходил, в городе-то, сыт был, не заболел чтобы, здоровье-то никудышное.

Послевоенные годы... парень учился. Сколь здоровьишка угроблено. Траву искать — с ног собьешься, да косили вкрадче, да бегай, рыскай — как вывезти, а то, чего доброго, и увезут, если найдут. Теперь вот и покосы дают, а не больно люди охочи до коров-то. Подумать, как жили, маялись... И тут Федоре страшно делалось, если случится с ней что. Жизнь хорошая только настала, Леонида выучила — и в землю? Ой, господи, отведи меня грешную от погибели... Да ладно, если бы сразу умереть, так еще бы согласиться можно, а то ведь слягешь и не то что встать, да и не пошевелиться, не поворотиться не сможешь, вот горе-то где будет. Чего только не передумала Федора, куда не кидалось ее воображение: смерть ей бог не послал, а лежит она к кровати прикованная. У Леонида жена городская, рыло от нее воротит. «Скоро ли ты сгинешь, надоела уже». Вот выпоила, выкормила себе заменушку. Потом Федора ловила себя на нехорошем, отметала.

Ну а если все-таки не выжить ей — Федора ясно представляла, как все будет дальше.

Как покинет ее душа тело, то полетит в небеса и встанет в очередь на суд божий. Много там слетается ежеминутно из мирской жизни.

А дьяволы будут цепляться за нее по дороге, станут сбивать с пути, тащить в ад, горланить: «Грешная ты, грешная!» Но не поддастся Федорина душа, отбросит их от себя и будет двигаться по назначению. А там ничего не скроешь, все друг про друга знают.

Сам господь, белый, как лебедь, прозрачный, чистый, ни единым пятнышком черным не запятнал себя. Он — дух, но его все видят на суде, и миряне все — духи, как землю покинут. Дух и душа — это по-Федориному одно и то же. И вот подлетает Федорина душа, дожидается очереди. Но Федора знает, что грешила она меньше других. Всю свою жизнь благодетельницей была: старуху старую взяла на попечение, допоила, докормила, схоронила как человека, двух сирот на свет божий вывела, не дала погибнуть. Не больно много нынче найдешь таких. Всю жизнь свою ни с кем она блуд не творила, только что замужем была, так это все по закону, венчались, да и то месяц жила грешной-то жизнью. Нет! Федора отличается от других, чище она, и в ад ее никак нельзя! Но все-таки дрожит Федора, волнуется.

Вот ее очередь подошла. Лик у всевышнего светлеет, радостный. Он ничего не спрашивает, все видит и знает, и Федора уже все чувствует, он только рукой показывает в сторону рая — и мчится ее душа туда. Там встречают мать, отец, сестры, но не целуются, даже не прикасаются, не как мирские, улыбаются только, приветствуют. Сейчас Федора вечно парит в этом цветущем саду, станет и ей все известно: как Леонид с Нинкой заживут, все их грехи, где они оступятся,— ей видны будут, а подсказать уж нельзя, недоступно возвратиться даже на время к мирянам.

Федора очнулась от представляемого, застонала от боли в животе.

Предчувствие неизвестного, слабости своей, боязнь немощи сломили Федору, она заплакала, подозвала Леонида.

— Давай, Ленюшка, поцелуемся, простимся, может, и не увидимся боле. Прости меня, если чо не так делала, старая я. А ты, Нина, не суди меня, мало ли чего не бывало.

— Что вы, тетя, говорите, вылечат же,— утешал Леонид.

А у Федоры начало так скручивать внутри, что печь, на которую она смотрела, стала тускнеть и проваливаться. Она терпела, ждала, что отпустит, сознание не терялось. Ей казалось, что прошло уже много времени, а делалось все хуже.

Может, и не отпустит, и не успеет сказать она последнего. Пора, видно... Кабы не опоздать. Без этого ей отходить никак нельзя. Вот ее последний и очень важный козырь благородства, великодушия — и сделает она важное большое дело.

— Ле-о-ня-а,— пролепетала Федора.

— Что, тетя?

— Та-ам в го-об-це у столба, в зе-емле для тебя.

— Что в подполье у столба, тетя?

Но Федора уже не могла говорить, кто-то, казалось, наматывал кишки на что-то твердое и не отпускал. Сознание терялось.

Леонид побежал звонить в райцентр.

...Вскоре приехала «скорая».

Как только увезли Федору, Нинка спросила:

— Что это тетушка говорила про столб. Пойдем посмотрим.

Нинка взяла свечу, и они спустились в подполье.

Вскоре Леонид выкопал истлевший мешок, взял его и вынес наверх. Внутри мешка глиняный горшок, обмотанный грязными тряпками. На дне примерно в четверть горшка лежали монеты и свернутый вдвое лист бумаги.

— Ле-е-ня, они золотые! — засияла Нинка, рассматривая схваченную монету.

Леонид стоял растерянный. Всю жизнь ходить в тряпье и хранить... для чего? Потом начал читать написанное на листке.

«Леня, нашла я это, когда печь перекладывали. Чистила я место под стойки и обнаружила в земле. У Анисьи мужик-то торговец был, в революцию убили — вот, видно, и осталось. Я все не решалась показывать, берегла на черный день, богатство все-таки. Пользуйся им. Нинке давай помаленьку. Если она силу возьмет, нисколь не получишь. Она подвидная, завидущая будет — вся в мать. Думаешь, Ефросинья при дележке конюшни стояла в стороне, уговаривала Максима, то такая она и есть? Нет! Это она хитрила. По

ее хотению и научению вся заваруха шла. И эта по характеру такая же скрытная. Такая порода. За это я ее не любила. Вот и все. Так и завещала: перед смертью скажу про монеты. Чо хошь, то и делай, но не базарь. Может, вспомянешь худую тетку».

— Что там написано? — спросила Нинка.

— Пишет, что нам это.

— Какая у нас все-таки была тетя! Это ведь богатство, Леня. Вот денежек получим!

— Была! — передразнил зло Леонид.— Не мы еще с тобой хозяева. Может, тетя еще и выздоровеет.

— Да не выжить ей, Леня. Старенькая.

Леонида взорвало:

— Чего ты ей смерть пророчишь ради этих монет.

...Сначала, как нашли монеты, Леонид мысленно обозвал тетку скопидомкой. Кроме телогрейки, ничего не нашивала. Хотел пальто купить — отказалась. Денежки, говорит, тратить «неча» зря. Даже в питании себя урезала. Ну, своей пенсии, его денег жалела... а это золото! Сдала бы его и жила как человек. Вот оно скряжничество.

Но потом пришло другое.

А если бы у него были золотые монеты — берег бы он их для кого? Да он для себя бы их потратил, для собственного благополучия. Ему больше от жизни надо...

А она вот сберегла, для него.

И эта Нинка, которую он так жалел, как увидела золото, и глаза заблестели, смерти теткиной рада скорее. Исчез человек за монетами. Она вот, тетушка, угадывала в ней эту алчность, а он не видел. Значит, мудрее она была, тетушка-то.

А его она тоже за невинного считает, говорит: «Все любовь какую-то ищет...» Да он и сам не знает, сможет ли полюбить по-настоящему, ведь не одну женщину перешагнул. Не знает ведь этого о нем Федора. Почему это так? Он и сам не знает. Так кто же из них нравственно выше, честнее? Да она, Федора.

Потом он спохватился: тетке, наверное, уже делают операцию, а они тут с золотом. Ехать туда, к ней, скорее!

Нинка, видя, что Леонид засобирался, спросила:

— К тетушке? — После кивка Леонида сказала: —

Я тоже поеду, то даже и от людей неудобно дома находиться-то.

«От людей неудобно!» Леонид хотел ругаться как следует, но подумал, что ничего это не изменит. Такая она, видно, уж есть.

Пока тряслись на попутной до райцентра, Нинка обдумывала создавшееся положение. Если тетка умрет... Они поделят с Леонидом денежки, и она «вольный казак». Денег-то, наверное, хватит, пока учиться будет, да еще и останется. Она точно узнает в городе, почем грамм золота, ее не обманешь. Нинка тоже «не лыком шита», ловко надувала старуху насчет болезни-то. Федора сразу отступилась. Ходила к старухе наговаривать да пить ей давала, а она воду-то за окошко выплескивала. Нинка не забыла, как Федора с матерью ее цапались. Она ей этого никогда не простит. Ну сейчас, наверное, уж развяжутся руки. Да она бы и раньше уехала, ни на кого не посмотрела, да не успела повторить все, побоялась рисковать, не больно хорошо в школу-то возвращаться, когда не сдашь. А сейчас Леонид ее вытянет, поможет.

Ладно, мать научила ее жить-то «себе на уме», не быть простофилей. Как придет пьяный Максим, уснет, она вытащит у него денежки, а утром плачет, что он напился и не принес получку-то. «Так и голову потеряешь пьяный-то» — помнит она слова матери. Но хитрить-то тоже осторожно надо уметь. Раз прикинулся шибко пьяным Максим, а мать и вынула у него деньги. Ладно, тогда Леня прибежал, спас, ружье наставил... Воспоминания оборвались. Нинка вообразила уже, как она будет похаживать в городе во всем новеньком, с иголочки, по последней моде...

Машина резко остановилась и оборвала Нинкино воображение.

Федоры в живых уже не было: умерла она по дороге от заворота кишок.

— За плохим мы не разглядели в ней и хорошее,— задумчиво и как-то растерянно произнес Леонид.

«Только и знала, что дояркой меня посылала вкалывать»,— подумала Нинка, достала платок и начала «от людей» вытирать им глаза.

Барвиш Б. Я., Кудрявцева В. М., Пономарев В. И.
Б 24 Дороги. Повести и рассказы. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1975.

В книгу вошли произведения трех молодых прозаиков — свердловчанок Б. Барвиш и В. Кудрявцевой и тюменца В. Пономарева.

296 с. с илл.

0732—049
М 158(03)—75

Р2

СОДЕРЖАНИЕ

Белла Яковлевна Барвиш, Вера Матвеевна Кудрявцева, Валерий Иванович Пономарев

ДОРОГИ

Редакторы
М. П. Немченко, С. В. Марченко, Н. Г. Кузин

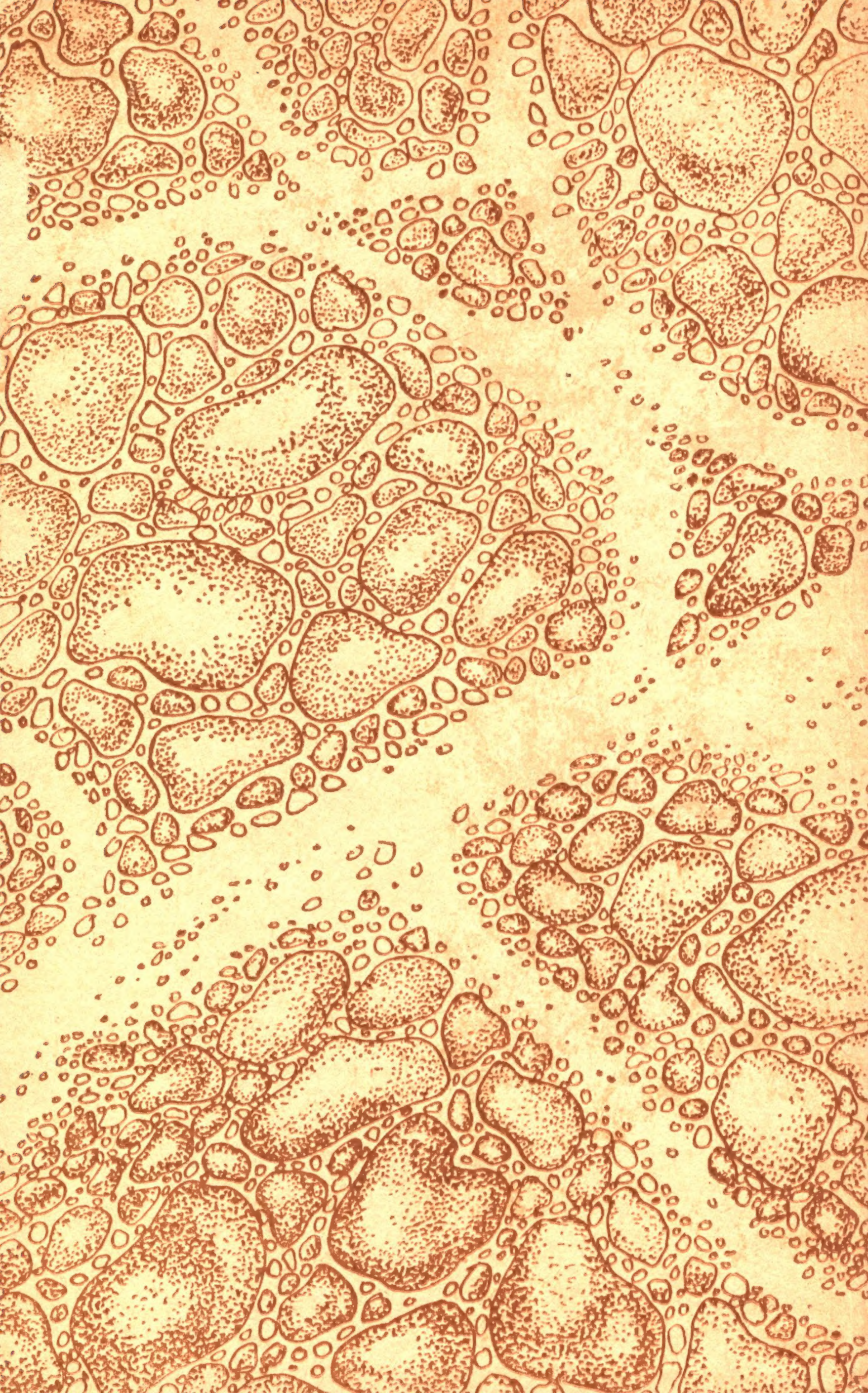
Художник
Н. Н. Моос

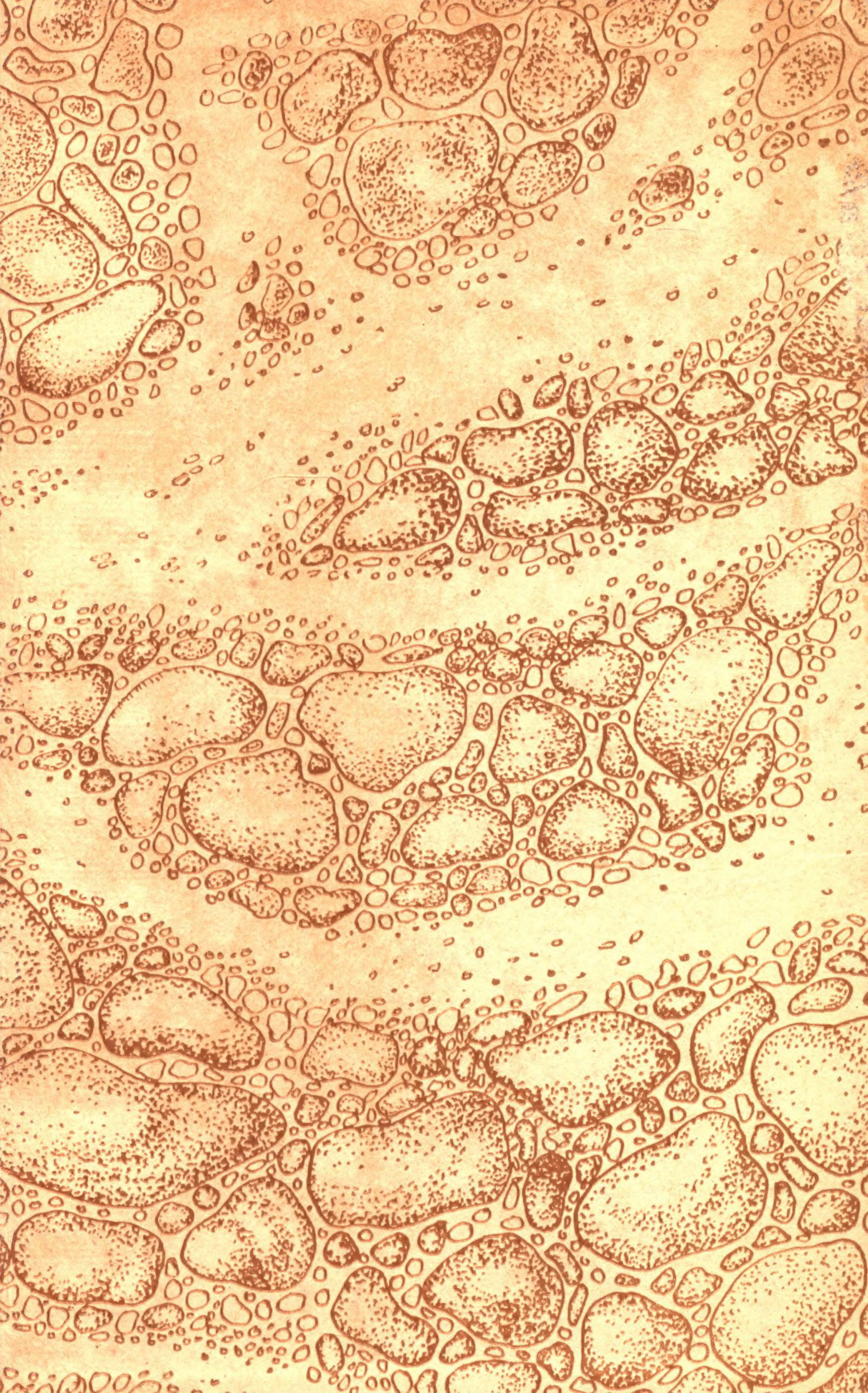
Художественный редактор
Я. И. Черняхов

Технический редактор
К. Г. Проскурникова

Корректоры
А. Н. Винокурова, А. В. Усольцева
Л. А. Гупало

Сдано в набор 18/VII 1974 г. Подписано в печать 28/III 1975 г. НС 19147. Бумага типографская № 3. Формат 84×108 1/32. Уч. изд. л. 15.5. Усл. печ. л. 15.5. Тираж 15000. Заказ 682. Цена 58 коп. Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.





58 коп.

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1975

Б. БАРВИШ · В. КУДРЯВЦЕВА · В. ПОНОМАРЕВ